

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ  
X

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР  
МОСКВА — 1961

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. В. Виноградов (Москва). Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры . . . . .	3
Д. А. Ольдерогге (Ленинград). Современное состояние и проблемы изучения языков Африки . . . . .	20
В. К. Журавлев (Житомир). Формирование группового сингармонизма в праславянском языке . . . . .	33

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. Пизани (Милан). Об армянских отражениях индоевропейских взрывных	46
У. Ф. Леман (Остин, США). Об армянской системе смычных и ее соотношении с протоиндоевропейской системой . . . . .	56
Б. А. Серебрянников (Москва). К проблеме классификации тюркских языков . . . . .	60
И. А. Оссовецкий (Москва). О составлении региональных словарей (некоторые вопросы русской диалектной лексикографии). . . . .	74
Об общеславянском лингвистическом атласе . . . . .	86

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. М. Иллич-Свитыч (Москва). Один из источников начального <i>x</i> - в праславянском (Поправка к «закону Зибса») . . . . .	93
Л. Л. Иофик (Ленинград). Об основах английской пунктуации в связи с проблемой сложносочиненного предложения . . . . .	99

### ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Е. В. Падучева и А. Л. Шумилина (Москва). Описание синтаксис русского языка (в связи с построением алгоритма машинного перевода) . . . .	105
--	-----

### ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

А. А. Леонтьев (Москва). И. А. Бодуэн де Куртене и петербургская школа русской лингвистики . . . . .	116
--	-----

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

Я. В. Круцаткин (Харьков). Новое о происхождении фризского языка	125
--	-----

#### Рецензии

М. Д. Городникова, Е. В. Розен (Москва). <i>E. Riesel. Stilistik der deutschen Sprache</i> . . . . .	129
Г. И. Белозерцев (Москва). <i>C. H. van Schooneveld. A semantic analysis of the Old Russian finite preterite system</i> . . . . .	133
Н. В. Подольская (Москва). Новые библиографические справочники по ономастике . . . . .	138

### ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Е. И. Чаадаевская (Батуми). О «вставочном» словообразовании . . . .	140
---	-----

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	143
Над чем работают ученые . . . . .	150
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию . . . . .	152

В. В. ВИНОГРАДОВ

РУССКАЯ РЕЧЬ, ЕЕ ИЗУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ РЕЧЕВОЙ  
КУЛЬТУРЫ

## 1

В эпоху социалистического преобразования общества, когда широкие народные массы приобщаются к сокровищам своей национальной и — шире — мировой культуры, литературы и искусства, науки и техники через посредство своих национальных литературных языков (а далее и через посредство чужих языков широкого международного значения и употребления), особенно остро встают вопросы речевого взаимодействия и связанные с ними вопросы речевой культуры. Они приобретают еще более широкий интерес и еще более широкую направленность в связи с некоторыми общими историческими изменениями в современной социально-речевой практике государственной и народной жизни. В качестве яркого симптома этих новых общественных явлений следует указать на невиданное в прошлом развитие публичной речи и небывалое по широте охвата распространение того, что принято называть массовой коммуникацией, орудием которой является пресса, радиовещание, звуковое кино, телевидение.

В этом плане вырисовываются новые, огромные, очень актуальные проблемы изучения современного русского языка — языка великого народа, великой литературы, социалистической культуры, советской государственности. В советскую эпоху русский язык стал интернациональным языком, языком межгосударственного и культурно-идеологического взаимодействия между всеми народами нашей Родины. Вместе с тем русский язык распространяется повсюду, в странах Запада и Востока. Интерес к его изучению возрастает на всех материках нашей планеты. Все это выдвигает новые вопросы, новые задачи перед наукой о русском языке. Сюда относится, например, задача составления лексикона наиболее употребительных слов русского литературного языка (в границах 10—15 тысяч) с иллюстрациями их употребления в наиболее распространенных формулах. Не меньшую важность представляет задача создания ряда сопоставительных грамматик русского языка применительно к языкам иного строя, иных систем, причем не только с выявлением их различий, но и с раскрытием их общностей, особенно в области семантики (грамматико-семантических категорий и классов слов, семантических «полей» и т. п.). Остро ощущается также потребность в обобщающей компактной русской грамматике, в которой бы в кратком, сжатом очерке были представлены все основные активные фонологические и грамматические, структурные качества и свойства современного русского языка.

Изучение исторических и современных тенденций развития русского языка очень помогает определению того, что в явлениях и новообразованиях современного языка расширяет и улучшает его выразительные средства и что обедняет язык, искривляет пути его развития. Но больше всего и теснее всего вопросы современной общественно-речевой практики и вопросы культуры русского языка связаны с изучением социально значимых, наиболее активных и типичных разновидностей и форм современной русской устной и письменной речи. Материалом для такого изучения лишь в очень малой мере и притом только с одной стороны может служить подготовленный Институтом русского языка АН СССР словарь «Правиль-

ность и чистота русского языка», фиксирующий трудности, ошибки, не-правильности и колебания современной речи. Гораздо более широкий круг проблем и задач исследования литературной русской речи — как устной, так и письменной — в связи с вопросами речевой культуры может быть освещен на базе и на фоне важного и необходимого, впрочем у нас до сих пор еще не бывшего даже предметом обсуждения, «Словаря русской речи», в котором нашли бы отражение и истолкование своеобразия и тонкости современного стилистического словоупотребления. Неотложно необходимы также фразеологический и синонимический словари современного русского языка. Было бы в высшей степени полезно заняться построением словаря семантических систем, рядов или «полей» слов современного русского языка в их связях и соотношениях (или «словаря идеографического»). Но, пожалуй, самое главное и самое существенное для осмысления и направления процессов развития современного русского языка в исторических условиях настоящего момента — это целенаправленная и тщательно организованная подготовка материалов для создания полной стилистики современного русского языка. Проблема стилистики русского языка как в теоретическом, так и в практическом аспекте приобретает все более острое значение. В связи с выполнением этой задачи находится организация широкой и прочной базы для глубокого обсуждения и обоснованного решения вопросов культуры речи, которые в настоящее время выдвигаются с неудержимой силой и непреодолимой настойчивостью.

В советскую эпоху, в социалистическом обществе литературный язык развивается в совершенно новых общественных условиях: носителем литературного языка стала новая интеллигенция, вышедшая из народа, связанная с ним неразрывными узами, непрерывно пополняемая новыми «кадрами» из среды культурного рабочего класса и крестьянства, т. е. практически вся нация в целом, что исторически стало возможно только на этапе развития социалистических наций. В соответствии с новыми условиями жизни народа, с изменениями в социальной структуре советского общества, в развитии науки и техники, общественного мировоззрения находятся изменения в литературном языке, в составе его словаря, в значении и употреблении слов, в типических приемах словоупотребления, в формах сочетаемости слов, в отборе, а иногда и в структуре синтаксических конструкций, в стилистических оценках, в общих нормах и принципах стилистической системы, в формировании новых жанров и видов общественно-речевой практики. Само собой разумеется, что изменения в самой структуре русского языка менее глубоки и разнообразны, чем изменения в жанрах и типах общественно-речевой практики, в характере и организационных формах социально-речевого общения.

В социалистическом обществе самые широкие народные массы вступают в активное владение литературным языком. Это достижение дается им не без трудностей и не без борьбы с ранее приобретенными навыками разговорно-бытовой речи, иногда далекой от принятых форм литературного выражения. В сложных и противоречивых условиях распространения и развития современного русского литературного языка в нем закономерно и естественно возникают новые процессы, колебания и противоречия в приемах его употребления, вырастают болезненные, отрицательные явления в способах применения разных его стилистических средств, в практике словопроизводства и словосочетания, в отношении к санкционированным прежней общественной практикой литературно-языковым нормам, в распространении областных, жаргонных и просторечно-вульгарных выражений. Приобретает острый, злободневный характер задача «борьбы за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка» (М. Горький) как величайшего орудия культуры. Причин разного рода отклонений от чистоты и правильности речи очень много: и неполное усвоение норм литературного выражения, и недостаточно бережное отношение к языковой традиции, и неумение, а иногда и нежелание разобраться в смысловых оттенках и стилистичес-

ких качествах тех или иных слов, и влияние «дурной моды», различных жаргонов, и желание щегольнуть словом или фразой, которые кажутся острыми и выразительными, и многое другое, что свидетельствует о слабой культуре речи, о неразвитости «чутья языка».

Вот несколько иллюстраций.

1. А. М. Горький писал И. А. Груздеву о книге Леонтия Раковского «Зеленая Америка» (12 VI 1927 г.): «Л. Раковский пишет в „Часах“: „У Кивы на левом глазу г л я д е л о с ь бельмо. Для своей же матери он был красивей всех детей на свете“. „Н и з а к а к и е бриллианты и золото не рассталась бы она с э т и м бельмом К и в ы“». «Горький, — комментирует И. А. Груздев, — привел в письме и другие примеры стилисовых неудач молодого автора. Затем следовали примеры безграмотности у виднейших писателей. „У меня таких выписок — десятки“, — отмечал Горький и добавлял: „Раковскому же, пожалуйста, укажите на допущенные им оплошности. Если он хочет писать, — он должен серьезно изучить русский язык“<sup>1</sup>. В другом письме к тому же И. А. Груздеву (15 II 1929 г.) Горький замечает: «Литературный язык у нас развивается вкряк и вкось»<sup>2</sup>.

2. В романе Ф. Вигдоровой «Семейное счастье» читаем: «Да, Аня, мама, папа и даже соседки Ольга Сергеевна и тетя Даша привыкли к Дмитрию Александровичу. Не могла к нему привыкнуть одна Саша.

— До чего интересней! — закатывая глаза, говорила Ольга Сергеевна.

Интересней? Может быть. Высокий, светлые волосы, откиннутые назад, лоб широкий. Губы длинные, насмешливые. Да, хорошее лицо: умное, энергичное, твердое. Но что с того? Мало ли красивых и умных людей на свете? Что-то в нем мешало Саше. Что-то казалось ей настырным, развязным»<sup>3</sup>.

Хотя стиль повествования здесь сближен с внутренней речью, с разговорным стилем Саши, все же нелитературное выражение *но что с того?* (ср. *что из этого?*)<sup>2</sup> остается немотивированным. Его нельзя не поставить в укор самому автору<sup>4</sup>. В ином, более глубококом стилистическом плане можно также сомневаться в целесообразности употребления в данном контексте областного слова *настырный*, которое, правда, применяется в просторечно-бытовой речи и нередко в стилях советской литературы [например, у Е. Мальцева («От всего сердца»): «Настырная очень! — с исприязию подумала Маланья. — Наверно, хочет в чем-то по своему повернуть»; у С. Бабаевского («Свет над землей»): «Этот его взгляд точно говорил: „Поглядите на этого настырного джигита“»; у Б. Горбатова («Большая вода»): «Целый день сеется дождь, мелкий, настырный» и т. д.]<sup>5</sup>.

3. В русском переводе романа Дж. Голсуорси «Конец главы»<sup>6</sup> разговор после свадьбы Клер между дядей Лоренсом и Динни: «...Пойду прогуляюсь и порастрясу свадебный пирог. — А я останусь, Динни, и выплню шампанское».

Едва ли допустимо в русском языке такое словоупотребление — *выспать шампанское*, т. е. рассеять винные пары во сне (ср. *порастрясти пирог*). Глагол *выспать* в устарелом литературном употреблении, а также в просторечии обозначает: «получить, нажить что-нибудь за время сна». Например, в поговорках: *спал да выспал* (о каком-нибудь неожиданном происшествии), *не спишь да выспишь* (о нечаянном огорчении, неожиданной беде). Ср. в «Коньке Горбунке» Ершова: «Вдруг Конек над ним заржал. И, толкнув его копытом, Крикнул голосом сердитым: — Спи, любезный, до звезды! Выспай себе беды! Не меня ведь вздернут на кол!» У И. И. Лажечникова в романе «Последний Новик»: «Удалый из 3-ей роты отнял... кувшин с мешочком, набитым серебряными копейечками... Этакой добычк Удалому спать было не выспать»<sup>7</sup>.

4. В романе Всеволода Воеводина «Покая нет»: «Не следует думать, что Петька жадничал только до денег и баб; он был не так прост. Главной чертой его природы было любопытство»<sup>7а</sup> (ср. *жадный до* чего; но *жадничать* так же, как, например, *подличать*, *попрошайничать* и т. п., — глаголы непереходные и употребляются абсолютно, т. е. не имеют ни прямого, ни предложного управления).

Можно подвергнуть анализу типические для современной речевой практики случаи нарушения или искажения литературных норм в области

<sup>1</sup> И. Г р у з д е в, Мои встречи и переписка с М. Горьким, «Звезда», 1961, 1, стр. 149—150.

<sup>2</sup> Там же, стр. 170.

<sup>3</sup> «Москва», 1961, 4, стр. 30.

<sup>4</sup> Ср. также в русском переводе рассказа Сомерсета Моэма «На окраине империи» (перевод Н. Галь): «Играет человек в гольф и в теннис лучше других — а что с того в конечном-то счете? Что за важность, если он ловко разбивает пирамидку на бильярде?» (С. М о э м, Дождь. Рассказы, М., 1961, стр. 150).

<sup>5</sup> См. «Словарь современного русского литературного языка», 7, М.—Л, Изд-во АН СССР, 1958, стр. 555—556.

<sup>6</sup> Перевод с английского Ю. Корнеева и П. Мелковой, Л., 1960, стр. 379.

<sup>7</sup> См. «Словарь современного русского литературного языка», 2, 1951, стр. 1262.

Срв. «Словаре Академии Российской», I, СПб, 1806, стр. 968.

<sup>7а</sup> «Нева», 1961, 4, стр. 7.

произношения, образования форм, сочетания слов, построения синтаксических рядов или расположения словесных цепей, употребления слов (в частности, иностранных), словопроизводства и т. д. и распределить их по рядам или классам. В этом заключается только предварительная работа к глубокой научной постановке вопросов изучения современной русской речи — устной и письменной и вопросов культуры речи.

Само собой разумеется, что при изучении ошибок и неправильностей, особенно часто встречающихся в современной речи, необходимо выделить ходовое, типичное, а не развлекаться анекдотами, уродствами индивидуального словоупотребления. Между тем многочисленные статьи о культуре речи, о том, как говорить или как научиться говорить правильно и красиво, появившиеся и продолжающие появляться в наших журналах и газетах, нередко направляют свое внимание именно в сторону анекдотических случаев и сцен.

Вот пример из такой статьи («О культуре речи»): «Одна женщина рассказывала о своей дочери: „Она ничем не довольна! У нее муж аллигатор с большим стажем, а она и то недовольна!“ Аллигатор, как известно, — вид крокодила. Но рассказчица вовсе не хотела сказать, что муж ее дочери — крокодил. Она просто перепутала слова аллигатор и ирригатор (специалист по орошению)»<sup>8</sup>. Если этот анекдот не выдуман самим автором, то и в этом случае он ничего не дает для понимания типичных недостатков современной речи.

Труднее всего бороться с риторическими штампами и их неуместным применением, возбуждающим комическое впечатление там, где оно не нужно и не своевременно.

Вот иллюстрация. В передовой газеты «Известия» от 10 III 1961 г. под заглавием «Строить быстро, добротно» восхваляются строители, которые «вгрызаются в недра земли новыми рудниками и шахтами»<sup>9</sup> (они, к тому же, «тянут паутину электропроводов над железнодорожными путями» и «оседают, можно сказать, пальцами своих рук связь повседневных своих трудов с выходом на орбиту спутников Земли и космических кораблей»). Что неумелое применение риторических штампов здесь помимо воли писавшего окрашивает патетическую речь комической экспрессией, — это очевидно.

Вообще в газете «Известия» нередко можно встретить примеры неряшливого, небрежного отношения к русскому языку, что, конечно, нисколько не умаляет заслуги этой газеты в оживлении общественного интереса к охране чистоты, красоты и правильности современной русской литературной речи. Вот несколько примеров только из одного номера «Известий» (от 10 IV 1961 г.) Из корреспонденции М. Михайлова: «Что происходит на совещании в Женеве: «... по главным вопросам, которые до сих пор *закрывали двери заключению договора*, США остаются на своих прежних позициях». «Отказ... зафиксировать достигнутую в принципе договоренность *по тем вопросам, по которым они заявили, что они принимают советские предложения*, имеет дальнейший прицел». Из статьи М. Каспарова «И никто строго не спросит...»: «В последнее время стали устраивать выставки образцов, совещания с участием работников торговли, *вплоть до всесоюзных*» (к чему здесь относится — *вплоть до всесоюзных?* к работникам торговли?; и что значит здесь *вплоть до...*?). «Оказывается, *они могут то, что у нас давно лежит*, от чего покупатель вторачивается». Подобных примеров можно набрать такое количество, что его хватит на целый словарь («неправильностей современной газетной речи»).

В современных журнальных и газетных статьях, посвященных вопросам культуры речи и убеждающих «говорить правильно и красиво», современное состояние «речевой жизни» нередко характеризуется с отрицательной стороны случайным набором самых разнородных примеров. Тут и неправильности произношения и ударения (тэкст, медикамент и т. п.), и неправильные обороты речи, конструкции (*играть значение, лавина часть, кладется за основу, озабоченность за судьбы мира, оплачивайте за проезд!*, *успех решают* подготовленные люди, *тонко показывают, получить черты* и мн. др.), и проявления мешанской манерности речи (*мирово развлекатся, дико весело, потрясный фильм* и т. д.), и областные вариации формообразования (*местов, делов* и т. п.), и сценки жаргонного речеvedения вроде следующей (на автобусной остановке): «— Эй вы, трупы! Валяйте сюда,

<sup>8</sup> См. «Советское Забайкалье» 19 XI 1959.

<sup>9</sup> Ср. «Знамя», 1961, 3, стр. 224, где А. Васильев так заканчивает свой панегирик В. Е. Ардову — «Ма стер смешного»: «Виктор Ардов активно „вгрызается“ в жизнь, различая в ней новые явления и подмечая отрицание того, что вытесняется самим ходом истории».

прицепимся и мигом айда! — Черт, рубать зверски охота, а тут жди его! — Да, без жратвы ни туды и ни сюды. Хоть бы подколоться к какой сумке...»<sup>10</sup>.

С иных позиций и в ином идеологическом плане и также в зависимости от процессов развития языка в разные эпохи велась и ведется борьба с народно-областными диалектизмами и социально-групповыми жаргонизмами. Однако здесь следует решительно разделять и резко различать вопрос о функциях и границах употребления народно-областных или жаргонных слов в стилях художественной литературы и вопрос о хождении их в разных сферах повседневно-бытовой или деловой устной и письменной речи. Такого различия нет, например, в статье А. Югова<sup>11</sup>, который стремится поднять литературную репутацию таких слов, как *непогодь*, *беремя*, *трузляветь* и т. п.<sup>12</sup>.

Не менее тяжелым препятствием для свободного развития выразительных стилей современного русского языка является чрезмерное разрастание у нас употребления шаблонной, канцелярской речи, ее штампованных формул и конструкций. Об этом так писал известный советский писатель К. Паустовский: «Язык обюрокрачивается сверху донизу, начиная с газет, радио и кончая нашей ежеминутной житейской бытовой речью». «Нам угрожает опасность замены чистейшего русского языка скудоумным и мертвым языком бюрократическим. Почему мы позволили этому тошнотворному языку проникнуть в литературу?»<sup>13</sup>. Оценочные эпитеты, излишества экспрессии — индивидуальные свойства стиля Паустовского, но основная мысль ясна. В этой связи нельзя не вспомнить о том ироническом отношении В. И. Ленина, какое вызывал у него «великолепный канцелярский стиль с периодами в 36 строк и с «речениями», от которых больно становится за родную русскую речь»<sup>14</sup>.

Жалобы на засилье штампов канцелярско-ведомственной речи в разных сферах общественной жизни раздаются со всех сторон. Так, в письме В. Чуракова в редакцию «Известий» «О родном нашем языке» написано: «На наш повседневный разговорный язык, язык газеты, радио, плаката все сильнее наступает неповоротливый язык канцелярии. Он прошикает даже в литературу»<sup>15</sup>. В «Актюбинской правде» (2 IV 1960) читаем в статье Г. Бадровского «Великий и могучий»: «Широко распространенным недостатком, который в первую очередь относится к лекторам и докладчикам, является безличный язык с канцелярски приглаженными и обкатанными формулировками». Неуместное употребление казенно-канцелярских трафаретов высмеял писатель П. Нилин в своих заметках: «В дверь кабинета председателя районного исполкома просовывается испуганное лицо. — Вам что? — спрашивает председатель. — Я к вам в отношении налога... [...] Через некоторое время в кабинет заглядывает другая голова. — А у вас что? — отрывается от своих бумаг председатель. — Я хотел поговорить в части сена... — А вы по какому вопросу? — спрашивает председатель третьего посетителя. — Я по вопросу собаки. В отношении штрафа за собаку. И тоже в части сена, как они...»<sup>16</sup>.

Для характеристики тех же процессов бюрократической шаблонизации современного языка представляет интерес такой разговор между секретарем обкома Пробатовым и сельскохозяйственным работником Константином Мажаровым в новом романе Елизара Мальцева «Войди в каждый дом»: «— А знаете, Иван Фомич, — горячо подхватил Константин. — У вас много интересных мыслей, которыми вы можете щедро поделиться со всеми... А то я вот сейчас вспомнил, как однажды читал одну вашу речь в газете, и по той речи представил вас совсем другим! — Что же — лучше или хуже? — с легкой усмешкой спросил Пробатов. — Договаривайте... — Дело не в том даже, лучше или хуже. Но когда я прочитал вашу речь, я подумал, какой, должно быть, это неинтересный, лишенный всякой самобытности человек. Честное слово! Ведь ваша речь

<sup>10</sup> См. Т. Милованова и Е. Белякина, Научимся говорить правильно и красиво, «Ленинабдская правда» 21 VI 1960.

<sup>11</sup> А. Югов, Эпоха и языковой «пятачок», «Лит. газета» 15 и 17 I 1959.

<sup>12</sup> Ср. статьи: С. Цаланчук «О вымышленном „пятачке“» и Л. Баррасса «Спорная позиция» («Лит. газета» 28 IV 1959).

<sup>13</sup> К. Паустовский, Бесспорные и спорные мысли, «Лит. газета» 20 V 1959.

<sup>14</sup> В. И. Ленин, Борьба с голодающими, Соч., 5, стр. 212. Ср. Л. Никитин, Уметь писать просто и ярко, «Лит. газета» 3 XII 1955.

<sup>15</sup> «Известия» 22 X 1960.

<sup>16</sup> «Новый мир», 1958, 4, стр. 276. Ср. Т. Милованова и Е. Белякина, указ. статья.

была голой информацией об области, она походила на десятки и сотни таких же безликих речей. Что вам сказать, что ли, было не о чем? Вы же вон какой богатой души человек!... [...] — Да что уж там, — Пробатов махнул рукой. — Сушью правду сказали!.. Мы так зацентрировались, что часто не верим, что способны произнести свою, пусть в чем-то неровную, но полную живых мыслей речь и... поручаем ее состряпать работникам аппарата, которые подчас и не болеют этими всеми вопросами! Вот так оно и выходит»<sup>17</sup>.

## 2

Вопросы культуры речи должны рассматриваться с двух точек зрения, в двух аспектах. С одной стороны, сюда относится анализ тех общественно-языковых явлений, которые свидетельствуют о недостатке или недостатках литературной грамотности. Исследование отступлений от национальной литературно-языковой нормы не может быть отделено от рассмотрения изменений в социальной структуре советского общества, в составе интеллигенции. Оно должно дать также ясные указания на источники, причины и условия разнообразных искажений и нарушений литературно-языковой нормы. Борьба с такого рода проявлениями безграмотности или недостаточной литературной грамотности может быть успешной лишь в том случае, если она будет осмыслена как с нормативно-стилистической, так и с социально-исторической точек зрения.

Но есть и другой аспект у проблемы культуры речи. Общественная речь должна быть не только правильной, но и выразительной. Свободное и творческое употребление разнообразных языковых средств опирается на глубокое знание стилей речи и умелое их применение, а также на понимание законов и правил их взаимодействия и взаимопроникновения. Так, Н. Задорнов в статье «Назревшие вопросы» писал, что «...канцеляризм вьедается у нас в народный язык и местами сушит его..., молодежь в деревнях и на заводах, да и в высших учебных заведениях подражает в разговоре выражениям деловых бумаг. Часто канцелярские обороты речи считаются чем-то вроде признаков хорошего тона»<sup>18</sup>.

К. Паустовский в статье «Поэзия прозы» протестовал против «обеднения» и «засорения» современного русского языка: «...сейчас в русском языке идет двойкий процесс: законного и быстрого обогащения языка за счет новых форм жизни и новых понятий, и рядом с этим заметно обеднение, или, вернее, засорение, языка. Наш прекрасный, звучный, гибкий язык лишают красок, образности, выразительности, приближают его к языку бюрократических канцелярий или к языку пресловутого телеграфиста Ять»<sup>19</sup>.

В настоящее время борьба за культуру речи чаще всего ведется с субъективных (индивидуальных или общественно-групповых) позиций. Кое-кому не нравится, например, «засилье» иностранных слов и оборотов в русском языке. А. Югов пишет в уже упомянутой выше статье «Эпоха и языковой „пятачок“»: «И житейская наша речь, и художественная русская литература невероятно засорены иностранными словами и синтаксическими оборотами» (например, *инициатива* вместо *почин* и т. п.). Но ведь эта пуристическая тенденция, которая выступала в разном облике и с разным обоснованием в различные периоды функционирования и развития языка у разных деятелей русской культуры (например, у протопопа Аввакума, Ломоносова, Радищева, Сумарокова, Н. Курганова, А. А. Барсова, А. С. Шишкова, Гоголя и многих других), по-разному связывалась и связывается у разных общественных групп с пониманием процессов и законов развития русского языка, с представлениями о его идеальной норме или идеальной системе. Следовательно, здесь перед нами открываются интереснейшие страницы истории русской культуры. Но они почти совсем не связаны или очень мало связаны с исследованием исторических изменений в структуре русского языка.

<sup>17</sup> «Москва», 1960, 12, стр. 152.

<sup>18</sup> «Лит. газета» 23 XI 1954.

<sup>19</sup> «Знамя», 1953, 9, стр. 175.

Вопросы культуры русской речи, естественно, особенно волнуют советских писателей и литературных критиков. Они откликаются на споры о «чистоте» и «красоте» современного русского языка эмоциональными статьями, всегда носящими яркий субъективно-вкусовой отпечаток. При этом чаще всего в этих статьях смешиваются две совершенно различные задачи и проблемы: 1) общая культура русской речи, в том числе, понятно, и писательской, 2) допустимые в советской художественной литературе пределы отклонений от норм современного литературного языка, даже при наличии эстетических или характерологических мотивировок. Сюда приписывается и третья проблема — борьба с тенденцией к распространению стандартной, «правильной», но «выхолащенной», бледной, однообразной, обесцвеченной речи.

Так, Г. Шолохов-Синявский в статье «Учиться у народа-языкотворца» писал: «Глубоко прав А. Югов, когда в своей статье «Эпоха и языковой „пятачок“» ... критикует составителей словарей и их ревнителей. Вопрос, поднятый А. Юговым, остро назрел и требует самого энергичного вмешательства писателей в такую уродливую борьбу за чистоту литературного языка, как выхолащивание „Толкового словаря живого великорусского языка“ В. Даля». И далее: «... хочется остановить внимание критиков и литературоведов на тревожном явлении, которое все назойливее бросается в глаза, — слово у писателя все чаще не выполняет своего назначения, емкость его сужается и не соответствует полноте и величию отображаемого. Слово, стиль теряют напряженную упругость, страстность, красочность, взволнованность. Живописи в наших произведениях, взволнованного, прерывистого дыхания, сильных чувств, выраженных словом, к сожалению, мало. Наблюдается какое-то однообразное спокойствие, как будто все говорят уныло-ровными голосами и сдерживают силу слова. Наш великий и могучий русский язык должен стать подлинно действенным и смелым средством для изображения гигантских дел и героических характеров нашей эпохи. В этом наша цель и весь смысл нашей работы!»<sup>20</sup>

В журнале «Нева» начал печататься роман «Заноза (страницы сердобольской хроники)» Л. Обуховой, по отзыву редакции, — талантливой советской писательницы, «гражданская зрелость» которой выковалась в годы Великой Отечественной войны. Л. Обухова решила в этом романе откликнуться и на вопросы культуры русской речи. С этой целью она выдает замуж одну из приятельниц своей главной героини Тамары — Лалочку за старичка-профессора «русской филологии» и заставляет ее углубиться в научно-лингвистические и научно-философские проблемы современности. Так, «когда она уже стала его женой, каждое утро, едва он открывал глаза, — вместе с ним как бы просыпался и целый новый умный мир. Он втягивал ее в круговорот своих мыслей, делал равным себе товарищем. Для него не существовало незначительных или пустых тем: процесс мышления, начинающийся даже с примитива, вызывал в нем такое глубокое, пристальное уважение, что она не чувствовала себя ни в чем ущемленной. Она жила, захваченная вихрем радостного познания. Ей казалось, что их комната раздвигается до самого горизонта, и каждый день был, как подарок. Она научилась жить с книгами постоянно; читать их не для развлечения, а находить зарытые клады — целые миры мыслей, завещанные писателями»<sup>21</sup>. Порадуемся вместе с автором счастливой судьбе Лалочки и увлекательной жизни старых профессоров «русской филологии» и вернемся к первым решающим дням этой филологической «координации».

«Она (Лалочка. — В. В.) уже давно сдала ему к у р с е р с к о й ф и л о л о г и и (так как такого курса не было и нет ни в университетах, ни в педагогических институтах, то, очевидно, Лалочка его и не сдавала. — В. В.), но теперь постигала все заново; они бродили по основным перелескам и без конца разговаривали. Профессор очень смеялся, вспоминая статью писателя Gladkova по поводу правильности языка (можно ли сказать „довлеет над ним“) и академически бесстрастный ответ Виноградова: „В таком-то году употреблялось у Чехова и у М. И. Калинина. Лично я избегаю этого выражения“.

— Все равно, как если б ходили мы с вами по лесу, собирали грибы, наткнулись на один, заспорили и спросили бы у грибоведа: съедобный он или несъедобный? А тот бы стал отвечать: „В девятнадцатом веке в Костромской губернии во время голода гриб этот употреблялся в пищу. Также его разновидности на островах (? сколько таких островов должно быть ведомо профессору русской филологии, — знает одна Л. Обухова. — В. В.) Таити издавна известна туземцам. Есть упоминание в Ипатьевской летописи. Что касается меня, я его не ем“. Ну а съедобный он или нет? Так и не ответил. Лингвисты, Лалочка, должны стать практиками; не только коллекционировать обороты, но и активно вмешиваться в процесс языка, объяснять его, предсказывать тенденции, смело бороться за новое. В общем — взять язык в руки!»<sup>22</sup>.

До сих пор рассуждения старичка-филолога могли бы представлять некоторый

<sup>20</sup> «Лит. газета» 14 III 1959.

<sup>21</sup> «Нева», 1961, 1, стр. 84.

<sup>22</sup> Там же, стр. 83.

интерес не только для Лалочки, но и для читателей. Но далее старый филолог понес несусветную чушь, которая во всяком случае не должна бы увлекать Лалочку, если она действительно, как уверяет автор, окончила институт: «Вот вы заметили, как настойчиво исчезает двойственное число: было „окны“, стало — „бкна“». Как известно, двойственное число у нас «настойчиво исчезало» в XII—XIII вв. Форма *окны* никогда не относилась к формам двойственного числа (ср. *колени, очи, уши*). А дальше старый филолог ни к селу, ни к городу лачинает рассуждать о другом процессе, не связанном с *бкна*: «Я даже подслушал в живой речи такую форму: „пароходá“. Именно, не „пароходы“, а „пароходá“. Пока что это звучит нелепо, согласен. Но вот такие слова, как „директора“, „трактора“, мы напрасно силится загнать в старые рамки: „директоры“, „тракторы“»<sup>23</sup>.

Таким образом, Л. Обухова думает, что соотношения форм *бкны* — *бкна* однопипны с соотношениями: *пароходы* — *пароходá*, и все это она связывает с исчезновением двойственного числа. Но не говоря уже о странной и нелепой идее о двойственном числе (ведь *бкна* далеко не всегда указывает на два окна), автор мог бы заметить своеобразный ход и характер перемещения ударения в формах мн. числа *директор* — *директорá* (ср. *дирéкторы*) сравнительно с *окнб* — *бкна*, *полотнб* — *полбтна* (но *болбто* — *болбта*, *слбво* — *слбвá* и т. п.). Вообще же следует пожалеть Лалочку.

Сложные и разнообразные приемы и принципы включения форм несобственно-прямой и смешанной речи в структуру повествовательного стиля, широкое использование в ней внутренней речи персонажей представляют возможность автору непосредственно комментировать разные явления и события изображаемой жизни, а также и речевые процессы современной действительности с заданных позиций. Тем самым способы художественного изображения упрощаются и, если можно так выразиться, уплощаются, они располагаются в прямой плоскости авторской «идеологии», авторских оценок.

Вот иллюстрация. В романе С. Михеевой «Личная жизнь Степана Силина» так с самого начала оценивается манера речи матери Степана: «Дерзвенское „надоть“ мать произносила наряду с учеными словами: „рацион“, „формировалась“, видимо вычитанными или слышанными где-то. Она по-старому „якала“: „отгеля“, „печкя“, но местных слов даже она употребляла теперь значительно меньше. И вспоминалось Степану, как двенадцатилетним мальчишкой, пасмурный, он заповздал однажды из школы, а мать строго спросила: — Ты куда ходил? — Куды, туды... — огрызнулся он и вдруг, уткнувшись в шапку, залился слезами. Мать подошла ближе. — Это што такое? Подрался, што ль, с кем опять? — Это, это! — передразнил, всхлипывая, Степан. — Ты, ты обучила... — Говори толком. — Это, печкя, колды!.. забившись, со злобой повторял он в слезах. — Второй неуд за диктант получаю... — Это почему же? — оторопело спросила мать, зашнувшись на „это“. — Неграмотно, поняла ты?! Неграмотно, учительница говорит, — и он опять отчаянно заплакал. Мать молча раздела и накормила. А спустя месяц, в воскресенье, ворвавшись с улицы домой, он увидел ее над своєю книжкой по чтению»<sup>24</sup>. Так писательница решает сложную проблему освобождения советского крестьянства от старых навыков областного говора.

А. М. Горький всегда отделял вопрос о нарушениях литературно-языковых норм от вопроса об эстетических функциях, об эстетической ценности сознательного украшения стиля «не литературными словечками». В письме к И. А. Груздеву (9 I 1926 г.) он писал (по поводу стиля рассказов, повестей и романов в № 3 альманаха «Ковш»): «Погоня за новыми словечками, неумеренное употребление местных словарей, местных языкоблудий на меня лично наводит тоску... В этом стремлении украсить рассказ не л и т е р а т у р н ы м и словечками, — кроме засорения языка хламом, — чувствуется мещанская эстетика, желание изукрасить икону фольгой, бумажными цветочками и „виноградом“. Это — плохо»<sup>25</sup>.

### 3

Для того чтобы вопросы культуры речи и борьба за речевую культуру советского народа, советского общества были поставлены на твердую научную базу, необходимо широкое, всестороннее изучение народной «речевой жизни». Нет нужды в данном случае углубляться в проблему разграничения понятий языка и речи. Ясно главное: понимание языка как специфической структуры, как системы взаимосвязанных элементов, которые

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> С. М и х е е в а, Личная жизнь Степана Силина, М., 1959, стр. 26—27.

<sup>25</sup> И. Г р у з д е в, Мои встречи и переписка с М. Горьким, стр. 144.

распределяются по разным также взаимосвязанным и взаимодействующим планам или «уровням» — фонологическому, морфологическому, синтаксическому или синтагматическому, лексическому или лексико-фразеологическому, семантическому, а отчасти и стилистическому, не может охватить всего многообразия явлений и проявлений общественного функционирования речи, всех форм, видов и фактов социально-речевой действительности, всех реальных манифестаций, воплощений и трансформаций языка. Вот почему, наряду с исследованиями языковой структуры вообще и национальных языковых структур в частности, в разных странах, с разными приемами и задачами, с разной интенсивностью, на различной методической и даже методологической базе ведется изучение живой устной и письменной речи во всем многообразии форм, жанров и обнаружений — вплоть до индивидуальных.

Одно из лингвистических направлений, связанных с исследованием этого круга проблем, в японской лингвистике было недавно охарактеризовано акад. Конрадом в работе «О „языковом существовании“». Термином «языковое существование» в японской лингвистике обозначается внутреннее существо и центральная задача этого научного течения. Язык тут рассматривается в связи с «существованием человека» как одна из форм человеческого существования вообще. Есть два проявления языкового существования — устное языковое существование и письменное языковое существование. В плане языкового существования изучаются устная и письменная речь, а это совсем не то, что называется системой разговорного или системой письменного языка. Изучение языкового существования — это изучение речи в разных актах ее проявления, изучение самих речевых актов в их двустороннем (стороны говорящего и слушающего, пишущего и адресата) составе. Так, при исследованиях устной речи, «в плане лексики задачей является изучение слов, санкционированных общественной практикой именно как принадлежность устной речи, раскрытие природы этих слов и их выразительных качеств, установление границ этого слоя лексики, выяснение наиболее вероятных путей его пополнения и, наконец, определение желательного с точки зрения повышения культуры языка направления нормализующего воздействия сознательной общественной воли. В плане фразеологии изучению подлежат характерные для устной речи соединения слов с выяснением силы тяготения одних слов к другим и выявлением образовавшихся на этой основе устойчивых выражений, служащих конкретным материалом устной речи — готовыми лексическими и фразеологическими элементами, которыми оперирует говорящий. Отсюда открывается путь к изучению элементов индивидуальности в устной речи, степени, границ и роли этих элементов в речи в целом»<sup>26</sup>.

Судя по таким вопросам, как: «Из скольких речевых единиц состояло говорение?», «Какого размера были речевые единицы?»<sup>27</sup>, — при исследовании речи делаются наблюдения и над синтаксической структурой фраз и высказываний, вообще над всеми теми конструктивными свойствами речи, которые в чешской лингвистике относятся к «теории высказываний». В плане специальных средств языкового выражения изучению подлежат акцентуация, интонация, мелодика, экспрессивная окраска речи, темп, ритм и др. под. Естественно, что в сферу исследования вовлекаются и различия между разными жанрами монолога и диалога, а также между их функциональными типами. Например, в монологической речи: сообщение-информация, приветствие, обращение, ответ и т. п.

«В случае диалогической речи на выбор языковых средств влияет содержание и характер диалога: языковые средства весьма различны при разговоре-беседе, разговоре-обсуждении, разговоре-споре и т. д.»<sup>28</sup>. На

<sup>26</sup> П. И. Ко н р а д, О «языковом существовании», «Японский лингвистический сборник», М., 1959, стр. 8.

<sup>27</sup> Там же, стр. 9.

<sup>28</sup> Там же.

выбор средств выражения влияет и положение, а также отношение к речи слушателя. Для письменной речи важно также и то, что именно представляет собой адресат: обращаются ли к нему в порядке *personal communication* — «персональной коммуникации» или же в порядке *mass communication* — «массовой коммуникации». «Само собой разумеется, что необходимо учитывать также назначение и формы письменной речи. Одно дело — письмо, дипломатическая нота, коммерческая корреспонденция, листовка, прокламация, обращение; другое — закон, указ, решение, постановление. Каждый из этих видов письменной речи имеет свои собственные средства выражения. В общем же изучение письменной речи, как и изучение устной, должно дать возможность обрисовать характерную для письменной речи в целом и для каждого из ее видов лексику; выяснить путь обновления и пополнения этой лексики; выявить конкретный фразеологический материал — готовые словосочетания, выражения, обороты речи, которыми независимо от своей воли обычно оперирует пишущий; указать на этой основе пути обнаружения индивидуальности речи, индивидуальных своеобразий в пользовании штампами; раскрыть общие тенденции, управляющие дальнейшим развитием письменной речи, и наметить способы нормализующего общественного вмешательства в этот процесс»<sup>29</sup>.

Легко увидеть и оценить практические цели этого направления научного языкознания — создание прочной основы для сознательного нормализующего воздействия общественной воли на речевую практику. Для этого необходимо разветвление огромной работы по обследованию самых разнообразных областей речевой практики — устной и письменной. Такая работа даст важные наблюдения и обобщения и для понимания структуры стилей художественной литературы. В Японии была подвергнута обследованию речь представителей разных слоев населения — ремесленников, мелких торговцев, мелких служащих, крестьян и др. При этом ставилась задача — определить, что конкретно следует считать в современном обществе «общим языком».

Этот опыт описан здесь так подробно не потому, что предлагается скопировать его и применить к русскому языку, но для того, чтобы яснее стала важность широкого, всестороннего освещения всего многообразия современной русской устной и письменной речи (как и всякой другой национальной речи в Советском Союзе).

## 4

Самые глубокие и ответственные обобщения, которые могут быть сделаны на основе всестороннего изучения разновидностей и жанров современной устной и письменной речи, должны быть систематизированы в стилистике современного русского языка. Ведь предметом стилистики служат все области и все способы использования языка, в особенности литературного. Распространение стилистических приемов, методов и принципов исследования на изучение многообразных форм и видов языкового общения можно считать ценнейшим достижением современной филологии.

В той очень обширной, мало исследованной и не отграниченной четко от других лингвистических или даже — шире — филологических дисциплин сфере изучения языка, которая ныне называется стилистикой русского языка, следовало бы различать по крайней мере три разных круга исследований, тесно соприкасающихся, часто взаимно пересекающихся и всегда соотносительных, однако наделенных своей проблематикой, своими задачами, своими критериями и категориями. Это, во-первых, стилистика языка как «системы систем» или структурная стилистика; во-вторых, стилистика речи, т. е. разных видов и актов общественного употребления языка; в-третьих, стилистика художественной литературы. К последней примыкает теория и история поэтической речи.

<sup>29</sup> Там же, стр. 10.

Стилистика языка изучает соотношение и взаимоотношение языковых стилей, характеризующихся комплексом типичных признаков. Эти стили обычно называются функциональными, например разговорный, противопоставленный книжному вообще и отграниченный от других стилей языка коммуникативно-бытовой функцией; научно-деловой, специальный, определяющийся своеобразными свойствами и принадлежностями научно-коммуникативной функции; газетно- или журнально-публицистический, выделяющийся по характерным качествам и приметам агитационно-коммуникативной функции; поэтический или художественный<sup>30</sup> и некоторые другие (например, официальный)<sup>31</sup>.

Впрочем внутренняя дифференциация языковых стилей может и не опираться на различия функций языка или на выделение тех или иных разновидностей коммуникативной функции. Она может осуществляться на основе структурных или конструктивных противопоставлений и соотношений между частными системами выражения внутри единой структуры языка. Об этом акад. Л. В. Щерба писал: «В этой стилистике русский литературный язык должен быть представлен в виде концентрических кругов — основного и целого ряда дополнительных, каждый из которых должен заключать в себе обозначения (поскольку они имеются) тех же понятий, что и в основном круге, но с тем или другим дополнительным оттенком, а также обозначения таких понятий, которых нет в основном круге, но которые имеют данный дополнительный оттенок. Из всего сказанного ясно, что развитый литературный язык представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимических средств выражения, так или иначе соотносенных друг с другом»<sup>32</sup>.

Само собой разумеется, что структурные своеобразия языковых стилей, количественные, а тем более качественные различия между ними, их состав исторически изменяются и различны в разные эпохи развития национального литературного языка. Во всяком случае несомненно, что с развитием центростремительных тенденций в истории национального литературного языка, с постепенным подчинением областных вариаций народно-разговорного языка общим нормам языка литературного, с все большей концентрацией структуры национального языка языковые стили становятся базой для дифференциации многочисленных и многообразных стилей речи, характеризующих усложненность и многообразие форм речевого общения. Стилистика языка в этом плане тесно связывается со стилистикой речи.

Естественно, что в стилистику языка входит изучение и разграничение разных форм и видов экспрессивно-смысловой окраски, которые сказываются и в семантической структуре слов и сочетаний слов, в их синонимическом параллелизме и тонких смысловых соотношениях, и в синонимике синтаксических конструкций, в их интонационных качествах, в вариациях словорасположения и т. п. Но гораздо важнее в данном случае указать хотя бы наиболее резкие и важные различия между содержанием и задачами стилистики языка и стилистики речи — при их внутренней взаимосвязанности.

Именно на долю стилистики речи выпадает задача разобраться в тончайших различиях семантического и экспрессивно-стилистического характера между разными жанрами и общественно обусловленными видами современной устной и письменной речи. Ведь такие композиционные формы устной речи, как, например, выступление в дискуссии, лекция, консультация, пресс-конференция, доклад, беседа с той или иной аудиторией и т. п., обычно строятся на многообразном чередовании или смешении, взаимопроникновении элементов разговорного и книжного языка. Здесь

<sup>30</sup> См., например, А. Н. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, М., 1955, стр. 19—39.

<sup>31</sup> См. E. Riesel, *Stilistik der deutschen Sprache*, Moskau, 1959.

<sup>32</sup> Л. В. Щерба, Современный русский литературный язык, в кн.: «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 121.

же выступают сложные задачи изучения мелодики речи, интонации в широком смысле этого слова. Достижения стилистики речи в этом отношении могут оказать неопределимую услугу и тем, кто занимается теорией сценической речи, а также артистам сцены. Вопросы судебного красноречия, судебной речи, так живо интересовавшие русское общество с 60-х годов XIX в. и заглушенные, было, в 30—40-х годах нашего столетия, сейчас возрождаются с новой силой и с новым их осмыслением.

Еще более многочисленны и разнообразны жанры и формы письменной речи, письменного общения в наше время. И здесь важно изучить типические приемы объединения и сочетания разных языковых стилей в пределах одного и того же композиционного типа письменной речи, например приветственного адреса или юбилейного приветствия, передовой статьи, научной рецензии и т. п. Тут найдет место и проблема «дурного влияния канцелярского и ведомственного жаргона»<sup>33</sup>.

Исследование разных жанров и типов устной и письменной речи, имеющих широкое распространение в общественной практике и типичных для современного состояния языка, естественно, тесно связывается с исследованием форм и видов монологической и диалогической речи. При таком исследовании раскрываются и общие конструктивные свойства монолога и диалога, и стилистические различия между разными их композиционными типами.

В сущности, разновидности публичной монологической речи у нас почти совсем не исследуются со стилистической точки зрения. Что касается диалогической речи, то изучение ее в последние годы у нас начинает все больше привлекать внимание (например, структура реплик, виды их соотношения и взаимодействий в последовательном движении диалогической речи, повторы, разнообразные виды лексического и синтаксического параллелизма в репликах, проблема семантико-синтаксической единицы в диалоге и т. п.)<sup>34</sup>. Однако все наблюдения в этой сфере почти исключительно опираются на материал, извлекаемый из художественной литературы.

В стилистику речи, очевидно, должно войти и изучение разных форм смешения и взаимодействия монологической и диалогической речи. Кроме того, нет оснований исключать из стилистики речи также исследование разных форм и типов речевых высказываний, их структуры, видов их связей и сцеплений, зависимости их от разных контекстов и ситуаций, от их стилистических качеств и своеобразий. В чешско-словацкой лингвистике высказывание определяется как «семантически законченная, относительно самостоятельная единица речи, реализованная с конкретной целью, в конкретной пространственной и временной ситуации одним говорящим»<sup>35</sup>. Некоторые типы высказывания характеризуются устойчивыми комбинациями и способами употребления языковых средств, которые определяют «форму» высказывания. Отдельные, относительно самостоятельные высказывания могут сочетаться в целостный комплекс в составе монологической и диалогической речи. Закономерности строения высказывания, по мнению чешских лингвистов, являются предметом изучения «стилистики типов высказывания», т. е. стилистики речи<sup>36</sup>.

Исследование всех этих сложных и разнообразных проблем стилистики речи должно вестись не только в описательном, но и в сопоставительно-

<sup>33</sup> См. Ф. Г л а д к о в, О литературе, М., 1955, стр. 111.

<sup>34</sup> См.: Н. Ю. Ш в е д о в а, К изучению русской диалогической речи. Реплики-повторы, ВЯ, 1956, 2; с е ж е, Очерки по синтаксису русской разговорной речи (Вопросы строения предложения). Докт. диссерт., М., 1958; Т. Г. В и н о к у р, О некоторых синтаксических особенностях диалогической речи в современном русском языке. Канд. диссерт., М., 1953; М. Л. М и х л и н а, Из наблюдений над синтаксисом диалогической речи. Канд. диссерт., Л., 1955; В. Ф. С е д о в, Некоторые особенности диалогической речи (На материале драматургии Бальзака), сб. «Вопросы теории языка» («Уч. зап. ЛГУ», 283. Серия филол. наук, 56), 1961, и др. под.

<sup>35</sup> L. D o l e ž e l, O stylu moderní české prózy, Praha, 1960, стр. 12.

<sup>36</sup> См. И. И. Р о в т у н о в а, [рец. на кн.:] L. Doležel, O stylu moderní české prózy, ВЯ, 1961, 2, стр. 132.

оценочном, нормативном плане. Легко представить, какой богатый и важный материал для глубокого и объективно-исторического разрешения вопросов культуры речи могут дать наблюдения и обобщения, относящиеся к стилистике речи. История разработки русской стилистики подтверждает вывод о тесной связи проблем стилистики языка и речи с вопросами культуры русского языка.

## 5

В истории русской культуры уже в эпоху средневековья (особенно глубоко и ярко с XVI—XVII вв.) состояние и движение народного, «природного» русского языка стали тесно связываться с судьбами народа. Вопрос о силе и могуществе, выразительности и красоте родного языка в общественном сознании XVII—XVIII вв. стал неотделим от идеи независимости, социально-политического процветания и мирового влияния русского народа. Любовь к родному языку сливалась с любовью к родине. Передовые люди нашей страны горячо боролись за чистоту и величие русского слова, признав его важнейшим фактором национального самосознания, духовного развития нации (например, протопоп Аввакум, Петр Первый и др.). Уже на заре формирования нации остро выступают проблемы культуры русского языка. Эти проблемы — в общей перспективе процессов образования и развития национального литературного языка — приобретают особенную глубину и значительность. В. К. Тредиаковский призывал соотечественников «больше всех других природной... [своей язык.—В. В.] любить, чистить, к нему прилежать, о нем всегда помышлять...»<sup>37</sup>.

Но лишь в филологических трудах гениального М. В. Ломоносова вопросы культуры русской речи были поставлены на твердый научный фундамент. Таким фундаментом, по мысли Ломоносова, должна стать полно и тщательно разработанная стилистика русского языка — стилистика языка и стилистика речи. В трудах Ломоносова не было понятия о стилистике в современном смысле. Учение о стилях, о стилистических оценках и рекомендациях вменялось в широкий круг словесных наук — грамматику, риторике, «показующую общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии», лексикон. В статье «О нынешнем состоянии словесных наук в России» Ломоносов писал: «...легко рассудить можно, коль те похвальны, которых рачение о словесных науках служит к украшению слова и к чистоте языка, особливо своего природного»<sup>38</sup>.

Стилистические принципы, сформулированные Ломоносовым, и стилистические задачи, им выдвинутые, оказали огромное влияние на нормализацию русского литературного языка во второй половине XVIII в. и на развитие и взаимодействие его стилей. А. Н. Радищев в своем «Слове о Ломоносове», подробно останавливаясь на трудах Ломоносова по грамматике и стилистике («риторике») и внося существенные поправки и изменения в оценку риторических ломоносовских правил — в соответствии со своим мировоззрением и потребностями своего времени, — делал такой общий вывод: «Между согражданами твоими не грамматика твоя одна соорудила тебе славу. Заслуги твои о Российском слове суть многообразны; и ты считаешься в малоприятительном сем своем труде, яко первым основателем истинных правил языка нашего, и яко разыскателем естественного расположения всяческого слова. Твоя грамматика есть преддверие чтения твоя риторика, а та и другая руководительницы, для осязания красот изречения творений твоих. Поступая в преподавании правил, Ломоносов вознамерился руководствовать согражданами своим, в стезях тернистых Гелликона, показав им путь к красноречию, начертывая правила риторики и поэзии...»<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> Тредьяковский, Соч., III, СПб., 1849, стр. 571.

<sup>38</sup> М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., VII — Труды по филологии, М.—Л., 1952, стр. 582.

<sup>39</sup> А. Н. Радищев, Путешествие из Петербурга в Москву, Полн. собр. соч., I, М.—Л., 1938, стр. 387.

Таким образом, Радищев восхваляет Ломоносова за то, что он создал не только грамматику русского языка, но и заложил основы стилистики этого языка, стилистики языка и речи, а также стилистики художественной литературы, подкрепив свои «правила» и теоретические обобщения своими произведениями. В последние десятилетия XVIII в., в связи со смещением границ литературных стилей и с выступавшими все более глубоко и разносторонне очертаниями единой системы русского национально-литературного языка, начинается борьба с конкретными правилами ломоносовской стилистики и выдвинутыми ею принципами литературно-языковой нормализации. Во главе этого движения стояли Н. И. Новиков и позднее Н. М. Карамзин. И тут многое представляет интерес и для современной русской стилистики.

С новыми, складывающимися в конце XVIII — начале XIX в. нормами русского литературного языка и принципами его стилистического расслоения были связаны новые, ограниченные критерии оценки того, что соответствует нормам русского общенационального языка, а также новые пуристические тенденции — тенденции очищения русского языка от всего наносного, вульгарного, пошлого. Так, по словам казанского провинциала поэта Г. П. Каменева, Карамзин при встрече с ним заявил: «... отдавая всю справедливость красноречию Ломоносова, не упустил я заметить штиль его д и к и й, в а р в а р с к и й, вовсе не свойственный нынешнему веку, и старался писать чище и живее»<sup>40</sup>. Карамзин указывает, например, на низкий стилистический уровень массовой литературы XVIII в. Он демонстрирует архаические, отсталые формы лексики, фразеологии и синтаксиса русских полупереводных, полуоригинальных занимательных сборников, рассчитанных на широкого читателя, указывает на беспорядочное смешение разных типов речи в их стиле.

В «Московском журнале» Карамзин комически иллюстрирует свои суждения и приговоры несколькими примерами. Он выбирает для образца такой сборник: «Театр чрезвычайных происшествий истекающего века, открыт и представлен очам света в следующих созерцаниях: Проказы Иезуитов и Францисканских монахинь, странное приключение одного маркиза при целовании Папского туфля, ужасная кончина одного Англичанина и гибельная участь дочери французского купца, злость Священника, невинно пошевенный, бродящее мнение привидение по ночам. посрамленное легковерие ученых, уничиженная гордыня Гишпанца на Руси, разврат учителя Француза, плоды коварства, храбрость Росса, посрамление невежды, и проч. В граде С. Петра 1790 года». «Правда, один уже титул может сообщить достаточное понятие о достоинстве книги; но для забавы наших читателей выпишем из нее некоторые места». И Карамзин приводит из книги образцы трех стилей речи — философского, любовно-эпистолярного и повествовательного. «Вот рассуждение о бедности человеческой, или бог знает что: „Тень знания зыблется в уме его (человека) аки сон. Преклонность на многая при созерцании окружающих предметов со светильником ума блудит аки слепец. Обращаясь в Театре света, пока жизненность в себе ощущает, претыкается аки во мраке. Извлекая умозаключения, недоумевает аки расстроенный чрезвычайно печальностию. Поборяя многие встречи, теряет силы воображения, аки попраный львом. Нередко самая малость, встречающаяся глазам его, расстраивает пружины ума и поражает аки молниеносный удар. Даже мановение иногда обуревают мерцающее умодействие, аки ревуший вихрь слабую былинку. Что ж при сих преткновениях является?»

Пусть читатель сам себе отвечает, что является при сих преткновениях; а мы сообщим ему между тем нежное любовное письмо. Вот оно: „Жизнь жизни моей! Немилосердное несчастье, терзающее ваше сердце, поразило до глубины мое. Быв обят состраданием, приходил я неоднократно в безумие. Но любовь, сей божественный огонь, коим все и всё пламенет, возггла во мне светильник света. Для чего же? Чтобы извлечь тебя, о дражайшая моя! из недр гибели. Внемли: я хочу вместе с тобою даже до гроба пребывать. Имая волю, избрай любое: или погребн себя в оном гробе жизненности и скройся во мрачность терзать сетующее сердце, или сплени непременно завтрашнего же дня ночью во объятия обожающего тебя. Я буду ожидать у стены сада близ обветшалой башни. Любовь научит собраться на высоту и опуститься вниз по спущенной мною леснице. Прости дерзости вернейшего своего жениха Рафика“.

Теперь читатель знает, как автор рассуждает и пишет любовные письма; но не знает еще, как он рассказывает; и так, просим его прочесть следующие строки: „Начало самого действия созерцаемо было в Пруссии в Мекленбургском округе. При пиршестве

<sup>40</sup> Н. В т о р о в, Г. П. Каменев, в кн.: «Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный В. А. Соллогубом», I, СПб., 1845, стр. 58.

среди сладострастий, среди утех, среди блесков пышностей, среди окураженной многими напитками компании, се внезапно предстал пред начальника Мекленбургского гарнизона совсем никому не известный благообразнейший юноша»<sup>41</sup>.

Правда, рецензент признает, что эта книга — «несмотря на множество карикатурных книг, выходящих на языке нашем, — есть редкое явление. Она должна быть вместе и сочинение и перевод». Но любопытно, что присланные в Москву экземпляры этого «Феатра» «почти все в один день были проданы. Вероятно, — иронизирует Карамзин, — что всякий хотел иметь его как редкость истекающего века, и — не ошибся. Что касается до типографической исправности, то о ней можно судить по словам *лабериньей, поибрание, подблбно*. Учись теперь уму и орфографии из печатных книг! За сим вздохнем и положим перо»<sup>42</sup>.

Карамзин отказывается в пределах общей национально-языковой нормы от обветшалых примет высокого штиля и от грубого просторечия. Новая система стилей литературного языка, по мысли Карамзина, должна, в основном, опираться на средний стиль в расширенном его понимании, без пуристического отношения к необходимым европеизмам.

Вот иллюстрации к стилистическим задачам карамзинской реформы. Карамзин борется с вторжением приказного или подьяческого слога в иные стилевые сферы литературного языка, продолжая в этом отношении традиции сумароковской школы. Разбирая русский перевод «Неистового Роланда» Ариосто, он пишет: «В следствие чего, дабы»<sup>43</sup> и проч. (Это слишком по-приказному, и очень противно в устах такой женщины, которая, по описанию Ариостову, была прекраснее Венеры)»<sup>43</sup>.

Карамзин внимательно следит за процессом образования национальной русской научной терминологии. Он сам стремится принять активное участие в этом великом национальном деле, получившем особенно широкий размах под влиянием Ломоносова. Рецензируя перевод «Всеобщей и частной естественной истории графа Бюффона» (ч. 1), сделанный академиками С. Румовским и И. Лепехиным, Карамзин пишет: «Важней труд почтенных Господ Переводчиков, и достоин всевозможной похвалы. Самые труднейшие физические слова перевели они в сей части весьма удачно»<sup>44</sup>. Но далее Карамзин прибавляет: «Между многими очень хорошо переведенными словами попадаются и такие, которые бы, казалось, могли быть иначе переведены. Так напр. переведены *jurisconsultes* — *проповедцы*, *classes* — *статьи*, *ordres* — *семейства*, *minéraux* — *ископаемые*, *subdivision* — *подразделение*. Имя *проповедцы* скорее всего можно почтеть за уменьшительное проповедей. Для чего бы, казалось, не сказать *классы* вместо *статей*? Сие слово давно уже сделалось русским; а *статья* всегда значила *артикулу*, слово, которое ни на каком языке не имеет одинакового значения с классом. Люди могут разделяться на классы, а на артикулы или на статьи не могут; то же и звери. Слово *семейство*, *famille*, есть в натуральной истории, но не то значит, что *ordre*. Животные разных сходных между собою родов составляют *ordre*, а семейство состоит только из животных одного рода и одного имени, впрочем имеющих между собою некоторое различие; так, напр., говорится: *la famille nombreuse des polytes* — *многочисленное семейство полипов*. Я не знаю, для чего бы *minéraux* не назвать минералами; сие слово известно всем тем, которые и никаких иностранных языков не знают. Название *ископаемые* скорее бы могло означать *fossiles*, *фоссилы*, слово, не столь уже известное в русском языке, как минералы. Как же мы будем переводить *eaux minérales*? К тому же минералы лежат и на поверхности земли: следственно ископаемость не есть общий отличительный характер их. Что принадлежит до *подразделения*, то русскому трудно понять, как можно что-нибудь *подразделять*: не лучше ли бы было сказать, вместо *подразделения*, *перерделение*. — Все сие только для примера»<sup>45</sup>.

Нельзя не признать, что точка зрения Карамзина на научную терминологию глубока и прогрессивна. Карамзин считает возможным сохранять те заимствованные термины, которые уже обрусели. Кроме того, он учитывает потребности интернациональной номенклатуры. Он подчеркивает необходимость считаться с логическими отношениями между терминами в системе их, в одном семантическом ряду. Он указывает на то, что русские переводы или кальки иноязычных терминов должны быть оправданы словообразовательными моделями русского языка, его морфологическим строем. (Ср. указание на омонимность выражения *проповедцы* с уменьшительным *проповедцы* от *проповедь*; ссылку на невозможность образования прилагательного от *ископаемое* и т. п.). Таким образом, Карамзин отстаивает принцип национальной самобытности русской научной терминологии, но не

<sup>41</sup> «Моск. журнал», ч. II, 1, 1791, стр. 79—82.

<sup>42</sup> Там же, стр. 82, 83.

<sup>43</sup> Там же, ч. II, 3, стр. 325.

<sup>44</sup> Там же, ч. I, 2, стр. 242.

<sup>45</sup> Там же, стр. 244—246.

считает целесообразным отгораживаться стеной от интернационального лексического фонда.

Карамзин отмечает неологизмы индивидуального стиля и оценивает их с точки зрения единой общей нормы литературного языка и тенденций его развития. В «Кадме и Гармонии» М. М. Хераскова он находит «несколько слов, к которым наше ухо не привыкло; наприм. *умоклочкиня* вместо мыслей и рассуждений, *понурист* вместо ската или свеса и некоторые слова во множественном, которые мы обыкновенно употребляем только в единственном, как-то: *поведения, роскоши* и проч. Но не будем искать бездельных ошибок — естли это и подлинно ошибки — в таком сочинении, которое наполнено красотами разного рода»<sup>46</sup>.

Я. К. Грот в статье «Народный и литературный язык» писал о стилистических законоположениях Карамзина: «Проза Карамзина стала для всех образцом письменного языка. На ней построена была грамматика Греча, получившая на целые десятилетия законодательную силу»<sup>47</sup>.

Из этих историко-стилистических иллюстраций ясно, как целесообразно и насколько необходимо установить самую живую, активную и неразрывную связь между объективным, научно обоснованным решением основных проблем культуры речи и глубокой научной разработкой пока еще очень мало обследованных областей стилистики русского языка и стилистики русской речи.

## 6

Стилистика русского языка и стилистика русской речи имеют огромное значение для стилистики художественной литературы. Они дают ей ценнейший материал наблюдений и обобщений, хотя и в ином, не эстетическом, а объективно-историческом или синхронно-нормативном освещении. Но задачи, цели, самый предмет изучения, критерии его оценки и категории его распределения у стилистики художественной литературы совсем другие. В стилистике художественной литературы изучаются не только способы использования разнообразных средств общего языка, его стилей, различных форм устной и письменной речи, не только приемы литературно-художественных новообразований, новые типы сочетания разнотипных элементов, но и мотивированные в словесно-эстетическом плане многообразные роды и формы отступлений от норм общего литературного языка. Любопытный материал для такого изучения представляют пародии, шуточные, каламбурные произведения.

В заметках И. А. Груздева о встречах и переписке с М. Горьким содержится такое интересное наблюдение Горького, относящееся к Маяковскому: «...он обнаружил пристрастие к словесным фокусам:

Сидит к октябрю сова —  
Се деют когти Брюсова

и т. д. в этом роде. Это было бы хорошо, будь это весело. Но он придавал натянутой игре словами как будто серьезное значение, чуть ли не возводя ее „на степень мистики в фонетике“, как однажды выразился А. Белый»<sup>48</sup>.

В пародии М. Медведева «Стихопад» иронически демонстрируется увлечение некоторых советских поэтов приемом развернутой цепи номинативных предложений, которые при этом иногда строятся даже на основе называния не предметов обстановки, а лиц.

## Стихопад

Редколесье. Мглисто. Сыровато.  
Н. Сидоренко.  
Сосны. Дождик. Туман. Осока.  
Н. Сидоренко.

Рассвет. Закат. Береза. Дождик.  
Туман. Полено. Дом. Стена.  
Лесник. Рыбак. Поэт. Художник.  
Природа. Вобла. Сыр. Луна.

<sup>46</sup> «Моск. журнал», ч. I, 1, стр. 100

<sup>47</sup> Я. Г р о т, Филологические разыскания, СПб., 1899, стр. 5.

<sup>48</sup> «Звезда», 1961, 1, стр. 173.

Герань. Букет. Картина. Палка.  
Трава. Поганка. Роща. Сад.  
Весна. Зима. Ворона. Галка.  
Перо. Чернила... Стихопад<sup>49</sup>.

Нет ничего опаснее и вреднее при исследовании общих вопросов речевой культуры, как смешивать общий литературный язык, его стилистические нормы и вариации и язык художественной литературы. Так, Ф. В. Гладков в статье «Культура речи», говоря о своем отрицательном отношении к некоторым колебаниям современного русского языка в области ударения, словообразования, синтаксиса, лексики, вдруг с чрезвычайным примитивизмом лингвистического обоснования переходит к сложным вопросам стилистики художественной литературы и решает их не только упрощенно, но и явно неправильно. Например, он пишет: «...словарный состав нашего языка стал очень богатым, и во многом он обновился. Выбор слов стал неисчерпаемым, надо только уметь выбирать верные слова, как это ни мучительно. А. М. Горький указывал на язык Лескова как на образцовый и советовал учиться у этого писателя, как надо писать, по он не указывал на многочисленные искажения русского языка в его произведениях. Лесков, на мой взгляд, чрезвычайно грешил против литературного языка. Его словесные выверты, кривлянья, нелепые выдумки были просто неприлично уродливы». Далее приводятся примеры вроде: «долбица умножения», «мимоноски строил», «одет а-ля морда», «замаялась в неопределенном наклонении», «блеярдный шар» и т. п.<sup>50</sup> Но все эти суждения — очень субъективного характера — не имеют никакого отношения ни к стилистике литературного языка, ни к вопросам культуры речи. Они свидетельствуют лишь о далекости индивидуально-художественного стиля Гладкова от стиля Лескова.

Не менее наивны с историко-стилистической точки зрения, хотя от этого не менее существенны для исследователя индивидуального стиля А. Н. Толстого, многократные уверения этого писателя о том, что основой современного русского литературного языка должна быть устная и письменная речь судебных (пыточных) актов XVII в. «Это язык — примитив, основа народной речи, в нем легко вскрываются его законы. Обогащая его современным словарем, получаешь удивительное, гибкое и тончайшее орудие д в о й н о г о действия (как у всякого языка, очищенного от мертвых и не свойственных ему форм), — он воплощает художественную мысль и, воплощая, возбуждает ее»<sup>51</sup>. А. Н. Толстой утверждал невероятное: «Все статьи, которые я писал в последнее время в „Правде“, писаны языком XVII в.»<sup>52</sup>.

Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутье родного языка, умение пользоваться его выразительными средствами, его стилистическим многообразием — самая лучшая опора, самое верное подспорье и самая надежная рекомендация для каждого человека в его общественной жизни и творческой деятельности.

<sup>49</sup> «Звезда», 1961, 1, стр. 221.

<sup>50</sup> Ф. Г л а д к о в, О литературе..., стр. 119—120.

<sup>51</sup> А. Т о л с т о й, О литературе, М., 1956, стр. 113—114, 167—168, 330.

<sup>52</sup> Там же, стр. 396.

Д. А. ОЛЬДЕРОГГЕ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ  
АФРИКИ

Изучение африканских языков, или африканистика, представляет собою одну из наиболее молодых отраслей языкознания. Она сложилась позднее многих востоковедных филологических дисциплин — индологии, синологии, семитологии, египтологии и др. Отличие африканистики от других классических дисциплин восточной филологии заключается в том, что исследователи африканских языков не имеют в своем распоряжении почти никаких рукописей или текстов ранее второй половины XIX в. В этом отношении африканистика разделяет судьбу американистики, которая также, за исключением памятников письменности майя и некоторых перуанских текстов, располагает только языковыми материалами XIX — XX вв.<sup>1</sup> Это обстоятельство определяет трудность выяснения генеалогического родства языков. С другой стороны, благодаря большому числу близкородственных языков имеется возможность выяснять фонетические соответствия, изменения и структурные соотношения между ними в масштабах, недоступных для индоевропейцев.

\*

Отдельные слова из различных африканских языков встречаются уже в древнеегипетских памятниках, у греческих и латинских авторов, в сообщениях средневековых арабских путешественников, но все эти упоминания случайны и дают очень мало материала для языковеда. Начиная с XV в. появляются небольшие словарики, молитвенники и катехизисы, составленные католическими миссионерами на языках населения Западной Африки. В течение XVIII в. сведений об африканских языках становится все больше, и языками этими начинают интересоваться. Известно, например, что Лейбниц занимался готтентотским языком и в его бумагах сохранились записи языка нама, присланные ему из Южной Африки. Здесь уместно отметить, что языки народов Африки были привлечены к сравнительному изучению языков народов мира впервые в словаре, изданном Академией наук в Петербурге в 1790—1791 годах<sup>2</sup>. Этот труд содержал словарь 32 народов Африки: коптского, шильх, «арабского на о-ве Мадагаскаре»<sup>3</sup>, готтентотского (вероятно, нама), пяти языков банту и 23 языков Судана.

В начале XIX в. языком тви занимался один из виднейших языковедов и создателей сравнительно-исторического метода — Р. К. Раск<sup>4</sup>. О языках Восточной Африки писал Г. Габеленц<sup>5</sup>, о языках Южной и Западной

<sup>1</sup> В сходных условиях находятся лингвисты, изучающие языки народов Океании и аборигенного населения Австралии.

<sup>2</sup> «Сравнительный словарь всех языков и наречий по азбучному порядку расположенный», под ред. Ф. Й. Янкевича де Мириево, I—IV, СПб., 1790—1791.

<sup>3</sup> В действительности эта часть лексики принадлежит мальгашскому языку.

<sup>4</sup> R. R a s k, Vejledning til Akra-Sprøget pø kysten Ginea, Kjöbenhavn, 1828.

<sup>5</sup> H. C. v o n d e r G a b e l e n t z, Ueber die Sprache der Suaheli, «Zeitschr. der Deutschen morgenländischen Gesellschaft», I, 1846.

Африки — А. Ф. Потт<sup>6</sup>, языками мандинго занимался Г. Штейнталь<sup>7</sup>, но ни работа Раска «Язык Аккры», ни даже работа Штейнтала «Языки негров манде» не оказали такого влияния на развитие африканистики, как исследование В. Блика. По-настоящему изучение африканских языков становится научной дисциплиной со второй половины XIX в., когда В. Блик опубликовал свое исследование «Закон Гримма в Южной Африке», где показал на примерах языков южной группы банту те же явления перебора согласных, которые незадолго до того были изучены в индоевропейских языках. Исследования Блика по сравнительной грамматике в банту явились основанием всех дальнейших работ в области изучения языков всей южной половины Африки<sup>8</sup>.

Уже было сказано, что изучение африканских языков имеет в некотором отношении общие черты с изучением языков индейцев Америки. Однако история развития этих дисциплин складывалась совершенно различно. Это различие определяется прежде всего тем, что языки индейских племен Канады и США в силу малочисленности аборигенного населения не имели почти никакого практического значения и представляли интерес преимущественно для этнографов, изучавших культуру народов доколумбовой Америки.

Совершенно иначе обстоит дело с исследованием африканских языков. Вся история их изучения теснейшим образом была связана с чисто практическими задачами. Начиная со второй половины XIX в., а еще точнее с эпохи империализма, когда происходил дележ Африки между тремя крупнейшими империалистическими державами — Англией, Францией и Германией, началось усиленное изучение африканских языков. Характерная особенность: задачи практического изучения опережают теоретическую разработку. Почти все описания африканских языков выполнены в нормах школьных грамматик европейских языков и отражают обычно грамматические нормы родного языка того или иного автора. Африканскими языками занимались преимущественно миссионеры. Теснейшая связь колониальной политики и изучения африканских языков особенно ясно видна на примере Германии, где уже в 1887 г. при Берлинском университете был основан семинар восточных языков и стали преподаваться африканские языки. В 1907 г. был создан Гамбургский колониальный институт, вскоре сделавшийся главным центром научно-исследовательской работы, откуда впоследствии вышли все важнейшие теоретические труды немецкой школы африканистов. Наиболее полные и обстоятельные словари и грамматики языков банту, как-то: сото, шамбала, дуала, яунде, ньям-вези, гереро и др., были опубликованы в изданиях этого института. В тесной связи с ним находились другие научные учреждения, как, например, Гамбургский научный центр (Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung) и специальная фонетическая лаборатория, где производились работы по изучению звукового состава африканских языков.

Что касается Англии, то там лишь в 1916 г., когда выявилась настоятельная необходимость изучения языков народов Азии и Африки, была создана Школа по изучению Востока, где из африканских языков преподавались только два языка банту — суахили и зулу. Лишь в 1947 г., т. е. после окончания второй мировой войны, африканские языки заняли в школе подобающее место, в связи с чем она получила новое название: Школа восточных и африканских языков; здесь стали изучать и языки английских колоний Западной Африки — Нигерии и Золотого Берега,

<sup>6</sup> A. P o t t, Verwandtschaftliches Verhältniss der Sprachen vom Kaffer- und Kongo-Stamme unter einander, «Zeitschr. der Deutschen morgenländischen Gesellschaft», II, 1—2, 1848.

<sup>7</sup> H. S t e i n t h a l, Die Mande-Neger-Sprachen psychologisch und phonetisch betrachtet, Berlin, 1867.

<sup>8</sup> W. H. I. B l e e k, Grimm's law in South Africa, «Transactions of the Philosophical society», London, 1873; е г о ж е, A comparative grammar of South African languages, London — Cape Town, 1869.

а также языки Англо-Египетского Судана. Деятельность этой школы в известной степени была связана также с изучением этнографии народов Африки, которое проводилось в чисто практических целях: изучение системы традиционного управления, правовых норм, обычаев и прежде всего языков должно было помочь колониальному администратору управлять народами колоний.

В 1928 г. в Лондоне был создан Международный институт по изучению африканских языков и культур, где начали издаваться сначала этнографические, а затем лингвистические работы. Задачи практического изучения языков обусловили преимущественное внимание английских африканистов к фонетике, изучение которой в Школе восточных и африканских языков возглавил известный английский фонетист Д. Джонс, создавший школу учеников<sup>9</sup>. Среди учеников Д. Джонса видное место занимает исследовательница фонетического строя языков Гвинейского побережья, главным образом Нигерии, — языков эфик, ибо (игбо), йоруба и др. — проф. А. Уорд<sup>10</sup>. Традиции фонетической школы Д. Джонса продолжают теперь ее сотрудники и ученики — Ф. Парсонс, Д. Карночен и многие другие, а также виднейший современный африканист А. Такер. В настоящее время Лондонская школа<sup>11</sup> сосредоточила свое внимание преимущественно на изучении языков Судана, в частности, на изучении звукового состава этих языков и присущих им музыкальных тонов.

Проводимая Англией в большинстве своих африканских колоний «политика непрямого управления» означала сохранение в административном управлении местных языков. Ввиду многочисленности языков в колониях административным путем проводились меры по осуществлению унификации диалектов и выбору наиболее распространенных языков для создания учебников начальных школ и прессы. В результате по всей Восточной Африке был введен язык суахили, для Нигерии были избраны пять языков: хауса, йоруба, эдо, игбо и эфик. Для Золотого Берега были приняты две литературные формы языка акан — фанти и тви и т. д.

«Политика прямого управления», которой придерживались французские власти и в соответствии с которой делопроизводство, официальные распоряжения и преподавание в начальных школах во всех французских колониях велись на французском языке, естественно, не могла не привести на долгое время к пренебрежению изучением африканских языков. Школа живых восточных языков в Париже уделяла мало внимания языкам Французской Западной Африки<sup>12</sup>.

Развитие национально-освободительного движения в Африке в период между двумя мировыми войнами и отчасти пример Англии, создавшей в Лондоне специальный африканский институт, обусловили создание в 1938 г. французского Института Черной Африки в Сенегале в г. Дакаре<sup>13</sup>. Институт сделал немало в области изучения языков Западного Судана. Так, за последнее десятилетие были изданы словари и грамматики важнейших языков этой части Африки [море, сонгаи, южных манде, герзе

<sup>9</sup> Д. Джонс принимал самое непосредственное участие в описании некоторых африканских языков. См., например, учебник языка бечуанов: D. Jones, S. T. P l a a t j e, *Sechuana reader*, London, 1916, и мн. др.

<sup>10</sup> См., например: I. C. W a r d, *An introduction to the Ibo language*, Cambridge, 1936; е е ж е, *The phonetic and tonal structure of Efic*, Cambridge, 1933 и др.

<sup>11</sup> Главной африканского отделения школы является проф. М. Гасри — бантуист, известный своими работами в области сравнительной грамматики языков банту и специально языка лингала.

<sup>12</sup> В 1898 г. в Школе живых восточных языков было начато преподавание языка мандинго. Затем в разное время с перерывами велись курсы по языкам волоф, бамбара, хауса, фульбе и булу, причем преподавание велось в тесной связи с изучением географии, истории и культуры народов Французской Западной Африки. См. об этом: J. T u b i a n a, *Les langues négro-africaines à l'École nationale des langues orientales vivantes*, «Revue de l'enseignement supérieur», 3, 1959, стр. 144—145.

<sup>13</sup> Institut français d'Afrique noire (сокращенно IFAN) издавал «Bulletin» и неперIODическую серию «Mémoires».

(кпелле), фульбе (точнее — фульфульде) и некот. др.]. Несмотря на то, что не все эти издания стоят на должной высоте в смысле точности описания звукового состава и грамматического строя языка и не все удовлетворяют строгим требованиям лингвистической науки, тем не менее следует отдать должное французским исследователям, которые собрали много новых материалов и до некоторой степени заполнили лакуны на языковой карте Африки. В настоящее время с получением независимости всеми колониями Французской Западной Африки и превращением их в самостоятельные республики французский Институт Черной Африки претерпел существенные изменения. В Гвинейской Республике на базе прежде существовавшего филиала этого института создан Национальный институт исследований и документации<sup>14</sup>. Центр института, находившийся в Дакаре, включен в состав Дакарского университета Республики Сенегал; изучение африканских языков ведется здесь на факультете литературы и общественных наук<sup>15</sup>.

Так же как и во Франции, в Бельгии центры по изучению африканских языков появились относительно недавно. Лишь с 1951 г. при Музее Бельгийского Конго (Тервюрен, близ Брюсселя) был организован лингвистический сектор, который за последние годы опубликовал довольно много ценных исследований. Другой центр находится при Институте колониальных наук, ныне Академии. В трудах этой Академии изданы словари многих языков Конго, и таким образом заполнены лакуны на языковой карте Африки<sup>16</sup>.

В дореволюционной России востоковеды не занимались африканскими языками, если не считать, конечно, языков древнего Востока — древнеегипетского, коптского и языка гесз — древнего языка Эфиопии. Изучение живых африканских языков началось только после Великой Октябрьской революции — сначала в ленинградском Восточном институте, а затем в Ленинградском гос. университете на кафедре семито-хамитского языкознания. Изучались языки: амхарский и хауса, которые преподавал Н. В. Юшманов, и языки банту — суахили и зулу. В настоящее время на кафедре африканистики восточного факультета при Ленинградском университете изучаются африканские языки, а именно: амхарский язык, язык хауса, три языка банту (суахили, зулу и ганда) и вводится в преподавание язык мандинго. Начато преподавание языков суахили, хауса и зулу в некоторых высших учебных заведениях г. Москвы.

Ввиду большого теоретического значения изучения африканских языков, в 1934 г. была создана группа африканских языков при секторе семито-хамитского языкознания в Институте языка и мышления Академии наук СССР, которая успела издать перед второй мировой войной один том «Трудов» группы африканских языков (1937 г.). Изучение африканских языков в системе Академии наук возобновилось, когда при секторе Африки Института этнографии АН СССР в Ленинграде в 1955 г. была организована лингвистическая группа, которая ставит своей задачей издание словарей и грамматик важнейших африканских языков и разработку теоретических вопросов. Учитывая большое значение изучения проблем современной Африки, в системе учреждений Академии наук в 1960 г. был создан

<sup>14</sup> Institut National de recherches et de documentation de la République de Guinée. Он издает свои труды в серии под названием «Recherches africaines».

<sup>15</sup> Первые издания факультета — работы Ж. Манесси, посвященные языку бвамму, одному из языков группы гур. В этих работах применены новейшие методы лингвистического анализа и учтены достижения современной лингвистики. В этом отношении исследования Манесси выгодно отличаются от других лингвистических исследований, опубликованных в изданиях французского Института Черной Африки.

<sup>16</sup> В Италии внимание было направлено главным образом на изучение языков Эфиопии и сопредельных стран. Некоторые итальянские ученые занимались пилотскими языками, как, например, П. Краццолара, К. Конти Россини, Э. Черулли и др. О работах португальских исследователей в области изучения языков Африки см.: A. D a l l' I g n a R o d r i g u e s, Portugiesische Literatur über afrikanische Sprachen, «Afrika und Übersee», XLII, 3, 1958, стр. 119—134.

в Москве Институт Африки. Перед советскими африканистами стоят большие задачи как в области теоретической разработки проблем африканской лингвистики, так и задача по составлению научных грамматик на основе углубленного изучения звукового состава, морфологии и синтаксиса главных африканских языков. Лингвистическая группа сектора Африки Института этнографии уже выпустила несколько томов Африканского этнографического сборника в «Трудах Института этнографии», издала суахили-русский словарь (М., 1961) и заканчивает работу по составлению словаря хауса-русского.

Изучение африканских языков в университетах Южно-Африканского Союза было начато после первой мировой войны южноафриканскими учениками К. Мейнхофа, проходившими обучение у него в Гамбурге. К их числу относятся Н. И. Ван-Вармело, В. Буркен, В. Эйзелен и др., которые начали преподавание языков зулу, коса, сото и других языков юго-восточной группы банту в университетах Кейптауна и Йоганнесбурга. Позднее здесь сложилось свое особое направление в бантуистике, которое в настоящее время противопоставляет себя лондонской школе бантуистов, руководимой М. Гасри. Южноафриканская школа лингвистов, главой и создателем которой является проф. К. М. Док, вопреки традиционному описанию языков банту по нормам индоевропейских грамматик выделяет классы слов по функциональному моменту. Все это направление можно назвать функциональным<sup>17</sup>. Английские бантуисты, группирующиеся вокруг М. Гасри в Лондоне, в отличие от их южноафриканских коллег в большей степени находятся под влиянием американского дескриптивизма, придавая преимущественное значение критерию формы.

Изучение африканских языков в университетах США началось в самое последнее время. После второй мировой войны при Северо-западном университете в г. Эванстоне близ Чикаго был организован научный центр под названием «Африкан програм» под руководством этнографа и социолога М. Херсковица, причем особое внимание изучению африканских языков здесь стало уделяться лишь в последнее время. В 1959 г. при Джорджтаунском университете около Вашингтона была создана Школа иностранной службы и при ней Институт языков и лингвистики. В 1960 г. при Мичиганском университете создан центр по изучению африканских языков и современной истории. Основное внимание здесь направлено на изучение языков Нигерии и Ганы (йоруба, бини, игбо, тви). В 1960—1961 гг. в Калифорнийском университете под руководством известного семитолога-эфиописта В. Леслау создается центр по изучению африканских языков, который, по-видимому, объединит крупнейших африканистов Америки. Наконец, при Колумбийском университете в Нью-Йорке изучение африканских языков ведется под руководством Дж. Гринберга, известного своими работами по классификации африканских языков.

\*

Итак, до первой мировой войны в африканистике господствовала немецкая лингвистическая школа, возглавлявшаяся К. Мейнхофом и его учениками. Трудami гамбургской школы была создана общая концепция истории развития африканских языков и их классификация. О взглядах указанной школы необходимо сказать несколько слов прежде всего потому, что взгляды эти не только определили собой направление многих тру-

<sup>17</sup> Работы этой школы, ограничивающейся областью изучения языков банту, представляют большой интерес. Правда, по-видимому, полностью преодолеть влияние индоевропейских норм Доку не удалось, что сказывается на его трактовке категорий глагола банту, которая в значительной степени отражает парадигму спряжения английского глагола. Ср., например, систему глагольных времен в изложении Дока (С. М. D o k e, Text book of Zulu grammar, Johannesburg, 1931) с классификацией Э. Вестфала (E. W e s t p h a l, The indicative mood and its classification in Southern Bantu, «African studies», IV, 4, Johannesburg, 1945, стр. 189—192), которая представляется мне более точной.

дов последующих лет, но и в силу своей внешней простоты казались бесспорными, прочно установленными в науке положениями. Более того, некоторые из концепций этой школы бытуют до нашего времени в некоторых кругах специалистов-лингвистов, так сказать, узкого профиля.

В соответствии с этой концепцией история развития народов Африки рисовалась в следующем виде. Первоначальное население Африки, по мнению К. Мейнхофа, составляли палеоафриканцы — предки современных бушменов, говорившие на языках со щелкающими звуками и относившиеся к особому расовому типу. Ко времени появления голландцев в Южной Африке в XVII в. культура бушменов была на уровне каменного века. Бушмены были оттеснены позднее в юго-западную часть материка, где они и живут в районе Калахари. Основную часть Африки, т. е. всю тропическую часть и весь Судан, населяли предки коренного населения Африки — нигриты, имевшие весьма примитивную культуру и говорившие на языках изолирующего типа, односложных, с наличием музыкальных тонов. С севера из Аравии через Северную Африку и Судан проникли народы хамитской расы, говорившие на флективных языках, занимавшиеся скотоводством и стоявшие в культурном отношении много выше нигритов. Часть хамитов прошла по степям Восточной Африки и смешалась с местным населением; в результате этого смешения образовались народы, говорящие на языках банту.

Таким образом, языковой тип банту, характеризующийся наличием грамматических классов имен существительных и строгой системой грамматических согласований, оказывался результатом воздействия хамитской языковой среды на нигритскую языковую среду. Но подобной системы именных классов нет ни в одном из языков, называемых Мейнхофом хамитскими: ни в берберских, ни в языках Эфиопии, и лишь в одном из языков Западного Судана — в языке народа фульбе — Мейнхоф нашел искомый прототип «прахамитского» языка. В языке фульбе существуют грамматические классы, а по своему расовому типу фульбе отличаются от окружающих их негроидных народов Судана, представляя собой к тому же единственный народ, занимающийся разведением крупного рогатого скота.

В концепции немецкой школы африканистов язык фульбе получил совершенно исключительное значение: он использовался в качестве аргумента, на котором держалась вся стройная теория Мейнхофа о развитии не только языков, но и всей культуры народов Африки. Получалась ясная трехчленная схема. Самыми примитивными представлялись языки нигритов Судана — языки изолирующего типа. В результате смешения нигритских языков с хамитскими образовались языки банту, т. е. языки агглютинирующего типа. По этой классификации флективные языки хамитов-завоевателей стоят на вершине этой трехчленной схемы. В основе каждого типа языков должен был существовать свой особый праязык, и немецкая лингвистическая школа задалась целью воссоздать эти три праязыка. Продолжая исследования Блика в традициях младограмматической школы, Мейнхоф изучал звуковой строй этих языков, выяснил основные черты сравнительной грамматики языков банту и реконструировал язык прабанту (Ur-Bantu)<sup>18</sup>. Д. Вестерман попытался реконструировать прасуданский (Ur-Sudan), т. е. первоначальный язык всех народов Судана<sup>19</sup>. Наконец, несколько позднее сам К. Мейнхоф дал очерк сравнительной грамматики хамитских языков на основе изучения языков, имевших грамматический род, а именно: берберского языка шильх, языка бедауйе и сомали — двух кушитских языков, а также языков хауса, масаи, готтентотского и, конечно, языка фульбе<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> C. Meinhof, Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen, Berlin, 1910, стр. 18—46 и 213—258.

<sup>19</sup> D. Westermann, Die Sudansprachen. Eine sprachvergleichende Studie, Hamburg, 1911.

<sup>20</sup> C. Meinhof, Die Sprachen der Hamiten, Hamburg, 1912.

Концепции К. Мейнхофа получили широчайший отклик далеко за пределами африканистики, будучи использованы особенно широко в английской колониальной литературе, а отдельные положения, как-то: существование особой хамитской семьи языков, отличной от семитской, разделяются многими лингвистами до сих пор. Другое, прочно укрепившееся положение — представление о единстве суданских языков — также повторяется довольно часто. Заслуги Мейнхофа в области бантуистики неоспоримы. Он доказал существование единой семьи языков банту, выяснил их звуковой состав, установил основные фонетические законы и дал общий очерк сравнительной грамматики этих языков. Тем не менее многие его реконструкции подверглись в настоящее время пересмотру. Так, выяснилось, что все языки банту имеют музыкальные тоны, чего не учитывал Мейнхоф, исходивший в своих исследованиях из материалов, полученных им при изучении языков Восточной Африки, где грамматические и семантические тоны либо совершенно отсутствуют (как, например, в суахили), либо не имеют большого значения. Пересмотру подверглась также вся восстановленная Мейнхофом система гласных языка прабанту, которая, по видимому, была гораздо богаче и различала, кроме того, долготу и краткость гласных <sup>21</sup>.

Все теоретические положения немецкой школы в отношении хамитских языков Судана, как это показали исследования последующих лет, были неверными. В дальнейшем в трудах ученых и, прежде всего, лучшего знатока этих языков Д. Вестермана было доказано, что языки Судана не могут быть сведены к одному типу <sup>22</sup>. Более того, представление об изолирующем характере этих языков оказалось ошибочным. Теперь уже никто не сомневается в том, что языки народов верховьев Нила составляют особую нилотскую семью языков, а глагольные и именные основы в этих языках не односложны и аморфны, но двусложны, обладают музыкальными тонами и имеют развитую систему формантов. В настоящее время выяснилось, что среди языков Судана особые семьи или группы языков составляют: языки манде; языки восточносахарской семьи (канури, теда), имеющие, между прочим, систему падежей, что выделяет их из числа всех африканских языков; среди языков Западного Судана выделяются некоторые их группы, имеющие, как и языки банту, грамматические классы. Интересно отметить, что к их числу принадлежит также и язык фульбе, который, как выяснилось, близок языкам волоф и серер, также имеющим систему грамматических классов <sup>23</sup>.

Представление о суданских языках как о языках изолирующего типа также оказалось неправильным. Теперь стало ясно, что представление о суданских языках как языках изолирующего типа сложилось на основании изучения одних только языков Гвинейского побережья — языков населения нынешних государств Ганы, Того и Нигерии. Действительно, языки эве, тви, йоруба, игбо и другие имеют все черты языков изолирующего типа, развитую систему семантических и грамматических тонов и во многом напоминают структуру языков Дальнего Востока (в частности, ки-

<sup>21</sup> О тонах в праязыке банту см.: J. H. Greenberg, *The tonal system of Proto-Bantu*, «Word», IV, 3, 1948, стр. 196—209. О тонах в современных языках банту см.: R. P. G. Hulstaert, *Les tons en Lonkundo (Congo Belge)*, «Anthropos», XXIX, 1—2, 3—4, 1934; A. de Roy, *Grammaire du lomongo, Leopoldville, 1958*; H. Rombauts, *Tonétique de Lokonda (Congo Belge)*, «Kongo-Overzee», XV, 1949, стр. 10—23; XX, 1954, стр. 376—390; L. Stappers, *Het toonsysteem van het Buina Milembwe (Zuid-Kisongye)*, «Kongo-Overzee», XVIII, 1952, стр. 199—242; A. Bursens, *Tonologische schets van het Tshiluba (Kasayi, Belgisch Kongo)*, Antwerpen, 1939; L. Armstrong, *The phonetic and tonal structure of Kikuyu*, London, 1940, и мн. др. О долгих гласных в праязыке банту см.: A. E. Meussen, *Klinkerlengte in het Oerbantoe*, «Kongo-Overzee», XX, 1954, стр. 423—431.

<sup>22</sup> D. Westermann, *Die westlichen Sudansprachen und ihre Beziehungen zum Bantu*, Berlin, 1927.

<sup>23</sup> См. Д. А. Ольдерогге, *Хамитская проблема в африканистике*, «Советская этнография», 1949, 3, стр. 159 и сл.

тайского). Однако замечу попутно, что более детальное изучение всех этих языков показывает, что и в них односложные основы не преобладают. Так, по подсчетам Вельмерса, в языке фанте они составляют 40% всего числа именных основ и 56% всех глагольных основ. Что же касается других групп языков Западного Судана, то в одном из языков манде — в языке кпелле — односложные основы составляют менее 11%, в языках группы сенуфо — сенеди и суппиде — соответственно 30% и 41%, а в среднем численность односложных основ в языках Западного Судана не превышает 30—40%<sup>24</sup>. Такие подсчеты дают, однако, далеко не полную картину действительного положения вещей, так как детальное изучение звукового состава каждого конкретного языка показывает, что нередко односложные основы (в частности, основы с падающими или возвышающимися тонами) в действительности являются результатом стяжения двусложных основ. Это можно проследить на примерах сравнения языков эве и тви: двусложные основы в языке тви соответствуют односложным в языке эве<sup>25</sup>. Двусложность основ сохранил язык гуанч, родственный языкам побережья, в которых соответствующие основы стали односложными.

Все построения хамитской теории рухнули после того, как выяснилось, что фульбе — типичный «негрский» язык и не имеет ничего общего с хамитскими языками. Безосновательной оказалась и концепция единства хамитской семьи языков. Уже в 40-х годах стала очевидной искусственность трехчленной системы классификации африканских языков и ошибочность стремления согласовать данные лингвистики с этнографическими или антропологическими классификациями и теориями, которые, в свою очередь, основывались на взглядах Мейнхофа. В настоящее время одной из наиболее важных проблем, которая обсуждается с большой страстью, стала проблема новой классификации африканских языков и принципы этой классификации.

Возможность построения генеалогической классификации африканских языков давно подвергалась сомнениям. Отсутствие исторических памятников делает невозможным построение исторической грамматики. Лишь для одного нубийского языка мы располагаем текстами X в. Некоторые поэмы на суахили, по своему стилю и сюжету восходящие к XII—XIV вв., сохранились лишь в поздних списках. Грамматики и катехизисы, составленные католическими миссионерами XVII в. для языков Конго, очень незначительны по своему объему, а словари этих языков до сих пор либо не изданы, либо изданы без соблюдения должной научной точности. Словом, в отношении почти всех африканских языков к югу от Сахары мы располагаем записями, в лучшем случае относящимися ко второй половине XIX в. Тогда же, когда речь идет о языках, имеющих форманты, как, например, об агглютинирующих, возможно, удастся с известной долей вероятности, применяя сравнительно-исторический метод, восстановить некоторые черты развития их грамматического строя. Гораздо сложнее обстоит дело с построением генеалогической классификации для языков койсанской группы и языков Судана, где при наличии музыкальных тонов и при незначительном числе грамматических формантов (иногда же они почти полностью отсутствуют) построение генеалогической классификации почти невозможно или, точнее, встречает почти непреодолимые в настоящее время трудности. Не удивительно поэтому огромное расхождение в подходе к этим вопросам между учеными разных направлений. Так, Дж. Гринберг<sup>26</sup>, основываясь, как он сам говорит, на здравом смысле и преимущественно на лексических сравнениях, объединил все языки Аф-

<sup>24</sup> W. E. W e l m e r s, Are West African languages monosyllabic?, «Journ. of the American oriental society», 69, 4, 1949.

<sup>25</sup> D. W e s t e r m a n n, Der Wortbau des Ewe, «Abhandl. der Preußischen Akad. der Wissenschaften», Philosoph.-hist. Kl., Jg. 1943, 9, Berlin, 1943.

<sup>26</sup> J. H. G r e e n b e r g, Studies in African linguistic classification, New Haven, 1955.

рики в 12 семей, в том числе: бушмено-готтентотскую (или, как он называет ее, щелкающую семью языков), афро-азиатскую (обычно называемую семито-хамитской), семью языков Нигер — Конго (в которую он включил все языки Западного Судана и языки банту), макро-суданскую (к которой причислил языки верховьев Нила, называемые обычно нилотскими) и центрально-сахарскую (к которой относятся языки капури-теда). Допуская в своей классификации очень смелые обобщения, Гринберг все же и при этом упрощенном подходе не смог включить в свою схему все языки Судана и наряду с пятью вышеперечисленными семьями он насчитывает в пределах того же Судана еще семь изолированных единиц.

Полную противоположность этому подходу представляет собой позиция, занятая составителями «Справочника африканских языков», изданного в Лондоне Международным африканским институтом<sup>27</sup>. В своей классификации они исходят из отдельного языка или группы диалектов, объединяя эти языки в группу языков только при наличии их очевидной материальной близости. Объединение нескольких групп языков в большее единство (или, как бы мы сказали, в семью языков) проводится ими только в тех случаях, когда это единство доказано. Результатом явилась предварительная классификация, где языки распределены по трем, я бы сказал, уровням: крупное объединение (семья, larger unit), состоящее из групп языков и отдельных языков, затем изолированная группа языков (isolated unity), состоящая из отдельных языков или групп диалектов, и, наконец, изолированный язык (isolated language) или группа диалектов. При такой системе классификации составители «Справочника» насчитывают в Африке 17 отдельных семей, 29 отдельных изолированных групп и 29 изолированных языков. При этом семья языков банту насчитывает 73 языковые группы и 10 стоящих особняком языков. Как для практических целей, так и в чисто научном отношении подобная классификация представляется более осторожной ввиду того, что значительная часть языков Судана изучена еще крайне недостаточно.

Говоря о проблеме классификации языков, следует отметить, что африканские языки дают нам два прямо противоположных примера возможности восстановления генеалогических связей. Первый пример — языки собственно Африки, т. е. языки Судана, Тропической и Южной Африки, где почти полностью отсутствуют письменные памятники прошлых веков и где исследователь должен восстанавливать прошлые языковые связи на основании методов, выработанных на примере индоевропейских языков.

В некоторых случаях эти методы могут быть применены, например в отношении языков банту, в других же они явно непригодны, и приходится искать новых путей.

Другой пример — языки северной половины Африки. Это языки, имеющие письменные памятники большей древности, чем индоевропейские. Изучение семито-хамитских языков показывает, как опасно делать заключения о генеалогическом родстве языков, не зная их истории. На XXIV Международном конгрессе востоковедов Э. Уллендорф, известный своими работами в области изучения языков Эфиопии, совершенно справедливо указал в своем докладе «Что такое семитский язык?», что отнесение амхарского языка к числу семитских языков основано только на исторических данных о его развитии. В своем нынешнем состоянии многие черты этого языка представляют разительную противоположность тому, что обычно

<sup>27</sup> В виде отдельных частей «Handbook of African languages» были изданы следующие книги: D. Westermann and M. A. Bryan, *The languages of West Africa*, London — New York — Toronto, 1952; A. N. Tucker and M. A. Bryan, *The non-Bantu languages of North-Eastern Africa*, London — New York — Cape Town, 1956; «The Bantu languages of Africa», compiled by M. A. Bryan, London — New York — Cape Town, 1959; см. также рецензию Дж. Гринберга на II том этого издания в «Language» (30, pt. 1, 1954, стр. 302—309).

считается типичными признаками семитских языков<sup>28</sup>. В звуковом отношении амхарский язык отличается особым (иным, чем в арабском языке) произношением всего ряда эмфатических согласных, наличием особого ряда лабиовелярных звуков, отсутствующих в семитских языках, большим развитием аффрикат и т. д.

Резче всего отличие амхарского языка от семитских сказывается в синтаксисе: порядок слов в этом языке прямо противоположен нормам семитского предложения, где глагол всегда стоит на первом месте. В амхарском языке глагол стоит в конце предложения, дополнение стоит перед глаголом, а подчиненное предложение — перед главным. Наиболее устойчивой оказалась морфология, но и она существенно изменилась, так же как и лексика. Словом, если бы мы не знали истории развития амхарского языка и предок его — язык геес — был бы неизвестен, не было бы никаких оснований причислять амхарский язык к числу семитских языков.

Сходный пример дает нам история развития древнеегипетского языка. На протяжении четырех с лишним тысяч лет он пережил существенные изменения в своей грамматической структуре. В языке древнего периода глагольные формы выражались изменением окончания — имеются в виду спряжения типов *šdm·f*, *šdm·in·f*, *šdm·k·f*. Позднее появляется тенденция к развитию аналитических форм; ср. *iw·f hr šdm*, *iw·f r šdm*, *hr ir·f šdm* и др. Вспомогательные глаголы, стоящие перед смысловым глаголом, в дальнейшем застывают, и спряжение глагола превращается в префиксное: впереди стоит префикс, за которым следует местоимение, а за ним глагол в неизменяемой форме инфинитива или квалитатива: *ereswōtī* (Präsens I); *esewōtī* (Futurum II); *waresewōtī* (Präsens Consuetudinis). Таким образом, в коптском языке — поздней стадии развития египетского языка — спряжение имеет характер, прямо противоположный структуре спряжения в древнеегипетском языке. Однако классифицируя африканские языки, скажем — языки Западного Судана, при отсутствии исторических памятников, исследователи распределяют их по различным группам в зависимости от позиции структурных элементов, выделяя языки с префиксами, суффиксами и конфиксами соответственно в разные группы.

В настоящее время идут поиски новых методов, новых приемов исследования. Появились опыты дескриптивного анализа языков<sup>29</sup>. Для изучения языков банту пытаются применить методику лингвистической географии<sup>30</sup>, метод глоттохронологии<sup>31</sup>, но этот последний метод еще не настолько отработан, чтобы можно было ожидать от него в ближайшем будущем каких-либо положительных результатов. Весьма серьезной проблемой является изучение связей, объединяющих языки различных языковых семей. Так, например, на всем протяжении Восточного Судана от Эфиопии до оз. Чад в языках самых разнообразных групп или семей встречаются форманты Т/К. Эти форманты используются в разных значениях, но их употребление наводит на мысль о том, что перед нами следы еще не известного языкового субстрата<sup>32</sup>. Предположение о связях между языками, пока условно называемыми языками Т/К, высказанное М. А. Брайан, можно подтвердить тем, что по всей языковой области распространения этих форман-

<sup>28</sup> См. об этом: E. Ullendorf, What is a Semitic language? (A problem of linguistic identification), «Orientalia». Nova ser., XXVII, 1, 1958.

<sup>29</sup> См. W. E. Welmers, A descriptive grammar of Fanti, Philadelphia, 1945. Тот же характер имеет описание языка хауса в работе: C. T. Hodge, An outline of Hausa grammar, Philadelphia, 1947.

<sup>30</sup> См. L.-B. de Voeseck, Premières applications de la géographie linguistique aux langues bantoues, Bruxelles, 1942.

<sup>31</sup> См. A. E. Meussen, Lexicostatistiek van het Bantoe: Bobangi en Zulu, «Kongo-Overzee», XXII, 1956, стр. 86—89.

<sup>32</sup> См. об этом: M. A. Bryan, The T/K languages. A new substratum, «Africa», XXIX, 1, 1959, стр. 1—21.

тов встречается особый порядок слов в предложении — такой же, как в амхарском языке.

Обычно принято считать, что амхарский синтаксис является результатом влияния кушитского субстрата. Предполагается, что кушитские языки видоизменили древний семитский язык геез в звуковом и синтаксическом отношениях. Если бы это было так, то пришлось бы считать, что всем кушитским языкам свойствен этот, так сказать, «перевернутый» тип синтаксиса. Однако многие кушитские языки (как, например, сомали) имеют тот же порядок слов в предложении, что и семитские языки и древнеегипетский. «Перевернутый» тип синтаксиса свойствен не только амхарскому языку, но и некоторым языкам кушитской группы. Отсюда с очевидностью следует, что эти нормы нельзя относить за счет кушитского субстрата, но надо признать, что как семитские, так и кушитские языки испытали на себе воздействие какого-то древнего слоя (назовем его «третьим элементом» в языках Южного Судана). Естественно, что разрешение проблемы языков Т/К и истории происхождения «перевернутого» синтаксиса требует специальных исследований.

Здесь невозможно перечислить все многочисленные задачи, которые стоят перед исследователями. Главнейшие из них следующие:

1. Проблема взаимоотношения языков банту и языков Западного Судана.

2. Выяснение положения языка сонгаи в классификации африканских языков.

3. Изучение языков центральной части Нигерии и языков Южного Кордофана и их классификация.

4. Проблемы взаимоотношения бушменских и готтентотских языков. Есть серьезные основания сомневаться в правомерности объединения их в единую семью койсанских языков.

Таковы основные проблемы в области классификации языков Африки. Однако перед африканистами стоят не менее важные задачи глубже исследовать звуковой состав и грамматический строй уже известных языков. Большая работа предстоит в области сравнительной грамматики языков банту, в частности, выяснение системы грамматических тонов.

Весьма существенным представляется исследование языка хауса и близко родственных ему языков Центрального Судана. Изучение их весьма существенно для определения их положения в среде семито-хамитских языков и их взаимоотношений с языками Центрального Судана.

Наконец, на очереди стоит изучение языков группы манде, выяснение их состава, классификации и серьезное исследование их звукового состава и грамматического строя, так как языки манде несмотря на все их значение до сих пор еще весьма недостаточно изучены.

\*

Одной из первоочередных задач культурного строительства новых республик, созданных за последние годы в Африке, является решение языковой проблемы. В настоящее время дискутируется вопрос: должны ли все вновь созданные государства сохранять (по примеру Индии) в качестве своих официальных языков европейские, т. е. языки своих бывших метрополий — английский, французский, португальский, или вводить в систему управления свои родные африканские языки.

В конце марта 1959 г. состоялся 2-й Конгресс африканских писателей и мастеров искусств, на котором была принята специальная резолюция по языковому вопросу<sup>33</sup>. Резолюция отмечает, что независимая и объединенная Черная Африка не признает никаких чужеземных европейских языков в качестве национального языка. Резолюция рекомендует избрать

<sup>33</sup> См. «Résolution de linguistique [du Deuxième Congrès des écrivains et artistes noirs]», «Présence Africaine». Nouvelle série bimestrielle, 24—25, Paris, 1959, стр. 397—398.

какой-либо один африканский язык для всей Африки, обязав всех африканцев выучить этот язык в добавление к своему родному языку. В качестве рекомендуемых в резолюции упомянуты языки суахили, хауса, йоруба, мандинго, фульбе и волоф. Предложение это довольно утопично и вряд ли приемлемо. За кажущейся многоязычностью в действительности во многих странах огромное большинство населения говорит на двух, трех, четырех местных африканских языках. Распространение того или иного языка обусловлено историческими причинами — области распространения его либо входили некогда в одно государство (это можно сказать о территории от низовьев р. Конго вплоть до оз. Леопольда и северной части Португальской Анголы, где население говорит на языке конго; теми же причинами объясняется распространение языка луба в двух его главных группах диалектов — килуба и чилуба, а также распространение языка мандинго в его трех группах диалектов — малинке, бамбара и диула), либо распространение того или иного языка связано с оживленной межплеменной торговлей, существовавшей задолго до установления колониального режима (это относится к языкам хауса, суахили и лингала).

В настоящее время главнейшими языками Африки, которые имеют первостепенное значение для дальнейшего развития культуры новых африканских государств, являются следующие. Суахили, на котором говорит более 40 млн. чел. населения всей восточной половины Тропической Африки, в том числе восточной части Конго<sup>34</sup>. На нем издаются учебники, газеты, журналы и т. п., он считается официальным языком английских колоний в Восточной Африке. Хауса — наиболее распространенный язык среди языков Нигерии. На нем говорит до 20 млн. чел. Имеется также литература и издается пресса. Языки киконго, лингала и килуба наряду с кингвана (диалект языка суахили) — четыре основных языка населения Конго. На подопечной Бельгии территории Руанда-Урунди два языка — киньяруанда и кирунди, на которых говорит более 4,5 млн. чел.; они настолько близки между собой, что их соотношение примерно таково же, как между южными и северными диалектами голландского языка<sup>35</sup>. Языки йоруба, эдо, игбо, эфик наряду с хауса — пять наиболее распространенных языков Нигерии, на которых ведется преподавание и издается пресса. Язык акан — основной язык южной части республики Гана. В настоящее время существует две письменные формы этого языка — тви и фанте; хотя они взаимопонимаемы, введенная для них письменность, передающая с точностью тоны и гласные, их разделяет. В данной связи стоит отметить, что излишне точная передача в письме звукового состава на практике может повести к дроблению. Основные языки Гвинейской республики — малинке, сусу и фульбе; в республике Мали — малинке и бамбара — два диалекта языка мандинго и т. д.

Нет необходимости перечислять все страны Африки и все новые государства. Всюду мы видим одну и ту же картину: несколько языков являются основными. В этом направлении, надо думать, и будет проводиться языковая политика новых государств. Начальное и среднее образование, по всей вероятности, будет осуществляться на нескольких главных, наиболее распространенных, местных языках. Представляется, что языки суахили и хауса — если не теперь, то в ближайшем будущем — могут быть использованы в колледжах и университетах и в качестве языков высшей школы.

<sup>34</sup> По некоторым данным, язык суахили стоит на седьмом месте среди языков всего мира по числу говорящих на нем — 44 млн. (см. R. Reusch, History of Africa, Stuttgart, 1954, стр. 219).

<sup>35</sup> См. об этом: O. Liezenborghs, Beschouwingen over Wezen, Nut en Toekomst der zoogenaande «Linguae francae» van Belgisch Kongo, «Kongo-Overzee», VII—VIII, 1941—1942, стр. 88.

Колониальный режим нанес огромный ущерб культурному развитию народов Африки. Это особенно ясно видно на примере португальских и бывших французских колоний, где были запрещены местные языки. Официальными языками колоний считались языки метрополий. Поэтому до сих пор на языках столь распространенных, как мандинго, на котором говорит от 3 до 5 млн. чел., совершенно не существует литературы. Нет никакой литературы и на языке море, языке 2-миллионного населения. То же можно сказать о языке умбунду (на этом языке говорит 1 млн. 700 тыс.), языке фульб (на этом языке говорит 5 млн.) и т. д. Для всех главнейших языков в английских колониях, на которых уже издавались учебники для начальной школы и практическая литература по сельскому хозяйству, остается создать только свою национальную печать. В странах, освободившихся от французской зависимости, надо всю работу начинать сначала: вырабатывать письменность, составлять учебники, печатать газеты на своих национальных языках.

Перед народами Африки стоит, таким образом, грандиозная задача — ликвидировать тяжелое наследие, оставленное африканским народам колониальным режимом: создавать и развивать свою национальную печать, литературу и литературные языки.

---

В. К. ЖУРАВЛЕВ

## ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВОГО СИНГАРМОНИЗМА В ПРАСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Трудами нескольких поколений отечественных и зарубежных языковедов накоплен огромный фактический материал по фонетике праславянского языка. Систематизация этого материала, его фонологическая интерпретация, начатая в работах Р. О. Якобсона, Н. С. Трубецкого и Н. Ван-Вейка<sup>1</sup>, должна привести к построению истории фонологической системы праславянского языка. Серьезные попытки такого рода уже имеются<sup>2</sup>.

В настоящей статье прослеживается развитие праславянской фонологической системы на одном из важнейших ее этапов<sup>3</sup>. В плане относительной хронологии прослеживается развитие от «совпадения» *ǫ* и *ǫ̆*<sup>4</sup> до монофтонгизации дифтонгов; в плане дистрибутивном мы ограничиваемся рассмотрением лишь сочетаний «согласный + гласный» (сокращенно: *C + V*).

После работ Н. Ван-Вейка все многочисленные и разнообразные процессы праславянской фонетики были сведены к ограниченному числу основных закономерностей — к так называемому закону открытых слогов, или тенденции к восходящей звучности, к трем палатализациям заднеязычных и др. Р. О. Якобсон подчеркнул значение для праславянской фонологической системы явления так называемого слогового сингармонизма — тенденции последовательного сближения тембра смежных звуков внутри слога (группы). Тенденция к сингармонизму палатальной или дизной согласной и последующих гласных типа *i*, *e* или сингармонизм непалатальной (недизной) согласной и последующих гласных типа *y*, *a*,

<sup>1</sup> См.: R. Jakobson, Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves, TCLP, 2, 1929 (работа эта является первым опытом в области диахронической фонологии); N. Trubetzkoy, Essai sur la chronologie de certains faits phonétiques du slave commun, RESL, II, 1—2, 1922; его же, Zur Entwicklung der Gutturale in den slavischen Sprachen, «Сборник в честь на проф. Л. Милетич...», София, 1933. Из работ Ван-Вейка особый интерес представляет статья «К истории фонологической системы в общеславянском языке позднего периода», «Slavia», XIX, 3—4, 1950.

<sup>2</sup> Ср.: A. Martinet, Langues à syllabes ouvertes: le cas du slave commun, ZfPh, VI, 3/4, 1952 и, с незначительными изменениями, небольшой раздел в книге того же автора «Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique», Berne, 1955, стр. 349—369 [к сожалению, в русском переводе (М., 1960) этот раздел опущен]; F. Mareš, Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty, «Slavia», XXV, 4, 1956 и др. Из самых последних работ можно назвать также: И. Лекков, Насоки в развоја на фонологичните системи на славянските езици, София, 1960.

<sup>3</sup> Пользуясь случаем, выражаю самую глубокую признательность П. С. Кузнецову, В. В. Мартынову, Р. Г. Пиотровскому, Н. И. Толстому, В. Н. Топорову и С. К. Шаумяну, прочитавшим рукопись этой работы, за ценные указания и помощь при подготовке статьи к печати.

<sup>4</sup> Н. Трубецкой («Essai sur la chronologie...») и Н. Ван-Вейк (указ. соч., стр. 293—296) считают этот вопрос важнейшим, центральным. С этого же этапа начинают свои исследования Ф. Мареш (указ. соч., стр. 443) и А. Мартинет («Langues à syllabes ouvertes...», стр. 145—148). Рассмотрение только группы *C + V* связано с ограничением относительной хронологии и с задачами указанных исследований.

по свидетельству Р. О. Якобсона, известны за пределами славянских языков и характеризуют большинство языков, образующих так называемый евразийский фонологический союз<sup>5</sup>.

Мысль о слоговом сингармонизме представляется чрезвычайно продуктивной.

Настоящая работа посвящена вопросу о групповом сингармонизме как первом этапе в формировании слогового сингармонизма в праславянской фонологической системе.

На синхронном срезе в период, непосредственно предшествующий «совпадению»  $\check{d}$  и  $\check{a}$ , фонологическую систему праславянского языка можно представить в таком виде<sup>6</sup>:

Гласные (V)	Согласные (C)
$\check{i}$ $\check{y}$	$m$ $n$ $p$ $t$ $k$
$\check{e}$ $\check{o}$	$r$ $b$ $d$ $g$
$\check{a}$	$l$ $s$ ( $ch$ )
	$\zeta$ $\xi$ $\varepsilon$

Отвлекаясь от детального разбора дифференциальных признаков (ДП) всей системы, обратим внимание на тот факт, что в системе вокализма фонемы  $\check{i}$ ,  $\check{e}$  противопоставлены фонемам  $\check{o}$ ,  $\check{y}$  по ДП «диезная тональность<sup>7</sup> ( $\check{e}$ ,  $\check{i}$ )» — «простая тональность ( $\check{o}$ ,  $\check{y}$ )» и «бемольная тональность ( $\check{o}$ ,  $\check{y}$ )» — «простая тональность ( $\check{e}$ ,  $\check{i}$ )», т. е. пары ДП «бемольность» и «диезность» в данном случае являются взаимозэквивалентными<sup>8</sup> и в какой-то мере дублирующими.

При определенных условиях теоретически один из ДП может стать избыточным, дефонологизироваться, так как для системы вокализма необходимо и достаточно противопоставление пар  $\check{o}$ ,  $\check{y}$  ~  $\check{e}$ ,  $\check{i}$  лишь по одному ДП.

Реализация этой возможности связана с процессом последовательной делабиализации  $\check{o}$ ,  $\bar{o}$ ,  $\check{y}$ ,  $\bar{y}$  (т. е. имеет место «переход»  $\check{o} > \check{a}$ ,  $\bar{o} > \bar{a}$ ,  $\check{y} > \check{u}$ ,  $\bar{y} > \bar{u}$ ). А. Мартине процесс делабиализации гласных связывает

<sup>5</sup> Четкое изложение этих основных тенденций см. в кн.: Н. Ван-Вейк, История старославянского языка, М., 1957, стр. 64—104. Относительно слогового сингармонизма в праславянском см.: R. Jakobson, указ. соч., стр. 8, 20—23; его же, К характеристике евразийского языкового союза, [Париж], 1931, стр. 26. Ср. также: N. van Wijk, Zum urslavischen sogenannten Synharmonismus der Silben, «Linguistica slovacica», 3, Bratislava, 1941, стр. 41—48; H. G. Lunt, On the origins of phonemic palatalization in Slavic, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956, стр. 309—311.

<sup>6</sup> Чтобы не усложнять изложение, целесообразно оставить систему, предложенную Ф. Марешем (указ. соч., стр. 443—444), без значительных изменений. Для удобства последующего изложения консонанты и сонанты объединены в общую группу. Возможные сомнения относительно статуса сонант (особенно  $\zeta$  и  $\xi$ ) для данного изложения не имеют особого значения, а в необходимых случаях будут оговорены в соответствующем месте.

Вполне аналогичную систему для данного этапа предлагал и Н. Ван-Вейк (указ. соч., стр. 293).

<sup>7</sup> ДП см.: R. Jakobson, M. Halle, Fundamentals of language, s'Gravenhage, 1956, стр. 20—36; см. также: R. Jakobson, C. G. M. Fant, M. Halle, Preliminary report to speech analysis («Technical report [of the Acoustics laboratory of the Mass. inst. of technology]», 13, May, 1952), 2-nd print. [Cambridge, Mass.], 1955, стр. 30—37. О терминах, связанных с излагаемыми процессами, см. замечание Г. Ланта в сб. «For Roman Jakobson», стр. 306. Для изложения необходим термин, общий для ДП согласных и гласных. Из имеющихся терминов отдано предпочтение терминам «бемольность» и «диезность», так как они уже вошли в научный обиход, в частности в работах акад. Е. Петровича (см. его доклад на IV Международном съезде славистов «Явления сингармонизма в исторической фонетике румынского языка — следствие славяно-румынской языковой интерференции», «Romanoslavica», II, București, 1958, стр. 5 и сл.; см. также Р. Г. Пиотровский, Еще раз о дифференциальных признаках фонемы, ВЯ, 1960, 6).

<sup>8</sup> См. Р. Г. Пиотровский, указ. соч., стр. 25 (там же см. литературу).

с процессом лабиализации согласных<sup>9</sup>, стоящих перед лабиализованными гласными. Этот процесс шел параллельно известному процессу смягчения согласных в позиции перед гласными переднего ряда. Такая мысль представляется чрезвычайно продуктивной.

Фонологически указанные процессы можно интерпретировать как процессы последовательной передачи ДП «дизности — бемольности» гласными с предшествующим согласным<sup>10</sup>:

$$\begin{array}{l} \text{I этап: } C + V^{\circ}, \text{ например } t + \bar{u} \\ \quad \quad C + V', \text{ например } t + \bar{e} \\ \text{II этап: } C^{\circ} + V, \text{ например } t^{\circ} + y \text{ (} y = \bar{y} \text{)} \\ \quad \quad C' + V, \text{ например } t' + \bar{x} \text{ (} \bar{x} = \bar{e} \text{)} \end{array}$$

Процесс делабиализации праславянских гласных, в частности процесс делабиализации  $\bar{o}$ , связан с процессом совпадения  $\bar{o}$  с  $\bar{a}$  как две стороны общего процесса. Естественно, что делабиализованные  $\bar{o}$  ( $> \bar{\Lambda}$ ?) рано или поздно могут совпасть с  $\bar{a}$ . Вопрос о хронологии этих явлений — делабиализации  $\bar{o}$  и совпадения его с  $\bar{a}$  — представляется одним из наиболее сложных и спорных вопросов праславянской фонологии и фонетики<sup>11</sup>. Не случайно Н. Ван-Вейк и Н. С. Трубецкой<sup>12</sup> начинали свои очерки по истории праславянской фонологической системы именно с этого вопроса: Н. Ван-Вейк выдвинул тезис о том, что процесс совпадения  $a$  и  $o$  «подготовил почву для дальнейших перегруппировок в системе гласных»<sup>13</sup>.

Как бы то ни было, но если считать, что процесс делабиализации  $\bar{o}$  предшествовал совпадению  $\bar{o}$  и  $\bar{a}$ , то сам процесс делабиализации останется неясным, хотя по крайней мере для долгих  $\bar{o}$  и  $\bar{u}$  он так или иначе признается бесспорным. Если же считать, что процесс совпадения  $\bar{o}$  и  $\bar{a}$  предшествовал процессу делабиализации, как это в общих чертах и понимается большинством языковедов, то при учете совпадения  $\bar{o}$  и  $\bar{a}$  в  $\bar{a}$  процесс делабиализации становится более ясным.

Таким образом, началом процесса делабиализации гласных можно считать процесс нейтрализации  $\bar{a}$  и  $\bar{o}$  в каких-то определенных позициях. Из всех возможных типов нейтрализации<sup>14</sup> наиболее вероятным, наиболее возможным для праславянской фонологической системы иссле-

<sup>9</sup> A. Martinet, *Langues à syllabes ouvertes...*, стр. 145—163; о параллельности процессов см. стр. 153. К выводу о последовательной делабиализации праславянских гласных пришел и Ф. Мареш (указ. соч., стр. 445—450). О сравнительно ранней (до монофтонгизации дифтонгов) делабиализации долгих  $\bar{o}$  и  $\bar{u}$  писали Н. С. Трубецкой («*Essai sur la chronologie...*», стр. 223) и Р. Якобсон (указ. соч., стр. 27). Все они (кроме А. Мартине) процесс делабиализации гласных не связывали с процессом лабиализации предшествующих согласных. Лабиовеляризацию согласных перед гласными заднего ряда до перехода  $\bar{i}$  в  $y$  и  $\bar{r}$  предполагал, основываясь на совершенно иных посылках, и А. А. Шахматов (см. его «Очерк древнейшего периода истории русского языка», Пг., 1915, стр. 60—62). Доказательства А. А. Шахматова при современной фонологической интерпретации можно принять.

<sup>10</sup> Аналогичный процесс имел место в истории румынского языка. Ср. Е. Петровиц, указ. соч., стр. 5—8, 19—21. Как и Е. Петровиц, бемольность в настоящей статье мы обозначаем знаком  $C^{\circ}$  (градус), дизность —  $C'$  (минута).

<sup>11</sup> Ср. споры о результатах совпадения  $o$  и  $\bar{a}$  в  $o$  или  $\bar{a}$ , не прекращающиеся с начала зарождения науки о праславянском языке до наших дней. Краткий обзор литературы см. у Ф. Мареша (указ. соч., стр. 445—448). Ср. также: Я. С. Отрембский, Славяно-балтийское языковое единство, ВЯ, 1954, 5, стр. 28; С. Б. Бернштейн, Балто-славянская языковая общность, «Славянская филология. Сб. статей», I, М., 1958, стр. 51—52.

<sup>12</sup> N. van Wijk, указ. соч., стр. 297; N. Troubetzko, *Essai sur la chronologie...*, стр. 220—223.

<sup>13</sup> N. van Wijk, указ. соч., стр. 299. Хотя доказательства этого тезиса не приводятся, Ван-Вейк высказывает сомнение относительно связи данного процесса с последующими.

<sup>14</sup> См. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 256—372.

дуемого синхронного среза представляется тип диссимилативной нейтрализации, когда фонологическая оппозиция нейтрализуется рядом с маркированным членом родственной оппозиции<sup>15</sup>. Родственными оппозициями для  $\ddot{o} : \ddot{a}$  были оппозиции  $p : t$ ,  $b : d$ ,  $m : n$ ,  $\psi : \dot{i}$ , где фонемы  $p$ ,  $b$ ,  $m$ ,  $\psi$  были маркированными членами; тогда в позиции после губных согласных  $\ddot{o}$  и  $\ddot{a}$  могли нейтрализоваться, т. е. группы  $p\ddot{o}$ ,  $b\ddot{o} : b\ddot{a}$ ,  $m\ddot{o} : m\ddot{a}$ ,  $\psi\ddot{o} : \psi\ddot{a}$ ,  $r\ddot{o} : r\ddot{a} \dots \psi\ddot{o} : \psi\ddot{a}$  могли совпадать и не различаться, а результатом совпадения, ввиду диссимилативной нейтрализации, должно быть  $\ddot{a}$ , так как признак лабиализации является релевантным для предшествующего согласного. Таков возможный первый этап нейтрализации  $\ddot{a}$  и  $\ddot{o}$ <sup>16</sup>, когда в частной системе (после губных согласных)  $\ddot{a}$  и  $\ddot{o}$  совпали, продолжая различаться в других положениях.

Описываемое состояние фонологической системы типологически напоминает фонологическую систему диалекта d'Hauteville, на который ссылается А. Мартине<sup>17</sup> при анализе истории развития праславянской фонологической системы. Здесь именно после губных и после дорсальных (реже) наблюдаются  $m^w\ddot{a}$ ,  $k^w\ddot{a}$ , но после апикальных —  $to$ . К этой же системе типологически близка частная система ударенного вокализма нижнелужицкого языка, где после губных и задненёбных представлено  $\psi o$  (графически  $\delta$ ), а после других согласных и в безударном положении —  $o$ , например:  $w\delta la$ ,  $b\delta sy$ ,  $k\delta za$ ,  $m\delta rjo$ ,  $r\delta lo$ .

Следующим этапом совпадения  $\ddot{o}$  и  $\ddot{a}$ <sup>18</sup>, естественно, должна быть их нейтрализация и в других положениях. Если на первом этапе  $\ddot{o}$  и  $\ddot{a}$  совпали в сочетаниях после губных (и задненёбных), а после альвеолярных они еще различались, то их полное неразличение могло быть в том случае, если  $\ddot{o}$  передавал свой признак бемольности предшествующему альвеолярному:  $t + \ddot{o} \rightarrow t^i + \ddot{a}$  (где  $t$  — любой альвеолярный).

Эта система является более последовательной и строгой. Если до этого процесса в сочетаниях « $\ddot{o}$  с губными (и задненёбными)» ДП бемольности нёс согласный, то в сочетаниях с альвеолярными — гласный ( $\ddot{o}$ ). В частных системах [система I (после губных и задненёбных) и система II — после альвеолярных] были представлены различные системы вокализма: для I — квадратная без  $\ddot{a}$ , для II — треугольная с  $\ddot{a}$ . А именно:

Система I	Система II
$\begin{matrix} \ddot{i} & \ddot{a} \\ \ddot{e} & \ddot{a} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \ddot{i} & \ddot{u} \\ \ddot{e} & \ddot{o} \\ & \ddot{a} \end{matrix}$

<sup>15</sup> Там же, стр. 259.

<sup>16</sup> Не сопровождался ли процесс совпадения рядов  $k$  и  $k^u$  в так называемых языках типа *satəm* процессом нейтрализации  $\ddot{o}$  и  $\ddot{a}$ ? Случайно ли, что те или иные следы совпадения  $\ddot{o}$  и  $\ddot{a}$  мы чаще находим там, где есть следы совпадения рядов  $k$  и  $k^u$ , а не  $k$  и  $k'$ ? Это было бы ранним этапом данного процесса, и мы имели бы группы  $k^u\ddot{a}$ ,  $g^u\ddot{a}$  на месте групп ряда  $k^u\ddot{o}$  и  $k^u\ddot{a}$ . О спорах относительно рядов гуттуральных (заднеязычных) см. Вяч. В. Иванов, Проблема языков *centum* и *satəm*, ВЯ, 1958, 4, стр. 12—23 (там же литература). Ср. его же, О значении хетского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков, ВСЯ, 2, М., 1957, стр. 8—9; ср. также: С. Д. Кацнельсон, К фонологической интерпретации протоиндоевропейской звуковой системы, ВЯ, 1958, 3, стр. 57. В дальнейшем изложении эта гипотеза принимается. Хотя, возможно, лабиализация задненёбных была и позднее, они могли получить ДП бемольности и в тот период, когда его получали альвеолярные.

<sup>17</sup> A. Martinet, *Langues à syllabes ouvertes...*, стр. 145—147.

<sup>18</sup> О совпадении  $\ddot{a}$  и  $\ddot{o}$  см. еще: Е. Курлович, О балто-славянском языковом единстве, ВСЯ, 3, 1958, стр. 18—19; A. Vaillant, *Grammaire comparée des langues slaves*, I, Lyon—Paris, 1950, стр. 106—108. О передаче ДП бемольности см. еще: A. Martinet, *Economie...*, стр. 359, примеч. 39.

С передачей ДП бемольности альвеолярному генерализуется система I'. На этом этапе ДП «бемольная тональность — простая тональность» еще различал прежние сочетания  $t\check{a} : t\check{o}$ , которые теперь трактуются как  $t\check{a} : t^{\circ}\check{a}$  (где  $t$  — любой альвеолярный), с той разницей, что если на первом этапе носителем бемольности сочетания был гласный, то на втором — согласный.

Материал, свидетельствующий о делабиализации  $\bar{o}$  на определенном этапе развития праславянской фонологической системы, могут дать ранние иноязычные заимствования и ранняя передача славянских слов другими языками<sup>19</sup>. Ср.: фин. *palttina* < \**pälttīnā* (\**polttino* «полотно»), иран. *tapara* > \**tāpārā* (\**toporъ* — после соответствующего позднего перехода  $\check{a} \rightarrow o$ ), герм. *pfaſſō* > \**pǃpъ* ( $\rightarrow$  позже *porъ*).

Рассматривая систему вокализма данного синхронного среза, можно отметить некоторую ее непоследовательность: если  $\bar{e} : \check{a}$  противопоставляются по признаку «простая тональность — дизезная тональность», то  $\bar{i}$  и  $\check{y}$ , кроме такого противопоставления, имеют еще ДП «бемольной тональности — простой тональности». С другой стороны, если в сочетаниях  $C + \check{a}$  ДП бемольности несет согласный, то в сочетаниях с  $\check{y}$  — гласный. Кроме того, в сочетаниях с губными (и велярными) ДП бемольности был избыточным признаком, как некогда в сочетаниях с  $\bar{o}$ .

Естественно, что в данных условиях наиболее вероятным будет дефонологизация ДП бемольности как избыточного в частной системе (после губных и задненёбных) и в общей (по сравнению с оппозицией  $\bar{a} : \bar{e}$ ). Иными словами, и гласный верхнего подъема  $\check{y}$  делабиализовался. И здесь делабиализация сопровождалась передачей ДП бемольности предшествующему согласному:  $t\check{a} \rightarrow t^{\circ}\check{y}$  (где  $t$  — любой альвеолярный). Материал, свидетельствующий о делабиализации  $\check{y}$ , известен; ср. др.-в.-н. *tān*  $\rightarrow$  *tyrъ*, *mūta*  $\rightarrow$  *myto*, а также общеславянскую тенденцию совпадения  $\bar{i}$  и  $\check{y}$  и др. Вполне вероятно, что обозначение звука  $\check{y}$  в латинской графике Фрейзингенских листов<sup>20</sup> через *ui*, *i*, *u* отражает именно  $\check{y}$  с предшествующей лабиализацией согласного [ср. *muisclavus* = ( $m^{\circ}\check{y}$ ) *slāvъ* — *Myslavъ*; ср. также передачу славянских заимствований в балтийских языках: прус. *suiristio* < *syrišče*, литов. *kuila* < слав. *kyla* и слав. заимствование *Давыдъ* из лат. *Dāuid*].

О делабиализации  $\check{y}$  могли бы свидетельствовать следующие общеизвестные факты: результаты удлинения  $\bar{y}$  (ср. ст.слав. *посъль* — *посылати*), «мена еров» и совпадение  $\bar{y}$  и  $\bar{z}$  в одном звуке (ср. серб. *дан* и *сан*) в части славянских языков и др.<sup>21</sup>.

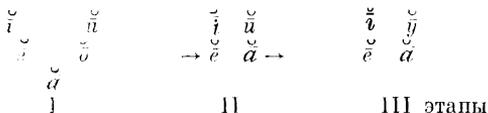
Система вокализма, таким образом, претерпела значительные изменения. ДП «бемольная тональность — простая тональность» в новой системе отсутствовал. Теперь вместо дублирующего противопоставления («бемольность и дизезность») гласные стали противопоставляться по ДП «дизезная тональность — простая тональность». После процесса последовательной нейтрализации  $\check{a}$  и  $\check{o}$  количество гласных фонем сократилось.

<sup>19</sup> Данному вопросу посвящена огромная литература, хотя интерпретация этих фактов различна. Ср., например: P. K r e t s c h m e r, Die slavische Vertretung von indogerm. o, AfsIph, XXVII, 1950, стр. 228—240; N. T r o u b e t z k o y, Essai sur la chronologie..., стр. 219—221. Богатый топонимический материал собран у М. Фасмера (M. V a s m e r, Die Slaven in Griechenland, Berlin, 1941).

<sup>20</sup> Ср. еще J. S t a n i s l a v, Zo študia slovanských osobných mien v Evanjeliu Cividalskom, «Slavia», XXVIII, 1—2, 1947, стр. 87—100. Ср. A. V a i l l a n t, указ. соч., стр. 118—120. Ср. также Г. А. И л ь и н с к и й, Праславянская грамматика, Нежин, 1916, стр. 60.

<sup>21</sup> Относительно делабиализации  $\check{y}$  мнения языковедов разделяются. Так, например, М. Вейнгарт (M. W e i n g a r t, Praslovanský vokalismus, Praha, 1923, стр. 24—25) считал праславянский  $\bar{y}$  (< $\check{y}$ ) лабиализованным; В. Вондрак, И. Миккола, С. М. Кульбакин, Г. А. Ильинский — нелабиализованным. Н.С. Т р у б е ц к о й («Altkirchenslavische Grammatik», Wien, 1954, стр. 60) допускал, что для старославянского языка  $\bar{y}$  был нелабиализованным.

Путь развития системы вокализма можно представить на следующей схеме<sup>22</sup>:



Сочетания согласных с гласными заднего ряда в новой системе характеризовались следующим образом: все эти сочетания имели бемольную тональность, носителем которой был согласный:  $C^\circ\bar{y}$ ,  $C^\circ\bar{a}$  (где  $C$  — любой согласный). Исключением из этой системы было то, что лишь альвеолярные согласные в некоторых немотивированных для сложившейся системы положениях (перед прежними  $\bar{a}$  — не из  $\bar{d}$ !) оставались небемольными ( $t\bar{d}$ , где  $t$  — любой альвеолярный). Это «исключение» из системы было преодолено путем генерализации бемольности. Теперь все сочетания всех согласных (кроме  $\bar{j}$ ) с гласными заднего ряда стали характеризоваться бемольной тональностью, носителем которой были согласные. Иными словами, согласные в положении перед гласными заднего ряда лабиализовались (лабиовеляризовались — по Шахматову<sup>23</sup>). Не лабиализовались лишь лабиальные, так как это было их релевантным признаком.

В этой системе четкое противопоставление гласных по «двезной тональности» — простой тональности — обуславливало позиционное противопоставление согласных по «бемольной тональности» — простой тональности» ( $C^\circ\bar{a}$ :  $C^\circ\bar{e}$ ,  $\bar{C}\bar{y}$ :  $C\bar{y}$ ). Иными словами, все согласные в сочетаниях с гласными выступали в двух позиционных вариантах:  $t^\circ/t$ ,  $d^\circ/d$ ,  $s^\circ/s$ ,  $n^\circ/n$

<sup>22</sup> Сходный путь развития рисует А. Лампрехт (см. его работу «Несколько замечаний к развитию фонетической системы праславянского языка», «Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university», V, 4, (A), 1956, стр. 17—23); схожие конечные результаты описывает Ф. Мареш (указ. соч., стр. 445 и сл.). Весьма сходную картину развития (в конечных результатах) находим у А. Мартине («Langues à syllabes ouvertes...», стр. 158). Вот его система:

$i/\bar{j}$	$y$ /i/ или / <sup>w</sup> i/
$\bar{y}/\bar{i}\bar{e}$	$\bar{y}$ /ə/ часто / <sup>w</sup> ə/
$e/\bar{e}$	$o$ /a/
$e/\bar{e}$ или ( $\bar{j}$ )	$a$ /a/ иногда / <sup>w</sup> a/ (?)

Теоретически и типологически прямоугольная система вокализма без лабиализованного гласного верхнего подъема возможна. См. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, стр. 110, 122. См. также первое типологическое исследование системы вокализма Трубецкого («Zur allgemeine Theorie der phonologischen Vokalsysteme», TCLP, 1, 1929, стр. 45). Любопытно, что подобные системы встречаются обычно там, где в системе консонантизма есть оппозиция «лабиальности — нелабиальности» согласных (т. е. «бемольная — простая тональность»), что должно подтвердить нашу гипотезу о развитии праславянской фонологической системы. См. А. Дирр, Арчинский язык, «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», XXXIV, 1, 1908 (ссылка взята у Н. С. Трубецкого в «Основах фонологии», стр. 113).

<sup>23</sup> А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 60—62 и его же, К истории звуков русского языка, сб. ОРЯС, LXVII, 7, 1901, стр. 16, 33. Некоторые возражения А. Шахматову и фактическое подтверждение его взглядов материалам современных русских говоров и истории русской письменности см. в статье: Л. Э. Калнынь, Развитие категории твердости и мягкости согласных в русском языке, «Уч. зап. Ин-та славяноведения [АН СССР]», XIII, 1956, стр. 129—130. Типологически и теоретически лабиальная корреляция согласных возможна. Ср.: Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, стр. 119; его же, Die phonologischen Systeme, TCLP, 4, 1931, стр. 108. О лабиальной корреляции согласных в румынском языке см. Е. Петровици, Esquisse du système phonologique du roumain, сб. «For Roman Jakobson», стр. 382—389, особенно стр. 386. Эти же мысли им изложены подробнее в журнале «Studii și cercetări lingvistice» (III, 1952 и VII, 1956). Ср. также: Н. И. Дукельский, О системе фонем современного румынского литературного языка, «Вестник ЛГУ», 1959, 2, стр. 153.

и т. д. Не могли иметь таких позиционных вариантов лишь губные<sup>24</sup> (и  $\dot{i}$ , см. ниже), так как бемольность — их конституционный признак.

Эта непоследовательность системы была ликвидирована следующим образом: губные стали противопоставляться непосредственно по тому признаку, который обуславливал противопоставление других согласных по «бемольной — простой тональности», а именно по «дизной — простой тональности». Таким образом, и губные согласные стали противопоставляться в позициях перед гласными переднего — заднего ряда:  $m' : m$ ,  $p' : p$ ,  $b' : b$ ,  $v' : v$ . При этом  $\check{u}$  (неслоговое  $u$ ) перешел в разряд согласных (в позиции п е р е д гласным), так как  $\check{u}$  (неслоговой гласный!) смягчаться не мог<sup>25</sup>. Теперь все согласные (кроме  $\dot{i}$ ) стали выступать в двух позиционных вариантах в зависимости от тональности последующего гласного.

Однако способ противопоставления этих позиционных вариантов был различным. Если одна часть согласных (альвеолярные и задненёбные) противопоставлялась по «бемольной тональности — простой тональности» ( $t^\circ : t$ ), то другая часть их в тех же позиционных условиях противопоставлялась по «дизной тональности — простой тональности». В основе же противопоставления лежал ДП дизности, т. е. обусловленность позицией: перед дизным<sup>1</sup> ( $\check{e}$ ,  $\check{i}$ ) — недизным ( $\check{a}$ ,  $\check{y}$ ) гласным.

Это своеобразное противоречие системы было снято путем генерализации дизной тональности, т. е. в с е согласные в позиции перед гласными переднего ряда палатализовались, стали дизными. Кроме того, указанный путь устанавливал и своего рода равновесие между системой гласных переднего — заднего ряда. Если до этого гласные заднего ряда передали свой ДП бемольности предшествующему согласному (последний стал носителем этого ДП, чего не было в сочетаниях с гласными переднего ряда), то теперь и гласные переднего ряда передали свой ДП дизности предшествующему согласному, т. е. вслед за процессом  $C + V^\circ \rightarrow C'V$  пропел аналогичный процесс  $C + V' \rightarrow C'V$ <sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Теоретически противопоставление  $p^\circ : p$ ,  $m^\circ : m$  и т. д. возможно. Ср. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, стр. 156—157. Если допустить сплошную лабиализацию согласных, включая и губные, то будет невозможно объяснить их последующую делабиализацию. Кроме того, при взаимодействии процесса лабиализации согласных с процессом палатализации следовало бы ожидать появления палатально-лабиализованного ряда согласных (как в румынском языке) или лабиализованных гласных переднего ряда  $\check{y}$ ,  $\check{o}$  (как в немецком). С другой стороны, наличие (или появление) ряда  $p^\circ$ ,  $b^\circ$  и т. д. противоречило бы излагаемой концепции, согласно которой нейтрализация  $\check{a}$  и  $\check{o}$  началась в позиции после губных согласных б е з п е р е д а ч и ДП бемольности. В таком случае процессы совпадения  $\check{o}$  и  $\check{a}$  и делабиализации  $\check{o}$  и  $\check{y}$  оставались бы неясными.

<sup>25</sup> А. Мартине (A. Martinet, Langues à syllabes ouvertes..., стр. 155) переход  $w < v$  объясняет совершенно аналогичным образом. Ф. Мареш (указ. соч., стр. 469) связывает переход сонорного  $\check{u} > v$  с процессами более позднего периода. Действительно, для п о л о г о перехода  $\check{u} \rightarrow v$  необходима монофонтизация дифтонгов, параллельный переход  $\check{i} \rightarrow j$ , йотация и др. Здесь говорится лишь о первом этапе такого перехода: имеется в виду переход только в позиции перед гласными.

<sup>26</sup> А. Мартине не детализирует эти процессы, рассматривая их как параллельные. Иное объяснение происхождения палатальных согласных в славянских языках см.: E. Koschmieder, Die Palatalitätskorrelation im Slavischen, Heidelberg, 1958, стр. 5—9; H. Lunt, Phonemic palatalisation in Slavic, сб. «For Roman Jakobson», стр. 306 и сл.; N. van Wijk, Das altrussische Imperfekt und die russische Konsonantenerweichung, IF, LII, 1, 1934, стр. 32—44, а также: W. Merlingen, Zur Phonologie der sog. palatalisierten Konsonanten, сб. «Езиковедски изследвания в чест на acad. Ст. Младенов», София, 1957, стр. 493—501. Указанные ученые исследуют данный вопрос на поздних этапах, ставя во главу угла проблему превращения позиционных вариантов в самостоятельные фонемы. Спор о хронологии славянской палатализации (ср. K. Hořálek, «K vývoji měkkoštní korelace souhláskové v praslovanštině a v češtině», «Acta Universitatis Carolinae», 1 — Philologica, 1959, стр. 53—58) сводится в конечном счете к проблеме разграничения двух явлений: смягчения согласных в позиции перед гласными переднего ряда, с одной стороны, и появления палатальной корреляции согласных фонем, с другой.

Путь развития, изложенный выше, можно представить на следующей таблице:

Этапы \ Позиции	Диезная	Не диезная	Примечания
I	$C_1$ $C_2$	$C_1^\circ$ $C_2$	корреляция бемольности нет корреляции
II	$C_1$ $C_2^1$	$C_1^\circ$ $C_2$	корреляция бемольности корреляция диезности
III	$C_1'$ $C_2'$ $C^\circ$	или $C_1^\circ$ $C_2$ $C(C^\circ)$	} корреляция диезности (ДП бемольности стал избыточным)

Здесь  $C_2$  — согласные губные,  $C_1$  — все прочис.

Материал, свидетельствующий о последовательной палатализации всех согласных в положении перед  $\check{i}$ ,  $\check{e}$  на данном синхронном срезе, общеизвестен<sup>27</sup>. Наиболее убедительным свидетельством в пользу общей палатализации всех согласных в позиции перед  $\check{i}$ ,  $\check{e}$  являются общеславянские результаты<sup>28</sup> так называемой первой палатализации задненёбных ( $k > \check{c}$ ,  $g > \check{z}$ ,  $ch < \check{s}$ , например рѣка: ржѣка и т. п.). Хотя для описываемого этапа развития праславянской фонологической системы нет оснований утверждать, что уже совершился переход задненёбных в шипящие, фонологически здесь пока были лишь противопоставления  $k^\circ: k'$ ,  $g^\circ: g'$ ,  $ch^\circ: ch'$ , как и  $t^\circ: t'$ ,  $d^\circ: d'$  и т. д.

Особое место в новой фонологической системе занимал сонорный  $\dot{i}$ . В прежней системе он был противопоставлен сонорному  $\dot{u}$ . Теперь, после перехода  $\dot{u} \rightarrow v/v'$  (см. выше), он не стал противопоставляться ни по ДП бемольности, ни по ДП диезности. Когда же установилась система противопоставления согласных по ДП «диезности — недиезности» (бемольности) (см. табл. на стр. 35), соответственно «гласный переднего или заднего ряда» ( $C\check{a}: C'\check{e}$  или  $C^\circ\check{a}: C'\check{e}$ ), позиция после  $\dot{i}$  ввиду его нейтральности к данным ДП стала фонологически нейтральной для диезных — недиезных гласных, т. е. позицией неразличения гласных переднего — заднего ряда.

Материал, свидетельствующий об этом<sup>29</sup>, опять-таки общеизвестен. Ср.: лат. *iugum* → слав. \**iŭgǫ* → *iŷgǫ* → *iŷgǫ* — ст.-слав. иго. Ср. также хвалѣши—несѣши, мыти—шти (< \**sŷi* — литов. *siŷti*), место—морѣ (< *-rjǫ*), видѣти—слышати, но глаголическое страна—землѣ и т. п. О том, что после  $\dot{i}$  ( $j$ ) не различались гласные переднего — заднего ряда, могут свидетельствовать такие оппозиции:

<sup>27</sup> См. A. Vaillant, указ. соч., стр. 45—61.

<sup>28</sup> Едва ли можно считать обязательным непосредственный переход  $k \rightarrow \check{c}$ ; нельзя ожидать для этого этапа сразу же тех результатов, которые мы наблюдаем в славянских языках поздних этапов развития. Для указанного перехода в то отдаленное время еще не было фонологических условий. Соответствующие условия, видимо, появились на последующем этапе, после процесса  $k\check{i} \rightarrow k\dot{j} \rightarrow \check{c}$ . Рассмотрение этого процесса выходит за рамки данной статьи, так как мы ограничились рассмотрением «судьбы» групп  $C + V$  (группы  $CC + V$  следует рассматривать особо).

<sup>29</sup> Ср., например: A. Vaillant, указ. соч., стр. 187—191. Традиционно это явление называют явлением «перехода»  $o \rightarrow e$ ,  $\check{v} \rightarrow \check{y}$ ,  $y \rightarrow j$ ,  $\check{e} \rightarrow a$  после  $j$  и шипящих. Так оно и проявляется в конечных результатах, так сказать, «на уровне наблюдения». Спор относительно непоследовательности в поведении прежнего  $\check{a}$  (<  $\check{o}$  и  $\check{a}$ ) (ср. F. Maгeš, указ. соч., 450—451 и Н. Ван-Вейк, указ. соч., стр. 300 и др.)

I этап	II этап (позиция нейтральная)
* / $\check{i}$ / gla: / $\check{i}\bar{y}$ / go	игла : нго
* zeml' / $\check{i}\bar{a}$ / mъ: slych / $\check{i}\bar{e}$ / ti	земл'амъ : слышати. (кириллическое)
	земл'кмъ : слыш'кти. (глаголическое)

На данном синхронном срезе праславянская фонологическая система характеризуется следующими особенностями. В зависимости от тональности гласного предшествующий согласный выступает в своем «двезном — недвезном» (бемольном) (см. таблицу на стр. 40) варианте ( $t'$  или  $t^\circ$ ,  $p'$  или  $p$ ,  $k'$  или  $k^\circ$  и т. д.). Но и гласные, в зависимости от тональности предшествующего согласного, также выступают в одном из своих вариантов — «гласные переднего или заднего ряда» ( $t'\check{i}$  и  $t^\circ y$ ,  $p'\bar{e}$  и  $p\bar{a}$ ,  $k'\bar{e}$  и  $k^\circ a$  и т. д.).

В сочетаниях  $C + V$  уже не было такой позиции, где бы после двезного согласного могли различаться гласные по ряду («передний — задний»); здесь выступают всегда лишь двезные гласные. Нет такого противопоставления после бемольных и после недвезных согласных — после них всегда выступают лишь гласные заднего ряда. И лишь одна позиция, позиция после  $j$ , была нейтральной; там, как уже было отмечено, гласные заднего и переднего рядов не различались, совпав в одном из своих вариантов.

Следовательно, теперь нельзя сказать, что противопоставление гласных по ряду «передний — задний ряд» является дифференциальным признаком гласных фонем, как нельзя сказать и того, что противопоставление согласных по «двезной — недвезной тональности» является дифференциальным признаком согласных фонем.

Если согласные  $p$  и  $p'$ ,  $b$  и  $b'$ ,  $t^\circ$  и  $t'$  и т. д. являются лишь позиционными вариантами единой фонемы, выступающей в двух позиционно обусловленных вариантах (соответственно:  $p/p'$ ,  $b/b'$ ,  $t^\circ/t'$  и т. д.), то и гласные  $\check{i}$  и  $\bar{y}$ ,  $\bar{e}$  и  $\bar{a}$  с неменьшим правом можно считать позиционными вариантами единой, выступающей в двух видах фонемы  $\bar{i}/\bar{y}$ ,  $\bar{e}/\bar{a}$  и т. д.

Система гласных фонем, следовательно, из прямоугольной превратилась в линейную<sup>30</sup>:

$\check{i}$	$\bar{y}$	$\check{i}\bar{y}$	$\bar{i}/\bar{y}$	
			$\check{e}/\bar{a}$	$\bar{e}$
			$\bar{e}/\bar{a}$	$\bar{A}$
$\bar{e}$	$\bar{a}$	$\bar{e}/\bar{a}$		
			(где $\bar{e}/\bar{a} = e/a$ )	

Каждая из гласных фонем выступала в двух вариантах в зависимости от тональности предшествующего согласного; вне сочетания с предшествующим согласным гласная почти никогда не выступала. В начале слова

свидетельствует лишь о том, что на данном этапе развития фонологической системы в нейтральной позиции не различались  $\bar{e}$  и  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  и  $\bar{a}$ ,  $\bar{i}$  и  $\bar{y}$  и выступали здесь в каком-то ином варианте. Впоследствии же, когда стали распадаться группо-фонемы, когда заново стали образовываться самостоятельные фонемы  $\bar{e}$  и  $a$ ,  $e$  и  $o$ , нейтральный звук позиции после  $j$  (и пишущих) мог примкнуть к одной из коррелирующих фонем. Выбор заднего или переднего ряда будет обусловлен системой позднего синхронного состояния.

<sup>30</sup> Видимо, сходную мысль выражает и Ф. Мареш (указ. соч., стр. 445), обозначая варианты фонем  $\check{i}$  и  $\bar{y}$  как  $\bar{y}$  и  $y$ . Однако обоснования такого явления он не дает, постулируя в системе вокализма после делабиализации два основных гласных  $A$  и  $Y$ , которые могли быть долгими и краткими, передними и задними. Линейные системы, по свидетельству Н. С. Трубецкого («Основы фонологии», стр. 108—109), теоретически и типологически возможны и наблюдаются, в частности, в западнокавказских языках.

развились так называемые протезы<sup>31</sup>. Следует учесть и тот факт, что передача ДП бемольности гласного сопровождалась делабиализацией прежних губных гласных (см. выше). Вполне вероятно, что и передача ДП дизности гласными переднего ряда сопровождалась своего рода дедиезацией гласного, что не могло не сблизить  $\ddot{i}$  и  $\ddot{y}$ ,  $\ddot{e}$  и  $\ddot{a}$ <sup>32</sup>.

Данная система вокализма характеризовалась следующими ДП: «долгота — краткость» ( $\bar{I} : \dot{I}$ ,  $\bar{A} : \dot{A}$ )<sup>33</sup>, «открытость — закрытость» ( $\bar{A} : \bar{I}$ ,  $\bar{A} : \dot{I}$ ). ДП «дизная тональность — простая тональность» в новой системе уже не различал гласные как самостоятельные фонемы, но характеризовал лишь их позиционные варианты. Материалом, свидетельствующим о том, что гласные заднего — переднего ряда из самостоятельных фонем превратились в позиционные варианты, могут послужить общеизвестные факты о зависимости гласных от предшествующих согласных в старославянском языке (о чем говорится во всех пособиях по старославянскому языку), а также факты нейтрализации гласных в позициях после  $j$  и шипящих (см. выше), «сближение» прежних  $i$  и  $y$ ,  $\ddot{e}$  и  $\ddot{o}(\ddot{a})$ ,  $\ddot{e}$  и  $a$ , представленное во всех славянских языках, хотя и различным образом<sup>34</sup>. Ср. серб. *мило* (< *mylo* и *milo*); чеш. *sen, den, serb. dan, san* (< *děň, sěň*), чеш. *zralý* (\* *zřely*): *zdravý* (< *zdravy*), русск. *нос* (\* *nes*): *нос* (\*\**nos*) и т. д.

Система согласных фонем в общих чертах осталась прежней (см. выше). Различие между новой и старой системами заключается лишь в том, что каждая из этих фонем в положении перед гласным теперь реализуется в одном из своих вариантов, а именно:  $m/m'$ ,  $v/v'$ ,  $p/p'$ ,  $b/b'$ ,  $n'/n'$ ,  $r^\circ/r'$ ,  $l^\circ/l'$ ,  $t^\circ/t'$ ,  $d^\circ/d'$ ,  $s^\circ/s'$ ,  $z^\circ/z'$ ,  $k^\circ/k'$ ,  $g^\circ/g'$  и ( $ch^\circ/ch'$ ). В других положениях эти фонемы еще могут выступать в нейтральном для «дизности — бемольности» варианте. В конце слова, например<sup>35</sup>, могли выступать  $\ddot{u}$ ,  $n$ ,  $r$ ,  $t$ ,  $d$ ,  $s$ ,  $\ddot{z}$ . Они же выступали и в позиции перед согласным после гласного. Кроме них, в этой позиции могли быть  $l$  и другие.

<sup>31</sup> Вслед за А. Мартине (см. «Economie...», стр. 360) мы считаем, что явление протезов  $\ddot{z}$  и  $\ddot{u}$  в начале слова является одной из сторон процессов, рассматриваемых в данной работе, — процесса передачи ДП бемольности или дизности предшествующему согласному, процесса делабиализации  $\ddot{o}$  и  $\ddot{y}$  и процесса «смадания»  $\ddot{a}$  и  $\ddot{o}$ . Последние не могли совпасть полностью во всех позициях без делабиализации  $\ddot{o}$  и без выделения ДП бемольности в относительно самостоятельную фонологическую единицу в начале слова. Аналогичный процесс наблюдается и в истории румынского языка, где передача ДП бемольности и дизности предшествующим согласным сопровождалась образованием так называемых «протезов» в начале слова (ср.: Е. Петров и ч. указ. соч., стр. 17—18; е го же, *Zum slavischen Einfluß auf das rumänische Laut- und Phonemsystem*, «Vorträge auf der Berliner Slavistentagung (11—13 November 1954)», Berlin, 1956, стр. 113 и сл. См., кроме того, А. Мартинет, *Langues à syllabes ouvertes...*, стр. 158).

<sup>32</sup> Видимо, не случайно А. Мартине («Langues à syllabes ouvertes...», стр. 158) обозначает часть этих фонем одинаковыми знаками.

<sup>33</sup> Фонологически здесь было только противопоставление по «долготе — краткости». Нет оснований на данном этапе развития системы считать «сверхкраткие» самостоятельными фонологическими единицами. Аналогичные выводы см. у Ф. Мареша (указ. соч., стр. 445). Иначе — в традиционном плане — см. у А. Мейе («Общеславянский язык», М., 1951, стр. 39—70), Р. Нахтигала (R. Nachtigal, *Slovanski jeziki, Ljubljana, 1952*, стр. 17—18) и других.

<sup>34</sup> Факты «сближения» этих фонем могут трактоваться (и трактуются) самым различным образом, но несомненно одно: предположение о том, что эти звуки на каком-то этапе были вариантами одной фонемы, объясняет «сближение» именно этих, но не других пар (ср. еще: P. Zwołiński, *Stosunek fonemu  $y$  do  $i$  w historii języków słowiańskich*, сб. *Z polskich studiów slawistycznych. Prace język i etnogen...*, Warszawa, 1958, стр. 52—60).

<sup>35</sup> Анализ этих сочетаний не входит в задачу данной статьи. С целью более четкого изложения основной ее мысли мы ограничились лишь анализом развития сочетаний  $C + V$ . Рассмотрению более сложных сочетаний  $CC + V$ ,  $C + V + C$  и т. п. автор надеется посвятить особую работу. Также опущено и исследование «судьбы» начала слова.

В сочетаниях  $C + V$ , как отмечалось выше, гласные в зависимости от тональности предшествующего согласного выступают в своем дизном или недизном варианте. И согласные, в свою очередь, в зависимости от тональности (тембра) последующего гласного также выступают в одном из своих вариантов — «дизном — недизном» (бемольном). Такое последовательное сближение тембра смежных звуков и принято называть **г р у п п о в ы м с и н г а р м о н и з м о м**<sup>36</sup>.

Если же появление дизного — недизного варианта гласного или согласного зависит в равной мере как от предшествующего согласного, так и от последующего гласного, то, следовательно, оно не зависит ни от первого, ни от второго, а зависит от чего-то третьего. С другой стороны, если дизный — недизный гласные являются лишь позиционными вариантами фонем, если дизный — недизный согласные являются также лишь позиционными вариантами, то, следовательно, по ДП дизности не противопоставляются как самостоятельные фонемы ни согласные, ни гласные, а нечто третье.

Таким «третьим» является целая группа  $C + V$ . Теперь по ДП «дизная тональность — простая тональность» противопоставляются не отдельные фонемы, а целые группы —  $C\bar{V}$  —  $C\check{V}$ . Например, группы  $p\bar{a} : p'\check{e}$ ,  $t^{\circ}\bar{a} : t'\check{e}$  или  $b\check{y} : b'\check{i}$  и т. д. противопоставлены не по ДП «дизности — бемольности» согласного (так как  $p$  и  $p'$ ,  $t^{\circ}$  и  $t'$  являются позиционными вариантами одной фонемы) и не по ДП дизности гласного (так как  $\bar{a}/\check{e}$  и  $\check{y}/\check{i}$  являются позиционными вариантами одной фонемы); ДП дизности характеризует целую группу  $C\bar{V}$ . ( $t^{\circ}\bar{a}$  или  $t'\check{e}$ ,  $b\check{y}$  или  $b'\check{i}$  и т. д.). Таким образом, когда ДП бемольности и дизности были переданы от гласного к согласному, т. е. к началу звучания группы, и стали характеризовать целую группу, сложились особые фонологические единицы, своего рода группо-фонемы<sup>37</sup>. Фонологически они нечленимы, так как ДП дизности (или бемольности) принадлежит целой группе. Консонантные и вокальные части этих единиц не могли входить в разные слоги из-за «неразложимости», «общности» ДП дизности (и бемольности).

Инвентарь этих группо-фонем можно представить на следующей таблице (см. след. стр.):

<sup>36</sup> Относительно возникновения слогового сингармонизма ср. у Р. О. Якобсона (указ. соч., стр. 221). Об аналогичных явлениях в румынском языке см.: Е. Петрович, указ. соч., стр. 3—8, 19—21. В отношении праславянского языка говорят обычно не о групповом, а о слоговом сингармонизме, хотя Р. О. Якобсон (указ. соч., стр. 8, 33), раскрывая понятие слогового сингармонизма («le synharmonisme de la syllabe»), говорит о противопоставлении **г р у п п** («groupement mou ~ groupement dur»). Видимо, следует четко разграничивать понятия группового и слогового сингармонизма. Так, на исследуемом синхронном срезе фонологическая система характеризовалась наличием группового сингармонизма, но о слоговом сингармонизме для данной системы еще не может быть и речи, так как еще существовали слоги [например, типа  $C^{\circ}a\check{q}$  — (\* $k'a\check{i}/na$ ), типа  $C^{\circ}aC$ ] закрытые, закрывающий элемент которых не входил в сингармонирующую группу и часто имел противоположную тональность или был нейтральным по ДП «дизности — недизности». О слоговом сингармонизме можно будет говорить лишь после действия так называемого закона открытых слогов.

<sup>37</sup> Вопрос о группо-фонемах (слоговые-фонемах, синлабо-фонемах) был поднят впервые Л. В. Щербой (см. его «Русские гласные в качественном и количественном отношении», СПб., 1912, сноска к стр. 8), разрабатывался в работах Н. Ф. Яковлева и Д. В. Бубриха. Ср. еще у С. Д. Кацнельсона (указ. соч., стр. 46—59). Теоретически такая группа  $C + V$  может быть единой фонологической единицей и с точки зрения Н. С. Трубецкого (см. «Основы фонологии», стр. 63—64). Следы группо-фонем сохранились в различных славянских языках. Так, еще А. И. Томсон («Исчезли ли конечные звуки  $\bar{y}$  и  $\bar{z}$  в русском языке?», «Уч. зап. высшей школы г. Одессы», II, 1922, стр. 12) впервые указал, что конечные согласные в русском языке слабо примыкают к предшествующим гласным, в то время как тесная связь между согласным и последующим гласным чрезвычайно сильна (см. ниже). Наиболее ярко проявлялись группо-фонемы в старославянском языке, когда отдельные согласные как самостоятельные фонемы, видимо, не существовали вне группы. Этим объясняется «вставка» редуцированных для сохранения согласных в заимствованных словах.

Фонемы		$\bar{I}$ и $\bar{I}'$		$\bar{A}$ и $\bar{A}'$	
гласные согласные	Позиц. варианты	$\bar{I}$	$\bar{I}'$	$\bar{A}$	$\bar{A}'$
		$C_1$	$C'_1$	+	-
	$C_1$	-	+	+	-
$C_2$	$C'_2$	+	-	-	+
	$C_2$	-	+	+	-
$\bar{i}/\bar{i}'$	$\bar{i}$	0	0	0	0

Объяснение таблицы. Фонемы обозначены прописными, их варианты — строчными буквами;  $C_1$  — губные согласные  $p, b, m, v/u$ ;  $C_2$  — все прочие:  $t, d, \dots, k, g$  и т. д.; знаком + или - обозначается сочетаемость или несочетаемость; знак 0 (ноль) обозначает отсутствие сочетаемости с данным вариантом при возможности сочетаемости с данной фонемой. Это характеризует позицию после  $\bar{i}$  как нейтральную.

Как видно из таблицы, группо-фонемы сами по себе противопоставлялись по следующим дифференциальным признакам:

1. Диезная тональность — простая тональность:

$$'C\bar{V}:C\bar{V} = 'P\bar{J}:P\bar{J} (p'i:p\bar{j}), \dots 'T\bar{A}:T\bar{A}$$

$$(t^\circ\bar{a}:t^\circ\bar{a}') \dots 'K\bar{I}:K\bar{I} (k'i:k^\circ\bar{y}) \text{ и т. д.}$$

2. Долгота — краткость:

$$\widehat{C\bar{V}}:\widehat{C\bar{V}} = 'P\bar{I}:P\bar{I} ('P\bar{I}:'P\bar{I}) \text{ и т. д.}$$

3. Открытость — закрытость:

$$\widehat{C\bar{A}}:\widehat{C\bar{I}} = P\bar{A}:P\bar{I}, P\bar{A}:P\bar{I}, 'P\bar{A}:'P\bar{I} \text{ и т. д.}$$

Группо-фонемы с начальным  $\bar{i}$  противопоставлялись лишь по двум ДП (противопоставление по ДП диезности им не было свойственно):

1. Долгота — краткость:

$$\widehat{J\bar{A}}:\widehat{J\bar{A}} \text{ (традиционно: } ja:je), \widehat{j\bar{i}}:\widehat{j\bar{i}} (j\bar{i}:j\bar{i}')$$

2. Открытость — закрытость:

$$\widehat{J\bar{A}}:\widehat{J\bar{I}} (ja:j\bar{i}), \widehat{J\bar{A}}:\widehat{J\bar{I}} (je:j\bar{b})$$

Материалом для таких противопоставлений могут послужить следующие общеизвестные примеры:

$$*|k^\circ\bar{y}|to - *|k^\circ\bar{i}|to - \text{ст. слав. кѣто : ѹкѣто} \quad |\widehat{K\bar{I}}:'\widehat{K\bar{I}}|$$

$$\widehat{D\bar{I}}:|\widehat{D\bar{I}}| - *|d^\circ\bar{y}|no - *|d^\circ\bar{i}|nb - \text{дѣно : дѣнь}$$

$$D\bar{A}:'D\bar{A} - *|d^\circ\bar{a}|mb - *|d^\circ\bar{a}'|mb - \text{дамь : домь}$$

Сложившаяся фонологическая система была в какой-то степени неоднородной: наряду с существованием отдельных фонем для согласных и гласных имелись особые фонологические единицы, группо-фонемы<sup>38</sup> — не-

<sup>38</sup> В практике фонологических исследований болгарских диалектных систем часто встречаются такие системы, которые допускают различное описание, в равной мере справедливое, при котором, если начать описание с вокализма, то консонан-

разложимые сочетания  $\overline{CV}$ , объединенные единым для группы ДП дизезности (или бемольности). Группо-фонемы противопоставлялись друг другу системой дифференциальных признаков (ДП дизезности, долготы, открытости).

Гласные фонемы уже почти не выступают вне группо-фонемы. Согласные еще могут выступать и вне ее (конец слова, положение перед согласным). Преодоление этой разнородности в системе приведет к значительным изменениям<sup>39</sup> в фонологической системе, в структуре слова: обусловит дальнейшее развитие фонологической системы праславянского языка.

Подведем итоги.

1. Известный праславянский процесс «совпадения»  $\bar{a}$  и  $\bar{o}$ ,  $\bar{a}$  и  $\bar{d}$  сопровождался процессом делабиализации  $\bar{d}$ , начатой в позиции после лабиальных согласных.

2. Делабиализация  $\bar{d}$  сопровождалась процессом передачи ДП бемольности предшествующему согласному.

3. Вслед за этим делабиализовался и  $\bar{y}$ , передав ДП бемольности предшествующему согласному.

4. Система гласных в связи с процессом делабиализации преобразовалась из треугольной и прямоугольную, утратив при этом две фонемы ( $\bar{o}$  и  $\bar{d}$ ) и один ДП (бемольность).

5. Вслед за гласными заднего ряда гласные переднего ряда также передают ДП дизезности предшествующим согласным.

6. В результате этого система вокализма преобразовалась из прямоугольной в линейную, а гласные заднего — переднего рядов стали позиционными вариантами; ДП дизезности перестал различать гласные как самостоятельные фонемы.

7. Таким образом, сложилась система группового сингармонизма, характеризующаяся взаимообусловленностью тональности гласного и согласного.

8. Сингармоничные группы стали неразложимыми фонологическими единицами, группо-фонемами, характеризующимися особой системой ДП.

9. Дальнейшее развитие фонологической системы праславянского языка, очевидно, может трактоваться как развитие группового сингармонизма до слогового, как своего рода борьба между системой группо-фонем и остатками системы фонем путем вытеснения фонем и вариантов, оказавшихся в данной фонологической системе вне группо-фонемы.

тизм будет характеризоваться противопоставлением по твердости и мягкости, как в русском языке; если же начать описание с согласных, то корреляции по твердости—мягкости не будет, как в родственном и близком сербском, но на один-два члена увеличатся количество гласных фонем. Каждая из этих систем не будет противоречивой и полностью отразит реальное состояние. Такое состояние болгарской фонологической системы нашло отражение в споре о количестве согласных и гласных фонем в болгарском литературном языке. См. С. Стойков, Палаталните съгласни в българския книжовен език, «Изв. на Ин-та за български език», I, София, 1952, стр. 5—6. Ср. рецензию К. Горака («Slavia», XX, 1, 1950, стр. 57—60). Полагаем, что такое «противоречие» в описаниях возникает там, где так или иначе представлены следы группо-фонем. Не является ли известный спор о фонологической системе румынского языка отражением того факта, что в румынском языке представлены эти группо-фонемы? Коротко с положением в румынском языке можно познакомиться в обзорах Л. И. Лухт (ИАН ОЛЯ, 1960, 5, стр. 433—434) и В. В. Каракулова (ВЯ, 1960, 3, стр. 108—111).

<sup>39</sup> Вслед за А. Вайяном (указ. соч., стр. 285) мы полагаем, что так называемый закон «открытых слогов» — результат, а не причина (см. об этом также А. Мартинет, *Langues à syllabes ouvertes*., стр. 148). «Зародышем» закона «открытых слогов» можно считать формирование группо-фонем, группового сингармонизма — явлений, сложившихся имманентно, без помощи всемогущих «тенденций» (см. об этом пример. 1 на стр. 145 у А. Мартинет, там же. Ср. также И. Лекон, указ. соч., стр. 85).

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. ПИЗАНИ

### ОБ АРМЯНСКИХ ОТРАЖЕНИЯХ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ВЗРЫВНЫХ

В 1904 г. Х. Педерсен, наблюдая тот факт, что согласные, которые интерпретируются в древнеармянском как звонкие (*mediae*), отражаются в современных западных диалектах как глухие (*tenuis*), в то время как глухие древнеармянского выступают в этих диалектах как звонкие, спрашивал себя: «Как возможно, чтобы глухой стал звонким, а звонкий глухим без того, чтобы звуки в процессе этом не совпали?» Считая ответ невозможным, он заключал: «Единственным выходом является предположение, что древнеармянские звуки, которые мы передаем через *g, j* [= *ǰ*], *d, b* (и которые служили для передачи греческих  $\gamma, \delta, \beta$ ), в действительности представляли собой неизменившиеся звонкие аспираты и, следовательно, должны произноситься как *gh, zh, dh, bh* (а *j*, соответственно, как *ǰh*)»<sup>1</sup>.

Это наблюдение осталось совершенно незамеченным; оно было повторено Х. Педерсеном в «*Philologica*» (1, 1921—1922, стр. 45 и сл.) и на этот раз не ускользнуло от А. Мейе, который в предисловии к новому изданию «*Les dialectes indo-européens*» (Paris, 1922) воспользовался им, чтобы подтвердить собственную мысль об отражении звонких аспират (*mediae aspiratae*) в армянском. Он основывался на двух работах Р. Ачаряна — «Взрывные современного армянского языка» [*Revue internationale de rhinologie, otologie, laryngologie et phonétique expérimentale*] (позднее он стал называться «*La parole*»), 2, 1899, стр. 119—127] и «Классификация армянских диалектов» (Paris, 1909). По мнению Р. Ачаряна, в современных западных диалектах древнеармянским фонемам, обозначаемым через *b, d, g, j*, соответствуют глухие (частично с придыханием), а в восточных диалектах — звонкие с «аппендиксом». В последнем случае его замечание совпадает с наблюдением Э. Зиверса, согласно которому звонкие армянского диалекта Аштарака аналогичны звонким придыхательным санскрита<sup>2</sup>.

А. Мейе заявлял: «Чтобы объяснить тот факт, что в армянских говорах, где *p, t, k* классического армянского языка представлены как *b, d, g*, в свою очередь, *b, d, g* классического армянского должны быть представлены как *p, t, k* (или *ph, th, kh*), естественнее всего предположить, что *b, d, g* общearмянского языка обладали особенностью, подобной той, которой характеризовались индоевропейские звонкие аспираты. Результат *ph, th, kh*, замеченный Ачаряном, подтверждает придыхательный характер древних звонких, обозначаемых буквами, которые обычно транскрибируются через [*b, d, g*]»<sup>3</sup>.

Однако это положение А. Мейе, в котором, по замечанию Э. Бенвениста, «следует видеть продуманное мнение А. Мейе по этой проблеме»<sup>4</sup>, не было повторено им во втором издании «*Esquisse d'une grammaire com-*

<sup>1</sup> См. H. Pedersen, *Armenisch und die Nachbarsprachen*, KZ, XXXIX, 3, 1904, стр. 336 и сл.

<sup>2</sup> E. Sievers, *Grundzüge der Phonetik*, Leipzig, 1893, стр. 158.

<sup>3</sup> A. Meillet, указ. соч., стр. 12—13.

<sup>4</sup> E. Benveniste, *La mutation consonantique et les dialectes modernes*, BSLP, LIV, 1, 1959, стр. 54.

parée de l'arménien classique» (Vienne, 1936), где осталась старая формулировка первого издания (1903). Часто случается, что важная мысль, выраженная мимоходом в процессе работы, остается незамеченной, как случилось с кратко изложенными нами соображениями Х. Педерсена и А. Мейе. Во втором случае сам автор забыл внести в свою работу мысль, высказанную им уже перед тем в другой работе.

Это же направление мысли воскресает теперь в указанной статье Э. Бенвениста, который повторяет этот аргумент в связи с описанием консонантизма диалектов Новой Джульфы (к юго-востоку от Еревана, на Евфрате, около его слияния с Кизил-Су), предложенным У. С. Алленом. По мнению Аллена, диалект, о котором идет речь, имеет три серии согласных:

- I *ph th kh tsh t̄sh* (= др.-арм. *p<sup>c</sup> t<sup>c</sup> k<sup>c</sup> c̄ č̄*);  
 II *p t k ts t̄š* (= др.-арм. *p t k c̄ č̄*);  
 III *b̄ d̄ ḡ dz̄ d̄ž̄* (= др.-арм. *b d g j ṽ*)<sup>5</sup>

Описание согласных последней серии позволило Э. Бенвенисту назвать их «звонкими аспиратами» (*sonores aspirées*) и считать их аналогичными звонким аспиратам санскрита и частично современных индоарийских языков, в которых, как в армянских *b̄, d̄* и т. д., аспирация должна быть звонкой, хотя начальный звонкий смычный стал глухим. Параллелизм данных индоарийских языков, где «звонкие аспираты», о которых идет речь, восходят непосредственно к древним «звонким аспиратам», засвидетельствованным в санскрите и предполагаемым в индоевропейском, вынуждает Э. Бенвениста считать, что здесь «звонкие аспираты» также не являются результатом какой-то инновации, но имеют унаследованный характер, и поэтому согласные, передаваемые через *b, d, g, j, ṽ*, были в древнеармянском языке не простыми звонкими, а звонкими аспирированными.

Переходя от этих выводов к изучению фактов современных западных диалектов, французский ученый, основываясь на «Классификации армянских диалектов» Р. Ачаряна, различает две группы: I — такие диалекты, как диалекты Малатии и Родоста; II — диалекты Трапезунда, Хемшина, Нахичевани-на-Дону, Мараша, Токата, Измита. В обеих группах смычные и аффрикаты представляют собой только две серии — простые звонкие и аспирированные глухие, но, рассматривая эти две серии по отношению к трем сериям согласных древнеармянского языка, можно установить следующие соответствия:

в I группе осуществились переходы: глухие > звонкие; глухие и звонкие аспираты > глухие аспираты;

во II группе — переходы: глухие аспираты > глухие аспираты; простые глухие и звонкие аспираты > звонкие.

«Итак, — заключает Э. Бенвенист, — состояние взрывных и аффрикат в современном восточном армянском с его тремя сериями, включающими аспирированные звонкие наряду с аспирированными и простыми глухими, является продолжением предшествующей системы, где аспирированные звонкие должны были занимать то же самое место. Поэтому мы предполагаем существование звонких аспират в классическом армянском, где фонемы, которые всегда транскрибировались через [b d g j̄], должны получить значение [bh], [dh], [gh], [jh], [ṽh]»<sup>6</sup>. Вследствие этого «в распределении индоевропейских диалектов, армянский теперь объединяется с санскритом тем, что он сохранил эту серию редких фонем, которые представляют собой аспирированные звонкие. Но в отличие от санскрита армянский имеет их в корреляции с глухими аспиратами, так что серия *p<sup>c</sup> t<sup>c</sup> k<sup>c</sup>* уравнивает серию, которую следует передать через *b<sup>c</sup> d<sup>c</sup> g<sup>c</sup>*. Переход древних глухих в глухие аспираты происходит вместе с сохранением серии звонких аспират. Мы не имеем права утверждать, как прежде, что

<sup>5</sup> См. W. S. Allen, «Notes on the phonetics of an Eastern Armenian speaker», «Transactions of the Philological society», Oxford, 1950, стр. 180 и сл., особенно стр. 193 и сл.

<sup>6</sup> E. Benveniste, указ. соч., стр. 53.

три типа смычных были одновременно передвинуты. Передвижение в армянском языке коснулось только индоевропейских глухих и звонких»<sup>7</sup>. В примечании<sup>8</sup> Бенвенист указывает, что он лишь в последний момент узнал о вышеуказанной почти одновременно статье Г. Фогта «Les occlusives de l'arménien»<sup>9</sup>.

Этой статье Г. Фогта предшествует, однако, другая статья того же автора<sup>10</sup>, в которой также была высказана мысль о прямой преемственности индоевропейских аспирированных (*mediae aspiratae*). Эту заслуживающую внимания работу, опирающуюся только на «Классификацию» Р. Ачаряна, Г. Фогт посвящает индоевропейским аспирированным звонким, которые, как он считает, непосредственно отражены в современных армянских диалектах, где они остаются непередвинутыми. Так как Г. Фогт думает, что древнеармянский представляет собой единственный переходный этап между индоевропейским и современными диалектами, он также высказывает мысль, что звуки древнеармянского, транскрибируемые нами через [b d g], на самом деле представляют собой *bh*, *dh*, *gh*.

Среди приведенных Г. Фогтом аргументов заслуживает, как мне кажется, внимания мысль о том, что для диалектов с бинарным противопоставлением *ph* — *b* вполне вероятно, что *ph*, представляющее последний результат развития индоевропейской звонкой аспираты, восходит непосредственно к *bh*, а не к *b*; важно также и то, что Фогт усматривает в почти универсальном *ph* после *r* (также на месте индоевропейской звонкой аспираты) скорее продолжение *bh*, чем *b*<sup>11</sup>. Некоторые его другие наблюдения будут упомянуты далее; здесь мы хотим подчеркнуть его критику «второго передвижения согласных»<sup>12</sup> и распространенных мнений о «первом передвижении согласных»<sup>13</sup>.

\*

Эти выводы Х. Педерсена, А. Мейе, Э. Бенвениста и Г. Фогта не были известны А. С. Гарибяну, когда он в своей статье «Об армянском консонантизме» (ВЯ, 1959, 5) начал поход против традиционного представления, согласно которому аспирированные звонкие, приписываемые индоевропейскому, отражаются якобы в древнеармянском как простые звонкие (Гарибян не касается перехода в аффрикату), звонкие — как глухие, а глухие и глухие придыхательные — как глухие аспираты<sup>14</sup>; он выступил также против положения, будто армянские диалекты являются результатом разделения древнеармянского. Опираясь на старую «Классификацию» Ачаряна, дополненную работами других и своими собственными, он рассматривает консонантизм пятидесяти семи современных диалектов и в результате этого изучения подразделяет их на 7 групп.

Принимая порядковые номера, присвоенные Гарибяном каждой группе диалектов, я отсылаю читателя к статье Гарибяна для уточнения списка диалектов, образующих каждую группу, и привожу здесь в качестве примера отражение в армянском индоевропейских зубных<sup>15</sup>, распола-

<sup>7</sup> Там же, стр. 55 и сл.

<sup>8</sup> Там же, стр. 56.

<sup>9</sup> См. «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», Oslo, XVIII, 1958.

<sup>10</sup> H. V o g t, Arménien et caucasique du Sud, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», IX, Oslo, 1938, стр. 321 и далее (ср. рец. Г. Дюмезиля в BSLP, XXXIX, 3, 1938, стр. 161 и сл.).

<sup>11</sup> H. V o g t, Les occlusives de l'arménien, стр. 151 и сл.

<sup>12</sup> Там же, стр. 154.

<sup>13</sup> Там же, стр. 156.

<sup>14</sup> Действительно, схема А. С. Гарибяна (ВЯ, 1959, 5, стр. 81) не соответствует полностью традиционному понятию, по которому индоевропейское *kh* дало *x*. Превращение и.-е. *p* в армянское *h* через *ph* представляется невероятным, если учесть, что *ph* осталось там, где обычно пишется *p*. Об этом см. ниже.

<sup>15</sup> Я выбираю зубные, потому что этот случай более ясный; здесь нет перехода, подобного передвижениям *p > h* или *kh > x*. Следует, однако, всегда помнить, что *t > t<sup>c</sup>* имеется только в начале слова (см. далее).

гая группы в иной последовательности, чем они приводятся у Гарибяна, с тем чтобы нагляднее показать некоторые явления:

я.-е.	<i>dh</i>	<i>d</i>	<i>t, th</i>
I	<i>dh</i>	<i>d</i>	<i>th</i>
II	<i>dh</i>	<i>t-, -d-</i>	<i>th</i>
VI	<i>d</i>	<i>t</i>	<i>th</i>
IV	<i>t</i>	<i>d</i>	<i>th</i>
V	<i>th</i>	<i>d</i>	<i>th</i>
III	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>th</i>
VII	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>th</i>

Согласно Гарибяну, *dh* в группах I и II и *d* в группах I, II, IV, V и III представляют индоевропейские звуки, сохранившиеся без изменения; в других случаях (*th* всех групп и др.) произошли изменения, которые не имели места в древнеармянском.

Выводы из своих наблюдений Гарибян свел (стр. 89 и сл.) к 10 положениям. Я привожу те из них, которые мне представляются особенно интересными:

«1. Точка зрения, согласно которой все армянские диалекты происходят от древнеармянского языкового состояния, не выдерживает проверки путем привлечения материалов диалектов и должна быть признана ошибочной.

2. Разные группы армянских диалектов образовались в разное время...

3. Древнеармянский консонантизм представляет собой позднейшее образование, произошедшее в результате одного полного передвижения всех трех рядов согласных, за исключением ряда глухих придыхательных (т. е. того ряда, который сохранился во всех армянских диалектах почти неприкосновенным).

4. Процессы передвижения рядов индоевропейских согласных происходили не одновременно, а в течение долгого времени...».

Я оставляю в стороне, как не относящиеся к вопросу, которым я занимаюсь, суждения Гарибяна о том, как произошли изменения в различных группах, и о том, каковы географические и исторические причины этих изменений; что касается утверждения, что за исключением I и II групп и древнеармянского, «индоевропейский консонантизм разрушен, видимо, под влиянием языков аборигенов, утративших родной язык в процессе слияния с армянами; в результате влияния языков аборигенов от армянского языка ответвлялись новые и новые диалекты», то я готов подписаться под ним в целом, за исключением одного: нельзя говорить об армянском языке раньше формирования диалектов, которые имеют, очевидно, другие предпосылки (см. ниже). Положение же о том, что изменения, которые имели место в I и II группах, тем более в древнеармянском, произошли в результате «закономерного развития армянской звуковой системы, независимо от влияния языков аборигенов», мне кажется, не может считаться доказанным.

Работа Гарибяна встретила восторженный прием со стороны В. И. Георгиева. В своей статье «Передвижение смычных согласных в армянском языке и вопросы этногенеза армян» (ВЯ, 1960, 5) он объявляет, что результаты исследований А. С. Гарибяна и Г. Фогта «вполне убедительны», особенно в тех своих частях, которые касаются сохранения в определенных диалектах аспирированных и простых звонких, и старается извлечь из этого данные для восстановления этногенеза армян.

В. И. Георгиев выдвинул блестящую гипотезу этногенеза армян, которая, однако, по крайней мере для настоящего времени, остается неприем-

лемой. (Сам Георгиев признает, что «помимо достоверного, здесь также имеются некоторые гипотетические положения, неизбежные при интерпретации собственных имен».) Согласно этой гипотезе, в образование армянского народа внесли свой вклад фригийцы, мизийцы (которые отождествляются с *Móσχοι*) и пеоны. Языки фригийцев<sup>16</sup>, происходивших с Балканского полуострова и составивших основной компонент в этногенезе армян, восприняли «передвижение согласных», присущее древнеармянскому, из фракийского субстрата, носители которого жили в южной Фракии и северо-западной части Малой Азии. Тем не менее в принципе справедливым является положение Георгиева, по которому «армянский народ» мог возникнуть в результате слияния разных народов, а его диалекты (для их объяснения вовсе не надо прибегать к предполагаемому «протоармянскому», более или менее отождествляемому с древним «грабаром») могли иметь различное происхождение, как уже утверждал Гарибян.

В противоположность этому, теория Гарибяна была подвергнута резкой критике со стороны Э. Б. Агаяна в статье «О генезисе армянского консонантизма» (ВЯ, 1960, 4). Эта критика резюмируется в следующей формуле: «все армянские диалекты являются продуктом дифференциации протоармянского», который Агаян отождествляет с древнеармянским; поэтому, заключает он, положения Гарибяна являются необоснованными. Правда, Э. Б. Агаян старается привести аргументы в пользу этой формулировки, но она часто в процессе дискуссии выступает у него как *petitio principii*. Рассмотрим сначала аргументы, о которых идет речь.

Начнем с тех из них, которые относятся к индоевропейским глухим и глухим аспиратам. В сущности Агаян здесь не приходит к иным результатам, чем Гарибян, который констатировал, что все армянские диалекты исходят из одинакового состояния; критика Агаяна относится к частным фактам. Он прав, когда указывает, что в формуле, по которой индоевропейские глухие становятся в армянском глухими аспиратами, не учитывается, что от них образуются также фрикативные или спиранты. Действительно, из *-p-* мы находим *-w-*; например, *ewt'n* «7» < \**septm*; из *-t-* мы имеем *-y-* или *-w-*: например, *mayr* «мать» и *mawr* «матери» из \**mātēr* и *mātros*<sup>17</sup>. Совершенно справедливо отмечается также, что некоторые «аномалии», относящиеся к индоевропейским глухим, общи для всех диалектов: такова судьба \**tū* «ты», которое дает в древнеармянском *du* (здесь и далее мы передаем древнеармянский традиционным способом, не учитывая, каково могло быть реальное произношение), а в диалектах *dhu* или *thu* и т. д. — соответственно обычным отражениям индоевропейской звонкой аспираты<sup>18</sup>; или переход некоторых глухих в звонкие во всех

<sup>16</sup> Утверждения Георгиева относительно фригийского очень мало обоснованы. Для пересмотра вопросов, связанных с этим языком, ср. R. G u s m a n i, Studi frigi. «Rendiconti dell'Istituto Lombardo», Classe di lettere, XCII — стр. 835 и сл., XCIII — стр. 17 и сл.

<sup>17</sup> Здесь, однако, невероятно, чтобы *p* и *t* превратились в *w*, *y* через *ph*, *th*, как это хотели бы видеть Гарибян и Агаян вслед за А. Мейе; так как древние индоевропейские *ph*, *th* не изменяются, эти *ph*, *th* совпали бы с ними и поэтому сохранились бы. Напротив, эволюция, должно быть, была сперва такой: *p* > *f*, *t* > *β*. См. об этом в моей статье «Studi sulla fonetica dell'armeno» («Ricerche linguistiche», I — 1950, стр. 165—193; II — 1951, стр. 47—74). Затем в начале слова *p-* превратилась в армянском в *h-* или исчезло. Здесь, конечно, также абсурдно говорить о промежуточном *ph*; явление это совершенно аналогично кельтскому, где *k-*, *t-* остаются, а *p-* исчезает: ср. \**k̑*. *tom* > др.-ирл. *cét*, \**teutā* > др.-ирл. *túath*, но \**pāter* > др.-ирл. *athir*, как и арм. *hayr*. О слабости *p* см. Н. P e d e r s e n, Weshalb ist *p-* ein unstabiler Laut?, «Festschrift zur Feier des zweihundertjährigen Bestehens der Akademie der Wissenschaften in Göttingen», II, Philol.-hist. Kl., Berlin — Göttingen — Heidelberg, 1951, стр. 32 и сл.

<sup>18</sup> В отношении этого случая и другого с местоимением *d-a* < \**to-* см.: V. P i s a n i, указ. соч., стр. 73; речь идет о случаях, подобных герм. *ga-* = лат. *co-*; гот. *dis-* = лат. *dis-*, греч. *διά*; гот. *du* рядом с *tō* = лат. *dō-nec*, *quan-ā*; ирл. *do-du-* «твой»; ср. лат. *tuus* и т. д.

диалектах, за исключением нескольких случаев глухих аспират (которые можно было бы вполне удовлетворительно объяснить исходя из звонкой аспираты!). Но почему начальный звук, который в диалектах имеет местоимение «ты», можно объяснить только через *d* из *t* древнеармянского? Если по той или иной причине *t* озвончалось и такая инновация распространилась на все диалекты, *t* должно было принять в этих диалектах вид наличествующего в них звонкого с аспирацией или без таковой, в частности того звука, который в других словах соответствовал согласному, занявшему место *-t-* в начале слова «ты».

Это пример наивности, подобной той, которую мы обнаруживаем на стр. 42 и сл., где Агаян, основываясь на иранских, греческих, сирийских, кавказских и арабских заимствованиях в армянском, хочет показать, что в звонких аспиратах современного армянского по отношению к предполагаемому звонким древнеармянского мы имеем «регрессивное передвижение»: если мы находим *bhazug* (в диалекте Севастии) из иран. *bazuk* «рука», это показывает, по его мнению, что *b* стало *bh* после заимствования. Между тем аргумент подобного рода имеет значение там, где фонемы совершенно различны. Например, абсолютно невероятно, что переход *s* в *h* в иранском осуществился позднее того времени, когда в иранском появилось действительно *Sindhu*, превратившееся здесь в *Hindu*; в историческую эпоху в иранском имеется несколько сибилантов ( $s < \bar{k}, \bar{s}$  и т. д.), и нельзя было бы заменить *s* на *h*, когда древнее индоевропейское *s* уже стало придыханием. Но диалекты, которые имели *bh* вместо *b* или даже имели как *bh*, так и *b*, в первом случае должны были, а во втором легко могли бы заменить свое *bh* на *b* заимствованного слова. Так, например, в древнем Риме говорили до I в. до н. э. *Pilippus* вместо греч. Φίλιππος, хотя в латинском было *f*, которое в какой-то степени могло передать греческое φ, произносившееся уже как *f* в некоторых греческих диалектах<sup>19</sup>; итальянцы, эмигрировавшие в Америку, произносят английское *th* как *t* или как *d*<sup>20</sup>.

По этому же поводу необходимо еще добавить следующее. Агаян, следуя А. Мейе, думает датировать переход в *h* реконструированного \**f* из индоевропейского *p* (по схеме  $p > ph > f > h$ ), опираясь на иранские заимствования (например, *framāna* «приказ», ставшее *hraman*). Ему, однако, осталось при этом неизвестным то, что установил уже Г. Гюбшман, который возводил этот факт к отсутствию *f* в армянском, в результате чего иранское *f* было заменено *h* или же в начале слова перед гласной и внутри слова после гласной — *ph* (например *pharkh* «слава» из *farr*, др.-иран. *farnah*)<sup>21</sup>. Ср. *ph* вместо φ в греческих заимствованиях IV в. и позже, когда греческое φ стало произноситься как *f*; в частности, ср. *phos* «могила» из лат. *fossa* через посредство греческого<sup>22</sup>.

Итак, можно согласиться с Агаяном (стр. 40), и, повторяю еще раз:

<sup>19</sup> См. E. Schwyzer, Griechische Grammatik, I, München, 1934, стр. 205.

<sup>20</sup> В некоторых случаях, конечно, чуждая языку фонема может в конце концов утвердиться в языковой системе; таков случай с германским *h*, принятым французским языком, например в *haut* < лат. *altus* (но *höh*), и сходным образом в других подобных словах. Вопрос заимствований в армянских диалектах очень сложен и требует специального изучения; при этом необходимо было бы принимать во внимание не только языки, из которых заимствования происходят, но также армянские диалекты (и соответственно литературный язык), через посредство которых они вошли и распространились во всех армянских диалектах. Для выяснения этого, как и многих других вопросов, нужно было бы знать историю территориальных сдвигов (часто достоинств от древнего периода до сегодняшнего дня. По вопросу об иранских заимствованиях в армянском я хотел бы указать на основательную книгу: G. Bolognesi, Le fonti dialettali degli imprestiti iranici in armeno, Milano, 1960. По транскрипции иностранных слов в армянском языке Киликии см. также: H. Vogt, Les occlusives de l'arménien, стр. 155.

<sup>21</sup> См. H. Hübschmann, Armenische Grammatik, I, Leipzig, 1895, стр. 14; его же, Persische Studien, Strassburg, 1895, стр. 186 и сл.

<sup>22</sup> См. H. Hübschmann, Armenische Grammatik, I, стр. 326 и примеры на стр. 386, 486.

это уже есть у Гарибяна, что фонетические изменения, относящиеся к древним индоевропейским глухим (простым и аспирированным), одинаковы по всей территории. Но это вовсе не означает — и к этому вопросу мы далее вернемся, — что поэтому должно было существовать первичное единство, распространявшееся на все армянские диалекты. Например, германское *þ* перешло в *d* во всех современных «западных» германских диалектах континента, а следовательно, как в голландском и в нижне-немецком, так и в верхнемецком; но голландский и нижнемецкий еще имеют *t* для *t* и *d* для *d* там, где эти звуки перешли в *z*(*ts*) или *ss* и соответственно в *t* в верхнемецком.

Другой вопрос, по которому Агаян нападает на Гарибяна, касается индоевропейских палатальных, звонких и звонких аспирированных, которых Гарибян не рассматривал. Однако что касается *ǰh*, результаты аналогичны результатам с *dh*, за исключением, естественно, того, что в итоге изменений мы имеем здесь аффрикаты; только в IV группе мы находим аспирацию, в то время как *dh* имеет своим продолжением *t*. Вот примеры Агаяна (для \**ǰheimerino* «зима»), приводимые для сопоставления с исходами *dh*:

I <i>dh ǰhmer</i>	V <i>th cmer</i>
II <i>dh ǰhmer</i>	III <i>d ǰmer</i>
VI <i>d ǰmer'nə</i>	VII <i>t cmer'nə</i>
{IV <i>t ǰhmer</i> }	

Результаты явно в пользу Гарибяна. Действительно, Агаян не настаивает на этом вопросе, который ему послужил только для того, чтобы показать, что во всех армянских диалектах *ǰh* дает аффрикаты, и, следовательно, сделать вывод о том, что, по его мнению, все эти диалекты должны были происходить из древнеармянского языка. Между тем это равносильно тому, как если бы он утверждал, что поскольку иранские языки имеют *ǰh* > *z*, они также (как, впрочем, и славянские языки) должны вести свое происхождение от древнеармянского. Такие выводы подсказываются рассуждениями, в основе которых лежит родословное древо Шлейхера. Но сейчас 1961 год, и лингвистика начала уже освобождаться от подобных наивных схем <sup>23</sup>.

Для древнего звонкого палатального *ǰ* имеются, по Агаяну, следующие соответствия (я ставлю для сравнения отражение *d* в тех же диалектных группах):

I <i>d j</i> или <i>c</i>	V <i>d j</i> или <i>c</i>
II <i>t, -d-</i> , иногда <i>j</i>	III <i>d j</i>
VI <i>t c</i>	VII <i>t c</i>
IV <i>d j</i> или <i>c</i>	

Итак, в VI, III группах мы имеем звонкую аффрикату рядом со звонкой; в I, II, IV, V в большинстве случаев наличествует колебание между звонкой и глухой, но, как мне кажется, звонкая чаще там, где находится звонкая, глухая там, где находится глухая. Здесь нужно было бы располагать обильным материалом лингвистического атласа, и многие вещи были бы яснее; во всяком случае следует заметить: 1) что второй элемент аффрикаты, возможно, сыграл роль в сохранении или утрате звонкости первого; 2) что, во всяком случае, это колебание глухого и звонкого не находит объяснения, если исходить из древнеармянского, где имеется только *c*.

Другое «генеалогическое» рассуждение находим на стр. 42: индоевропейский *u*, за исключением некоторых случаев, в которых мы находим *v*,

<sup>23</sup> То же замечание относится к положению о переходе в спиранты древних звонких аспират в позиции между гласными (*bh* > *v* и т. д.). Это явление присуще всем армянским диалектам. Здесь можно было бы думать о переходе звонких аспират в звонкие спиранты между гласными как о единственном, проникшем в армянский из той широкой по своему охвату изоглоссы, которая распространилась от предгерманского к преиранскому, включив большую часть индоевропейского мира, и которая вне армянского или — лучше сказать — вне некоторых армянских территорий (см. ниже) охватывает звонкие аспираты во всех позициях.

дал гуттуральный, представленный как *g*, *gh*, *k* или *kh*, смотря по диалектам и аналогично отражениям древнего *gh*. Поэтому здесь должно было бы быть первое изменение в *g* (которое мы находим в древнеармянском), и лишь впоследствии это *g* дифференцировалось. Но так ли это? Только процесс гуттурализации является общим. Он распространился на всю армянскую территорию; но, как было сказано ранее о заимствованиях из иранского (случай *bazuk/bhazug*), можно легко предположить, что, распространяясь, эта гуттурализация давала *g* или *gh*, или *k* или *kh*, смотря по звуку, который в системе отдельного диалекта представлял тот звук, при воспроизведении которого происходила инновация. В связи с этим я хотел бы также привести замечание Г. Фогта, которое мне кажется достойным упоминания: если от \**nikmti* «20» или подобных мы находим в классическом армянском *khsan*, возможно, что здесь *kh* представляет собой оглушение *gh*- перед *s*, что свидетельствовало бы в пользу чтения как *gh* того, что мы транскрибируем через *g* в древнеармянском<sup>24</sup>.

\*

Я привел наиболее важные положения критики Э. Б. Агаяна. Теперь необходимо сообщить некоторые заключения, вытекающие из проблемы в целом.

На стр. 51 Агаян обращается к группировке диалектов, к которой пришел его противник, и пишет: «Наконец, необходимо также отметить, что, сгруппировав армянские диалекты, основываясь только на системе взрывных, А. С. Гарибян совершенно игнорирует принятую в армянской диалектологии (и самим же А. С. Гарибяном) основную морфологическую классификацию».

Здесь мы также оказываемся перед старыми генеалогическими схемами. Классификация может быть сделана только постепенно по определенным критериям; очевидно, что если бы я захотел классифицировать книги какой-нибудь библиотеки, я группировал бы их каждый раз различно, в зависимости от того, по какому признаку нужно было бы произвести их расстановку — по языку, на котором книги написаны, или по их тематике, по их формату или по цвету обложки и т. д. Так же мы можем классифицировать диалекты армянского (и любого другого языка) по определенным чертам вокализма, по консонантизму, по типам склонения, по типам спряжения и т. д., получая каждый раз различные группировки, которые соответствуют различным аспектам строя языка и различным эпохам, в которые отдельные изоглоссы распространились. Когда эти изоглоссы будут совпадать в большом числе (довольно редко случается, что они совершенно совпадают; всегда имеются другие изоглоссы, группирующиеся по-другому), тогда мы можем сказать, что соответствующие диалекты были между собой в длительном контакте на протяжении долгого времени. Изоглоссы распространяются каждая в свое время и каждая в определенном районе; именно через их посредство мы можем восстановить, где могла сложиться определенная традиция, совпадающая с одними традициями, то с другими. В совокупности это и составляет то, что называют различными родственными отношениями<sup>25</sup>.

\*

Как образовалось армянское диалектное единство? Конечно, Гарибян прав, когда видит в армянских диалектах отражение языка (или языков) «аборигенов», которые затем, с точки зрения антропологии, можно сказать с уверенностью, составили будущую этническую массу армянского народа. Но по сути дела прав также Георгиев, предполагая несколько

<sup>24</sup> H. Vogt, Les occlusives de l'arménien, стр. 152.

<sup>25</sup> См. мою статью «Parenté linguistique» («Lingua», III, 1, 1952, стр. 3 и сл.), перепечатанную в кн.: V. Pisanelli, Saggi di linguistica storica, Torino, 1959, стр. 29 и сл.

индоевропейских компонентов этой этнической группы и ее диалектов, даже если выдвинутая им идентификация представляется неприемлемой. Итак, мы скажем, что несколько индоевропейских племен попали на территорию, которая только позднее стала называться армянской<sup>26</sup>; здесь они смешались с местным населением, и из этого смешения образовалось несколько говоров, с самого начала более или менее различавшихся между собой (при наличии, однако, многих общих изоглосс), а затем сблизившихся и составивших соответствующую диалектную систему. Возможно, что эти изоглоссы происходили из различных центров (из них то один, то другой время от времени становились доминирующими), но, может быть, всего интенсивнее они исходили из одного центра (как, например, большая часть изоглосс, объединяющих современные английские диалекты, исходит из Лондона); однако это не означает, что когда-либо здесь был «общearмянский», как никогда не было «общегерманского» и т. п. в том смысле, который придавали этим терминам Шлейхер и младограмматики. И прежде всего эти изоглоссы не всегда охватывали всю данную территорию.

Если мы бросим взгляд на некоторые из явлений, о которых речь шла выше, мы увидим, что эволюция глухих и глухих аспират одинакова для всех диалектов, так же как и переход палатальных в спиранты (*s*) или в аффрикаты (*c*, *ç*, *j*, *jh*), *ç* в *g* и др. Наоборот, индоевропейские простые звонкие и звонкие аспираты, если рассматривать их с точки зрения способа их артикуляции, развивались по-разному. Возвращаясь к схеме на стр. 49, мы видим, что вместо древнего четверного подразделения способов артикуляции в индоевропейском в армянских диалектах (если исключить редкое *x* < *kh*) взрывные имеют иногда тройную систему (так в группах I, II, VI и IV), иногда двойную (в группах V, III, VII). Обстоятельство это не является результатом передвижения («Lautverschiebung»), аналогичного германскому, но представляет собой упрощение, поскольку, кроме слияния глухих и глухих аспират в единую серию (за исключением тех глухих, которые стали спирантами, исчезли или ассибилизировались: *p* > *h*, *w*; *t* > *y*, *w*; *k̄* > *s*) мы находим либо сохранение звонких аспират и простых звонких, отличающихся друг от друга и все вместе от серии глухих аспират (группы I, II, VI и IV), либо же в группах III и VII звонкие аспираты и простые звонкие совпали, или в группе V звонкие аспираты сохранили свою индивидуальность по отношению к простым звонким, но совпали с глухими аспиратами. Нет никакого основания считать, что *dh* (и т. д.) I и II группы не продолжают прямо индоевропейские *dh* (и т. д.) и что *th* не является оглушением такого *dh*<sup>27</sup> или лучше его совпадением с уже существующим *th*. И также там, где мы находим *d* (и т. д.), соответствующие индоевропейскому *d* (и т. д.), проще всего считать, что речь идет о прямой преемственности<sup>28</sup>.

Вполне вероятно, что превращение тройной системы в двойную могло явиться следствием существования аналогичной системы согласных у тех, кого Гарибян называет «аборигенами». Вследствие этого действительное изменение в способе артикуляции имеется для звонкой аспираты и для простой звонкой только в группах VI, IV, III, VII. Здесь необходимо было бы обратиться к лингвистической географии, чтобы проследить способ распространения соответствующих изоглосс. Или скорее можно было бы привести убедительную параллель с распространением немецкого передвижения («Lautverschiebung») в различных диалектах. В диалектах

<sup>26</sup> Считают, что название этой территории было *Haïsa* — *Azzi* (приводится по книге: Гр. К а п а н ц я н, Историко-лингвистические работы. К начальной истории армян, Ереван, 1956, стр. 1 и сл.)

<sup>27</sup> Учитывая многочисленные отношения между греческим и армянским, было бы уместно поставить вопрос, имеют ли эти *th*, *ph*, *kh* < *dh*, *bh*, *gh* что-либо общее с аналогичным греческим явлением.

<sup>28</sup> См. об этом: Н. V o g t, Les occlusives de l'arménien, стр. 148, 153 и сл.

верхненемецких, при различном распределении других изоглосс, фонетических, морфологических и синтаксических, мы находим, что в баварском и алеманнском изменились как древние глухие (в аффрикаты или долгие спиранты), так и древние звонкие (в глухие, которые, однако, иногда остаются звонкими); двигаясь далее на север, мы видим, что глухие по-прежнему меняются, но переход в аффрикаты ослабевает по мере того, как приближаемся к северу, — прежде всего для *k*, затем для *p*, а иногда для *t*, в то время как звонкие остаются без всякого изменения, и т. д. Известно, что современный верхненемецкий диалектный тип является результатом конвергенции совершенно различных германских диалектов, одно время разделенных даже территориально, прежде всего западнофранконского, с одной стороны, и, с другой, баварско-алеманнского, сложившегося в своих существенных чертах на основе диалекта приэльбских германцев.

Установив это, скажем в заключение, что попытка Гарибяна, как бы ни судить в частности о ее отдельных конкретных результатах, достойна самого пристального внимания. Очень возможно (абсолютная уверенность в вопросах подобного рода гарантируется довольно редко), что во многих армянских диалектах следует признать наличие простых звонких и звонких аспират индоевропейского происхождения или — лучше сказать — определенной части индоевропейской системы согласных<sup>29</sup>, которые сохранились без изменений по крайней мере в некоторых позициях (это ограничение имеет значение особенно для звонких аспират в интервокальном положении и после *r*).

После того, что мы сказали, вопрос, поднятый Э. Бенвенистом и Г. Фогтом относительно значения *b*, *d*, *g* в древнеармянском, остается нерешенным. Поскольку совершенно невероятно, чтобы все армянские диалекты прошли через единую общую стадию, представленную древнеармянским, рассуждения обоих ученых не имеют значения; остается сомнительным также, совпадает ли древнеармянский с I или VI группой Гарибяна. Факт с *khsan*, приводимый Г. Фогтом (см. выше стр. 53), не кажется мне достаточным для разрешения такого важного вопроса. Как мне намекнул в частной беседе мой друг и бывший ученик Дж. Болоньези, можно было бы привести для чтения древнеармянских *b*, *d*, *g* как звонких аспират более веские основания. Но я оставляю за ним возможность изложить эти основания и пересмотреть вопрос в близком будущем.

Перевела с итальянского Г. Г. Лебедева

<sup>29</sup> Нельзя утверждать, что все индоевропейские диалекты имели звонкие аспираты или хотя бы серию звуков, отличающихся от простых звонких; невозможно доказать существование подобного различия для тех диалектов, от которых образовались балтийские и славянские языки, и, может быть, для некоторых других. Индоевропейский не является тем совершенным и одинаковым во всех своих частях «праязыком» (protolingua), фантастический образ которого был передан Шлейхером его последователям. Такой «праязык» представляет собой результат выравнивания, подобно единству армянских диалектов, о котором говорилось выше, или единству немецких диалектов, или любому другому единству, предполагаемому для таких группировок, какими являются «германский», «славянский» и т. п. Ср. в связи с этим мои работы: «Sull'indeuropeo ricostruito» (в кн.: V. P i s a n i, Saggi di linguistica storica, стр. 61 и сл.; франц. перевод — в «Lingua» VII, 1958, стр. 337 и сл.); «Indogermanisch und Sanskrit» («Zeitschr. für vergleichende Sprachforschung», LXXVI, стр. 43 и сл.), а также «La ricostruzione dell'indeuropeo e del suo sistema fonetico» («Archivio glottologico italiano», XLVI, 1, 1961).

У. Ф. ЛЕМАН

ОБ АРМЯНСКОЙ СИСТЕМЕ СМЫЧНЫХ И ЕЕ СООТНОШЕНИИ  
С ПРОТОИНДООЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМОЙ

В недавней работе проф. А. С. Гарибяна, посвященной армянской фонологии (ВЯ, 1959, 5), тезисы которой были поддержаны в статье Ж. Фурке и В. И. Георгиева (ВЯ, 1959, 6 и ВЯ, 1960, 5)<sup>1</sup>, приводятся неожиданные данные относительно протоиндоевропейской фонологической системы. Ввиду того, что в настоящее время наличие звонких придыхательных в восточноармянском и соответственно также в древнеармянском не подлежит сомнению, вряд ли следует специально останавливаться на концепции (в наше время она особенно горячо отстаивалась Э. Прокошем), согласно которой второй порядок протоиндоевропейских смычных был фрикативным. До недавнего появления указанной серии статей при рассмотрении армянских смычных индоевропейцы опирались главным образом на концепцию А. Мейе<sup>2</sup>. Однако взгляды Мейе, содержащиеся во втором издании «Esquisse», были отвергнуты им самим значительно раньше<sup>3</sup>. Уже в 1922 г. в ответ на блестящую статью Х. Педерсена<sup>4</sup> А. Мейе писал, что древнеармянские звуки, транскрибируемые *bdgjĵ*, были звонкими аспирированными смычными. Ввиду того, что в армянском сохраняются фонетические особенности второго протоиндоевропейского порядка (*b<sup>h</sup>d<sup>h</sup>g<sup>h</sup>g<sup>wh</sup>*), а в каждом ряду сохраняются три элемента, армянскую систему смычных можно считать одной из самых древних среди индоевропейских языков. Изучение этой системы поэтому может способствовать нашему пониманию внутренних связей (arrangement) индоевропейских смычных.

Давно настало время провести структурный анализ соотношений в протоиндоевропейской системе смычных. Структурные соотношения протоиндоевропейских сонантов недавно подверглись специальному анализу<sup>5</sup>. Однако до сих пор все еще постулируется более простая система смычных в духе Ф. Боппа и А. Шлейхера. Пытаясь определить внутренние соотношения и характерные компоненты протоиндоевропейской системы смычных, необходимо прежде всего элиминировать те элементы, которые до сих пор переносятся в современные исследования из построений XIX в., основанных на фонетическом подходе. Речь идет о глухих аспирированных смычных и о фрикативных (кроме *s*). У нас также нет достаточных данных, чтобы постулировать более чем два велярных ряда (хотя подобную интерпретацию албанского материала мы находим у Х. Педерсена и Э. Хемпа). Для моих целей в настоящей статье вообще не имеет значения, являются ли два постулируемых велярных ряда велярным и лабиовелярным или палатальным и велярным, хотя я и указывал причины для постулирова-

<sup>1</sup> Ср. также статьи: W. S. Allen, Notes on the phonetics of an Eastern Armenian speaker, «Transactions of the Philological society», Oxford, 1950; H. Vogt, Les occlusives en arménien, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XVIII, Oslo, 1958; E. Benveniste, Sur la phonétique et la syntaxe de l'arménien, BSLP, LIV, 1, 1959.

<sup>2</sup> См. A. Meillet, Esquisse d'une histoire de l'arménien classique, 2-me éd., Vienne, 1936.

<sup>3</sup> Ср. E. Benveniste, указ. соч., стр. 54.

<sup>4</sup> H. Pedersen, Armenisch und die Nachbarsprachen, KZ, XXXIX, 1906.

<sup>5</sup> F. Edgerton, The Indo-European semivowels, «Language», XIX, 1943.

ния веллярных и лабиовеллярных<sup>6</sup>. Используемые здесь символы обусловлены моим положением о том, что протоиндоевропейская система смычных состояла из следующих элементов:

Порядок 1-й:  $p \ t \ k \ k^w$   
 Порядок 2-й:  $b^h \ d^h \ g^h \ g^{wh}$   
 Порядок 3-й:  $b \ d \ g \ g^w$   
 Порядок 4-й:  $s$

Обычно, как и здесь, эти элементы располагаются в соответствии с фонетической схемой. Хотя это и более предпочтительно, чем алфавитное расположение, которое мы все еще находим в некоторых работах, можно было бы значительно лучше понять протоиндоевропейское состояние и развитие из него различных диалектов, если бы мы определили внутренние структурные соотношения различных порядков, тем более что в настоящее время имеется достаточное количество материала для проведения такого исследования. Кроме фонетических данных, которые сообщаются в работе проф. А. С. Гарибяна, мы опираемся также на ограничения последовательности смычных в протоиндоевропейских корнях как в случаях, когда эти последовательности являются простыми (например, *CVC*), так и в случаях, когда за ними идет смычный (например, *CVCC*).

Давно известно, что имеются определенные ограничения одновременного использования элементов различных порядков в одном и том же корне<sup>7</sup>. Хотя эти ограничения и не являются абсолютными, число форм, не охватываемых ими, весьма невелико, причем такие формы встречаются только в узком кругу диалектов и часто носят онomatopoeический характер. Элементы порядков 4-го и 3-го могут встречаться с элементами трех других порядков, но не с элементами своего собственного порядка (например, *sek<sup>w</sup>*- «следовать», *sed*- «сидеть», *seg<sup>h</sup>*- «держать», *dek*- «получать», *b<sup>h</sup>eg*- «ломать», *g<sup>w</sup>es*- «тушить», *denk*- «кусать», *gemb<sup>h</sup>*- «кусать», *gers*- «поворачивать»).

Как уже указано, элементы 1-го порядка могут встречаться с элементами порядков 3-го и 4-го; они также встречаются с другими элементами 1-го порядка (например, *kap*- «схватить», *kat*- «бороться», *kerk*- «сбъживаться»). Однако за исключением случаев, когда им предшествует *s*, эти элементы не могут встречаться с элементами 2-го порядка. Наоборот, элементы 2-го порядка могут встречаться с другими элементами 2-го порядка (например, в *d<sup>h</sup>eg<sup>wh</sup>*- «гореть», *b<sup>h</sup>ewd<sup>h</sup>*- «замечать»), но не с элементами 1-го порядка.

Используя по одному элементу из каждого порядка, можно изобразить возможные расположения и ограничения последовательности следующим образом:

Порядок 4-й: *SET* *SED* *SED<sup>H</sup>* *TES* *DES* *D<sup>H</sup>ES*, но не *SES*  
 Порядок 3-й: *DEK* *DEG<sup>H</sup>* *DES* и наоборот, но не *DEG*  
 Порядок 2-й: *D<sup>H</sup>EG* *B<sup>H</sup>ED<sup>H</sup>* *B<sup>H</sup>ES* и наоборот, но не *B<sup>H</sup>ET*  
 Порядок 1-й: *PET* *PED* *PES* и наоборот, но не *PED<sup>H</sup>*

Несовместимость элементов 1-го и 2-го порядков является основной проблемой, объяснение которой мы должны попытаться найти (ограничения последовательности элементов одного и того же порядка в одном и том же корне можно объяснить диссимиляцией). Если сравнить ограничения последовательности сонантов в корне, например невозможность *TEWL-*,

<sup>6</sup> См. W. Ph. Lehmann, Proto-Indo-European phonology, Austin, 1952, стр. 8, 101—102.

<sup>7</sup> Cp. J. Schrijnen, Einführung in das Studium der indogermanischen Sprachwissenschaft (übersetzt von Dr. W. Fischer), Heidelberg, 1924, стр. 212; A. Meillet, Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes, 8-me éd., Paris, 1937, стр. 174.

то это ограничение можно объяснить стремлением избежать последовательности одинаковых компонентов. В протоиндоевропейской фонологической системе дифференциальный признак сонантов состоит в том, что они функционируют как гласные или согласные в изменяемом окружении. Мы полагаем, что две фонемы из ряда  $b, d, g, g^w$  были недопустимы в одном и том же корне, ибо лишь один компонент, входящий в их состав, обладал дифференциальным признаком; этот элемент условно можно назвать ненапряженным (*lax*). Мы полагаем далее, что  $b^h, d^h, g^h, g^{wh}$  и  $p, t, k, k^w$  были взаимоисключающими, так как в них входит один и тот же дифференцирующий компонент. Этот компонент мы назовем напряженным (*tense*).

Пытаясь объяснить своеобразную дистрибуцию порядков 1-го и 2-го (имеется в виду отсутствие ограничений встречаемости  $PET$  и  $B^hED^h$ , но невозможность  $PED^h$ ), мы должны предположить, что порядки 1-й и 2-й характеризовались более чем одним дифференцирующим компонентом. Таким путем мы объясняем возможность двух элементов каждого порядка в одном корне. Элементы обоих порядков были напряженными и противопоставлялись по дифференциальному признаку напряженности элементам 3-го порядка. Кроме того, элементы 1-го порядка противопоставлялись элементам 2-го и 3-го порядков по признаку глухости; элементы 2-го порядка противопоставлялись элементам 1-го и 3-го порядков по признаку аспирации. Однако основным противопоставлением протоиндоевропейских смычных было противопоставление по признаку ненапряженности/напряженности.

Таким образом, для каждого ряда протоиндоевропейских смычных можно постулировать следующие оппозиции:

	Глухие		Аспирированные
Ненапряженные		$d$	
Напряженные	$t$		$d^h$

Эта схема помогает нам не только понять дистрибуцию смычных в протоиндоевропейских корнях, но и позволяет дать простое объяснение процессов перехода смычных в различных языках. Вполне понятно, что система с таким неустойчивым противопоставлением компонентов не была стабильной. В иранском, славянском, балтийском, кельтском вторичный компонент аспирации был утрачен в пользу компонента озвончения, в результате чего получилась оппозиция  $t:d$ . В индийском параллелизм был достигнут после введения 4-го класса смычных, в результате чего получились оппозиции  $t:th$ :  $d:dh$ .

С типологической точки зрения интересно, что системы смычных, которые наиболее отделились от протоиндоевропейской системы в изменении числа порядков, остались наиболее стабильными. В греческом недифференцирующий компонент озвончения во 2-м порядке был утрачен, а аспирация стала дифференцирующим компонентом  $p^h$ , который противопоставлялся  $p$  и  $b$ . В итальянских языках оснога оппозиции компонентов также была изменена, причем рефлексy 2-го порядка характеризовались открытой артикуляцией (т. е.  $f, h$ ) в тех окружениях, в которых они не сливались с  $b, d, g$ .

В германском основа оппозиций была изменена: закрытая артикуляция была противопоставлена открытой, так как сильная артикуляция (*fortis articulation*) была утрачена, причем развилось противопоставление между смычным  $t < d$  и фрикативными  $\theta, \delta$ . Следует отметить, что постулируемые здесь протоиндоевропейские противопоставления могут помочь в понимании слияния  $t$  и  $d^h$  в некоторых позициях в германских языках. Если учесть наше прежнее допущение о противопоставлении глухих (*tepuces*),  $p, t, k, k^w$  и звонких (*mediae*)  $b, d, g, g^w$  и  $b^h, d^h, g^h, g^{wh}$ , это слияние представляется несколько неожиданным. Однако, если допустить, что в

эти два ряда ранее входил один и тот же дифференцирующий компонент (в противоположность 3-му порядку), их слияние можно легко понять.

В восточноармянском основное противопоставление было по признаку аспирации, причем в конце концов произошло оглушение протоиндоевропейских ненапряженных элементов:

$t^h$   $d^h$

В западноармянском основное противопоставление было по признаку звонкости, причем в оппозиции находились аспирированные и неаспирированные:

$t$   $d$

Как указывает проф. А. С. Гарибян, различные процессы дифференциации в этих двух и других разбираемых им диалектах произошли, по-видимому, в период, предшествующий классическому армянскому, хотя это обстоятельство, а также всеобъемлющий охват всех индоевропейских языков при исследовании не имеет решающего значения для моих целей в настоящей статье.

Подобно германскому, греческому и итальянскому языкам, армянский оказывается наиболее консервативным в сохранении тройного противопоставления протоиндоевропейских смычных. Изучение армянского языка может сыграть решающую роль при реконструкции несимметричной структуры протоиндоевропейских смычных, которая распалась на системы с относительно большими различиями. Если высказанные здесь положения приемлемы, они приведут нас к новым выводам. В самом деле, если германский, греческий, итальянский и армянский консервативны в развитии протоиндоевропейской системы смычных, то, опираясь на принципы лингвистической географии, эти языки можно считать периферийными в отличие от центральной группы индоевропейских языков, в которых в качестве инновации мы находим два порядка смычных. Далее предложенную протоиндоевропейскую систему смычных можно подвергнуть внутреннему анализу для обнаружения более ранней системы. Эта последняя, очевидно, не будет совпадать с той, которую предлагает Х. Педерсен<sup>8</sup>. Если же, с другой стороны, высказанные здесь положения окажутся неприемлемыми, то они могут вызвать необходимость дальнейшего анализа протоиндоевропейской системы смычных, чему будут способствовать данные А. С. Гарибяна относительно армянской системы смычных. Во всяком случае, принимая во внимание указанные выше соображения, не имеет больше смысла слепо перечислять протоиндоевропейские смычные, не учитывая внутренние соотношения между их порядками.

Перевел с английского М. М. Маковский

<sup>8</sup> См. Н. Pedersen, Die gemeinindoeuropäischen und die vorindoeuropäischen Verschlusslaute, Kopenhagen, 1951.

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

## К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Вряд ли следует специально доказывать необходимость четкой и последовательной классификации языков, входящих в определенную семью родственных языков. Классификация, хорошо продуманная и рационально построенная на основе применения научных приемов классифицирования языков, намного облегчает изучение истории языков. Она позволяет соблюдать в процессе изучения определенный порядок и последовательность, из-за отсутствия которых многие суждения об исторических судьбах отдельных языков могут оказаться ложными и ошибочными.

По своему типу классификация родственных языков является прежде всего генеалогической классификацией. В ее задачу входит выявление обособленных языковых единиц или групп языковых единиц внутри более обширного комплекса родственных языков, связанных общностью происхождения. Практика классифицирования языков знает два основных способа классифицирования. Первый из них можно назвать пассивной констатацией наличия в данное время определенных языков или групп языков, четкое разграничение которых является результатом их исторического развития. В качестве наиболее ярких примеров могут быть названы индоевропейские и финно-угорские языки в современном их состоянии. Отдельные группы языков, входящие в эти семьи, разграничены территориально. В результате длительного бытования на изолированных территориях в этих группах языков образовались весьма четко выраженные специфические черты абсолютно во всех сферах — в фонетике, в грамматическом строе и в словарном составе. Никто никогда не может спутать иранские языки с кельтскими или романские с германскими, подобно тому как никто никогда не может перепутать пермские языки с прибалтийско-финскими.

По-иному обстоит дело в другом случае, когда языковые единицы являются близкородственными, когда качественные различия между отдельными языками выражены менее ярко. В этих случаях исследователи должны прибегать к целой серии приемов. К категории таких языков относятся, например, языки тюркские, вопрос о классификации которых мы попытаемся рассмотреть в данной статье.

Разные исследователи пытались классифицировать тюркские языки, подходя к этому вопросу с различных точек зрения. В. А. Богородицкий классифицировал все тюркские языки по географическому, или территориальному, признаку, т. е. по месту расселения говорящих на тюркских языках народов. Он разделил все тюркские языки на следующие группы: 1) северо-восточная группа — якутский, тувинский и карагасский языки; 2) хакасская, или абаканская, группа — хакасский язык с его диалектами; 3) алтайская группа — алтайский язык с двумя ветвями (южной и северной) его диалектов и шорский язык; 4) западносибирская группа — наречия сибирских татар; 5) поволжско-приуральская группа — татарский и башкирский языки; 6) среднеазиатская группа — уйгурский, казахский, киргизский, узбекский и каракалпакский языки; 7) юго-западная группа — туркменский, азербайджанский, кумыкский, гагаузский и турецкий языки<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См. В. А. Богородицкий, Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками. 2-е, исправлен. и дополн. изд., Казань, 1953, стр. 9—16.

Выше уже упоминалось о том, что длительная территориальная изоляция является одним из важнейших факторов, способствующих образованию обособленных языков и языковых групп. Поэтому территориальный признак всегда и везде учитывается. Однако при этом сам по себе данный признак не может быть единственным. В истории народов нередко наблюдаются передвижения и перемещения целых этнических групп и языков. Язык, принадлежащий к одной группе, может быть перемещен в область распространения языка другой группы. Так, например, чувашский и татарский языки нельзя объединить в одну группу, хотя они расположены на смежных территориях.

Некоторые тюркологи, например академик В. В. Радлов, также придавали большое значение территориальному признаку. В. В. Радлов делил четыре группы тюркских языков — восточную, западную, среднеазиатскую и южную. К восточной группе он отнес языки алтайских, барабинских, обских, енисейских тюрков и чулымских татар, в том числе карагасский, хакасский, шорский, тувинский и др. К западной группе отнесены наречия татар Западной Сибири, киргизский, казахский, башкирский, татарский и условно — каракалпакский; к среднеазиатской группе — уйгурский и узбекский языки; к южной группе — туркменский, азербайджанский и турецкий языки и некоторые южнобережные говоры крымско-татарского языка<sup>2</sup>. Особо рассматривает Радлов якутский язык как не относящийся ни к одной из этих групп.

Вместе с тем В. В. Радлов пытается выделить для каждой из групп специфические фонетические признаки. Так, например, к числу характерных фонетических признаков языков западной группы Радлов относит: наличие глухих согласных *k*, *t*, реже *p* в начале слова (ср. *kün* «день» вместо *gün* в южной группе), наличие звонкого *b* в начале слова *baş* «голова» (вместо, казалось бы, надлежащего *paş*), наличие *s*, *z* и *ş* во всех позициях и т. д.<sup>3</sup> В качестве отличительных фонетических признаков южной группы выдвинуты такие признаки, как преобладание звонких *g*, *d*, *b* в начале слова, лабиализация узких гласных в аффиксах и т. д.<sup>4</sup> Недостатком метода классификации языков, предложенного Радловым, является тот факт, что он сначала делил языки на группы по территориальному признаку, а затем уже подыскивал для каждой группы фонетические признаки.

Различительные фонетические признаки выделены у Радлова недостаточно четко. Так, например, наличие звонкого *b* в начале слова, представленное как отличительный признак языков западной группы (*baş* «голова» вместо *paş*), может быть в равной мере рассматриваемо как признак южной и среднеазиатской групп. Наличие *o*, *ö* только в первых слогах фигурирует у Радлова как отличительный признак языков среднеазиатской группы и выдвигается одновременно как отличительный признак языков южной группы и т. д.

Иной подход к классификации тюркских языков обнаруживается в работе Ф. Е. Корша. Главным для Корша является выделение отличительных фонетических и морфологических признаков группы, и только потом он распределяет языки по географическому признаку при условии, если определенный комплекс отличительных признаков укладывается в определенный географический ареал. Интересно в связи с этим привести одно высказывание Ф. Е. Корша: «Я думаю, что для определения сходства или разницы надобно взять какой-нибудь один признак, или, лучше, два признака, совершенно определенных, и их провести последовательно по всем турецким языкам и наречиям. Признаки эти должны быть существенно различны: один из них должен быть заимствован из фонетики, а другой

<sup>2</sup> W. R a d l o f f, *Phonetik der nördlichen Türkssprachen*, Leipzig, 1882, стр. 280—281.

<sup>3</sup> Там же, стр. 285.

<sup>4</sup> Там же, стр. 290.

из морфологии. Там, где оба эти признака совпадают, мы можем признать действительно более близкое родство, нежели там, где налицо лишь один из них»<sup>5</sup>.

Наиболее существенным классификационным признаком в области фонетики Корш считает отражение древнего задненёбного  $\gamma$ : в одних тюркских языках этот звук сохранился, а в других он перешел в неслоговое  $\mathfrak{z}$ ; ср., например, турецк. *daγ*, татар. *taγ* «гора». Этот признак действительно проходит через целый ряд языков, а сохранение  $\gamma$  или переход  $\gamma > \mathfrak{z}$  позволяет разделить их на самостоятельные группы.

В качестве морфологического признака Ф. Е. Корш привлек формы настоящего времени. В одних тюркских языках настоящее время образуется на базе причастия на *-r* (например, азерб. *galyr* «остаётся»), в других языках — описательно, через посредство деепричастия на *-a* или *-e* и вспомогательного глагола *tur-* «стоять, пребывать» и *jat-* «лежать»<sup>6</sup>. В языках целого ряда тюркских народов эти два признака — фонетический и морфологический — постоянно оказываются совмещенными таким образом, что в тех языках, где во всех положениях сохраняется звук  $\gamma$ , настоящее время образуется посредством причастия на *-r*, тогда как в языках, где  $\gamma$  превращается в неслоговое  $\mathfrak{z}$ , настоящее время образуется от деепричастия на *-a*.

Учитывая эти признаки, Ф. Е. Корш предполагает, что тюркские языки первоначально разделились на две группы — северную и южную. В северной группе общетюркский звук  $\gamma$  перешел в  $\mathfrak{z}$ , а настоящее время образуется через посредство деепричастия на *-a*; в южной группе  $\gamma$  сохраняется, и настоящее время образуется от причастия на *-r*. Позднее южная группа разбилась на две группы — восточную и западную. Настоящее время образуется в обеих группах языков от причастия на *-r*, но звук  $\gamma$  получил разное отражение: в восточной группе этот звук сохраняется, а в западной исчезает после согласных (ср. турецк. причастие *kalan* от глагола *kalmaq* «оставаться», которое в языках восточной группы представлено как *kalγan*). К западной группе Корш относит турецкий (османский), азербайджанский и туркменский; к восточной группе — языки преимущественно мертвые: орхонский, енисейских надписей, уйгурский, чагатайский и половецкий, а из живых — карагасский и хакасский; к северной — языки казахов, киргизов, алтайцев, волжских татар, тюрков Северного Кавказа<sup>7</sup>. Вместе с тем Корш считает целесообразным выделить группу смешанных тюркских языков, сохраняющих особенности восточных и западных групп одновременно. К этой группе он относит языки тюркских народов, обитающих между Алтаем и Енисеем. Звук  $\gamma$  в этих языках сохраняется, но настоящее время образуется через посредство деепричастия на *-a*<sup>8</sup>.

Конечно, статья Ф. Е. Корша не разрешает проблемы классификации тюркских языков в целом; тем не менее в ней четко сформулированы некоторые полезные приемы классификации, которые сводятся к следующему: необходимым условием для выделения группы языков является подбор типичных отличительных признаков, представляющих определенную совокупность фонетических и морфологических черт. Именно эти признаки отличают данную группу языков от другой и свидетельствуют о различии их исторических судеб в период после распада языка-основы. При классификации необходимо учитывать отдельные случаи смешения языков разных групп, результатом которого может быть сосуществование в данной языковой группе признаков двух или нескольких языковых групп.

Попытка уточнить классификационные признаки была сделана в даль-

<sup>5</sup> Ф. Корш, Классификация турецких племен по языкам, «Этнографическое обозрение», LXXXIV—LXXXV, 1—4, М., 1910, стр. 120.

<sup>6</sup> Там же, стр. 121.

<sup>7</sup> Там же, стр. 123.

<sup>8</sup> Там же, стр. 124.

нейшем А. Н. Самойловичем. Привлекая некоторые дополнительные признаки исключительно из области фонетической, А. Н. Самойлович рас-пределил все тюркские языки на шесть групп: «Р»-группа, или булгарская; «Д»-группа, или уйгурская, иначе северо-восточная; «Тау»-группа, или кыпчакская, иначе северо-западная; «Таг-лык»-группа, или чагатайская, иначе юго-восточная; «Таг-лы»-группа, или кыпчакско-туркменская; «Ол»-группа, иначе юго-западная<sup>9</sup>.

Схемы классификации тюркских языков, предложенные В. В. Радловым, Ф. Е. Коршем и А. Н. Самойловичем, послужили стимулом для новых попыток классификации тюркских языков. Эти попытки долгое время шли в основном по линии комбинирования ранее предложенных классификационных схем. Так, например, Г. Рамстедт подразделяет тюркские языки на шесть основных групп<sup>10</sup>: 1) чувашский язык; 2) якутский язык; 3) северная группа (по Рясянену — северо-восточная). К этой группе принадлежат все языки, распространенные на Алтае и в прилегающих к нему местностях; 4) западная группа (по Рясянену — северо-западная), куда входят языки: киргизский, казахский, каракалпакский, ногайский, кумыкский, карачаевский, балкарский, восточнокараимский и западнокараимский, татарский и башкирский. К этой же группе относятся и сохранившийся в памятниках куманский, а также кыпчакский, почему вся группа и получила название «кыпчакской»; 5) восточная группа (по Рясянену — юго-восточная): новоуйгурский и узбекский; 6) южная группа (по Рясянену — юго-западная): туркменский, азербайджанский, турецкий и гагаузский.

В недавно появившемся большом коллективном труде «*Philologiae turcicae fundamenta*» И. Бенцинг и К. Менгес дают новую схему классификации тюркских языков. Все тюркские языки разделяются на пять групп: 1) булгарская группа (чувашский, вымерший булгарский); 2) южная, или огузская группа (турецкий, румелийские и анатолийские диалекты, гагаузский, крымско-османский, азербайджанский, туркменский); 3) западная группа (караимский, карачаевский, балкарский, кумыкский, поволжно-татарский, крымско-татарский, башкирский, казахский, каракалпакский, ногайский, киргизский); 4) восточная, или уйгурская, группа (узбекский, новоуйгурский, сары-уйгурский); 5) северная группа (алтайский, ойротский, шорский, хакасский, якутский, долганский)<sup>11</sup>.

Член-корр. АН СССР С. Е. Малов со своей стороны предложил классификацию тюркских языков, в основу которой положен довольно своеобразный подход к языкам, а именно — их возрастной признак<sup>12</sup>. С. Е. Малов все тюркские языки разделяет на древние и новые. Критерием этого деления является присутствие или отсутствие *j* в известных позициях в слове, главным образом в середине существительных, например *ajaq* «нога», и в конце глагольных основ, например *qoj-* «клади». Если в ряде слов в известных позициях наличествует *j*, то языки, которым принадлежат эти слова, можно назвать новыми тюркскими языками. Те же языки, в которых вместо этого *j* в тех же словах наличествуют другие звуки, будут древними тюркскими языками<sup>13</sup>. Новыми тюркскими языками, по мнению Малова, являются: азербайджанский, алтайский, башкирский, гагаузский, казахский, караимский, каракалпакский, киргизский, кумандинский, кумыкский, кыпчакский, ногайский, ойротский, печенежский, по-

<sup>9</sup> А. С а м о й л о в и ч, Некоторые дополнения к классификации турецких языков, Пг., 1922, стр. 15.

<sup>10</sup> М. Рясянен принял за основу именно эту классификацию, дополнив ее данными Радлова и некоторыми другими (см. М. Р я с я н е н, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955, стр. 28, 29).

<sup>11</sup> J. V e n z i n g, K. H. M e n g e s, Classification of Turkish languages, в кн.: «*Philologiae turcicae fundamenta*», I, Wiesbaden, 1959, стр. 2, 3, 4.

<sup>12</sup> С. Е. М а л о в, Древние и новые тюркские языки, ИАН ОЛЯ, 1952, 2.

<sup>13</sup> Там же, стр. 139.

ловецкий, саларский, татарский, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, чагатайский, чулымский.

К древним тюркским языкам, по схеме С. Е. Малова, принадлежат чувашский вместе с ныне вымершими языками болгарским и хазарским, в которых вместо *j* имеется *r* (ср. чуваш. *ura* «нога», *xur* «класть»); язык рунической письменности («огузский»), язык древней уйгурской письменности, тувинский язык, тофаларский, старочагатайский, где вместо *j* наличествует *d* (т. е. *adaq*, *god-*); якутский язык, где вместо *j* имеется *t* (*atax*, *quot-*); хакасский, шорский и уйгурский (язык желтых уйгуров), в которых вместо *j* имеется *z* (*azaq*, *qoz*). Такое же деление на древние и новые тюркские языки производит Малов и по другому фонетическому признаку — рефлексам отражения  $\gamma$  (заднеязычного). В более новых языках этот звук изменяется и с течением времени дает или полугласный звук или долгий гласный, в более старых языках он сохраняется<sup>14</sup>.

В самое последнее время Н. А. Баскаков предложил новую классификацию тюркских языков. Основные принципы этой классификации сформулированы следующим образом: «... при построении классификации языков внутри, например данной тюркской группы языков, необходимо прежде всего исходить из истории тюркских народов, т. е. изучить те последовательно развившиеся роды, племена, племенные союзы и народности, а также и те социально-экономические формации, в условиях которых формировались как отдельные тюркские племена, союзы племен и народности, так и их языки»<sup>15</sup>. Кроме того, Н. А. Баскаков рекомендует учитывать не только схождения языков внутри данной группы или подгруппы, но также их расхождения.

В результате учета всех этих требований Н. А. Баскаков предлагает следующую классификационную схему: а) западнохуннская ветвь тюркских языков, внутри которой выделены группы: болгарская; огузская с подгруппами — огузо-туркменской, огузо-болгарской и огузо-сельджукской; кыпчакская с подгруппами — кыпчакско-болгарской, кыпчакско-половецкой и кыпчакско-ногайской; карлукская с подгруппами — карлукско-уйгурской и карлукско-хорезмийской; б) восточнохуннская ветвь тюркских языков, внутри которой выделяются группы: уйгуро-огузская с подгруппами уйгуро-тюкюйской, якутской и хакасской; киргизско-кыпчакская группа,<sup>16</sup>

\*

В итоге рассмотрения различных схем классификации тюркских языков обнаруживаются следующие приемы классифицирования: 1) учет территориального признака; 2) установление отличительных фонетических и морфологических признаков языковой группы; 3) установление элементов языкового взаимодействия; 4) выделение одного языка в самостоятельную группу, если последний (например, якутский) резко отличается по своему качественному своеобразию; 5) классифицирование языков по возрастному признаку; 6) построение классификационной схемы в тесной связи с историей народов, говорящих на данных языках. Нам представляется целесообразным прибавить к этим шести приемам еще седьмой — «установление лексических признаков», который, к сожалению, при классификации тюркских языков почти не практикуется. Рассмотрим каждый из перечисленных приемов в отдельности.

### 1. Учет территориального признака

Учет территориального признака не составляет особой проблемы, поскольку различное территориальное распространение языков является

<sup>14</sup> Там же, стр. 140—141.

<sup>15</sup> Н. А. Б а с к а к о в, Тюркские языки, М., 1960, стр. 95—96.

<sup>16</sup> Там же, стр. 103—218.

непосредственно данным. Следует лишь заметить, что учет этого признака является обязательным, так как территориальное разобщение относится к одному из наиболее мощных факторов образования самостоятельных языковых единиц.

## 2. Установление отличительных фонетических и морфологических признаков языковой группы

В процессе выделения отличительных фонетических и морфологических признаков языковой группы главная трудность состоит в том, что не каждая общая особенность или изоглосса может служить основанием для выделения рассматриваемых языков в особую группу. Приведем некоторые примеры. Переход более старого *ǰ* в *c* наблюдается одновременно в западном (мишарском) диалекте татарского языка, в южном диалекте караимского языка и в языке так называемых чулымских татар; переход древнего *ǰ* в *s* обнаруживается одновременно в казахском языке, в сагайском диалекте хакасского языка и в якутском; превращение древнего задненебного *q* в *k* передненебный отмечено не только в анатолийско-турецком языке, но и в касимовском говоре татарского языка; палатализация согласных перед гласными переднего ряда наблюдается не только в чувашском, но она также свойственна и караимскому языку; ассимиляция начального *l* суффикса мн. числа *-lar* предшествующему согласному основы свойственна не только башкирскому, но также казахскому и киргизскому языкам. В области морфологии можно найти также немало изоглоссных явлений. Отсутствием элемента *q(γ)* в показателе дат.-направит. падежа и начальном *n* в суффиксе род. падежа характеризуются не только языки южной группы — турецкий, азербайджанский и туркменский, но также и чувашский язык. Точно так же инфинитив долженствовательного действия на *-maly, -mele* свойствен не только языкам южной группы — турецкому, азербайджанскому и туркменскому, но он также присущ и чувашскому языку, где имеет окончание *-malla, -melle*, а также некоторым говорам татарского языка.

Все указанные явления могут быть названы явлениями конвергентными, но не отличительными признаками группы языков. В связи с этим может возникнуть вопрос, в чем разница между характерным признаком языковой группы и конвергентным явлением. В отличие от конвергентного явления характерный признак обладает одной весьма важной особенностью: он обычно выступает как отдельное звено целой цепи отличительных признаков — как фонетических, так и морфологических. С другой стороны, существенно то, что отличительный признак группы языков должен иметь одинаковый объем распространения в различных языках, составляющих языковую группу, тогда как конвергентные явления чаще всего бывают распространены в разных языках неодинаково. Если даже окажется, что объем распространения конвергентных признаков приблизительно одинаков, все равно при этом будет отсутствовать необходимое условие, позволяющее объединить языки в одну группу: конвергентные явления не составляют комплекса, который бы отличал данную языковую группу. Поясним эти положения конкретными примерами.

Такой фонетический признак, как, например, изменение древнего задненебного *γ* в конце закрытого слога и в интервокальном положении в тюркских языках северо-западной группы, всегда бывает связан с рядом морфологических признаков — таких, как настоящее время, образуемое посредством деепричастия на *-a, -e*, и причастие на *-γan*. Напротив, сохранение *γ* при тех же условиях в языках южной группы оказывается совмещенным с такими морфологическими признаками, как настоящее время на *-r* и причастие на *-myş*. Объем распространения этих признаков в каждом из языков, входящих в соответствующую группу, будет приблизительно

но одинаков, т. е. не наблюдается таких случаев, когда в каком-либо языке, скажем, языке северо-западной группы, частотность употребления причастия на *-çan* составляет 100%, а в другом языке той же группы — только 25% и остальные 75% приходится на причастие на *-muş*. При неодинаковости объема распространения сходного признака наличие такого признака не может свидетельствовать о близком генетическом родстве рассматриваемых языков (например, спорадическое употребление причастия на *-muş* и некоторых других «огузских» грамматических форм в так называемом «старочагатайском» языке не могут рассматриваться как черты генетической близости этого языка к языкам южной группы).

Переход древнего *ǰ* в *s* в казахском, хакасском и якутском является отдельным, совершенно изолированным конвергентным явлением, поскольку оно не составляет отдельного звена целой цепи отличительных признаков, позволяющих выделить данные языки в особую группу. В азербайджанском и татарском языках имеется *a* переднего ряда; ср., например, варианты окончания мн. числа *-lar* и *-lär*. Однако этот признак — чисто случайное конвергентное явление, поскольку он также не отдельное звено целого ряда признаков, которые позволяли бы объединить в особую группу татарский и азербайджанский языки.

Этот же принцип может быть в равной степени применен и к области морфологии. Отсутствие элемента *n* в окончаниях род. и вин. падежей и элемента *g* в окончании дат.-направит. падежа, как уже говорилось выше, является чертой, в одинаковой мере присущей как чувашскому языку, так и языкам юго-западной группы — турецкому, азербайджанскому, туркменскому и гагаузскому. Однако рассматривать эту черту как отличительный признак перечисленных языков мешает тот факт, что в данном случае нет суммы отличительных признаков, позволяющих выделить указанные языки в особую группу.

Выше уже говорилось о том, что неодинаковый объем распространения признаков является показателем конвергентного явления. В башкирском и якутском языках *s* в интервокальном положении переходил в *h*; ср. башк. *öfö qalahu* «город Уфа», татар. *öfö qalasy*; якут. *byhah* «нож» (вместо *bysax* < *byşaq*, *pyşaq*). Однако объем распространения этого признака в якутском и башкирском языках разный. В башкирском языке переход *s* в *h* затрагивал также и начальное *s*, чего не наблюдается в якутском, где начальному *s* в общетюркских словах соответствует ноль звука; ср. татар. *şas* «волосы», якут. *as*, татар. *sin* «ты», якут. *än*.

Неодинаковость объема распространения обычно свидетельствует о разном происхождении, казалось бы, одного и того же явления в разных языках. Интервокальный *s* в башкирском и якутском превращался в *h*. Однако если в башкирском в *h* превращался исконный *s*, то в якутском в *h* превращался *s* вторичный, который имел своим источником совершенно другие звуки; ср. якут. *byhah*, татар. *pyşaq*, где интервокальный *h* произошел из *ç*, и якут. *kyha* «его дочь», где *h* возник из первоначального *z* (татар. *qyz*).

В азербайджанском и татарском языках имеется *a* переднего ряда, но *ä* в азербайджанском распространено в полном объеме, в татарском же — только в отдельных словах и окончаниях. Надо сказать, что звук *a* переднего ряда в азербайджанском языке в большинстве случаев развивался из первоначального *e* (ср. турецк. *gel-* «приходить» и азерб. *gäl-*), тогда как гласный *ä* в современном татарском языке в таких словах, как *jäş* «молодой», *žäi* «лето», представляет результат более позднего изменения *a* под влиянием окружающих мягких согласных<sup>17</sup>.

Необходимо заметить, что этот важнейший принцип классификации языков, подразумевающий разграничение отличительного признака и

<sup>17</sup> См. В. А. Богородицкий, указ. соч., стр. 98.

конвергентного явления, часто нарушается. Наличие любого конвергентного явления используется некоторыми тюркологами в качестве основания для предположения о близком генетическом родстве тех языков, где это явление встречается; ср., например, высказывание Н. А. Баскакова о «любопытных с точки зрения выяснения генезиса языков... некоторых общих чертах якутского языка с... башкирским»<sup>18</sup>, основанное на возможности перехода интервокального *s* в *h* в середине слова в башкирском и якутском языках. Этому же мнению, между прочим, придерживался и В. В. Радлов<sup>19</sup>.

Такой взятый в отдельности факт, как превращение *s* в *h* в башкирском и якутском языках, ни в коей мере не может свидетельствовать о близкой генетической связи этих двух языков. Если бы башкирский и якутский языки развивались из одной языковой единицы, то фонетический закон перехода *s* в *h* должен был бы осуществляться при одинаковых условиях. Однако в действительности этого не было. В башкирском переход *s* в *h* имел место в начале и середине слова, когда древние *š* и *z* сохранялись; в противном случае *h* мог распространиться и на те случаи, когда *s* происходил из *š* (*š* > *c* > *s*); ср. башк. *asyq* «открытый», но турецк. *aşuk*.

В якутском языке *s* переходил в *h* в тот период, когда древние *š*, *z*, *ž* уже превратились в *s*, чем и объясняется происхождение таких форм, как якут. *aħabyŋ* «я открываю» (ср. татар. и турецк. *aç* «открывать»), *sahyt* «мой возраст» (ср. татар. *jäš* «возраст»), *kuħa* «его дочь» (ср. татар. *quzy* «его дочь») и т. д. В тот период, когда звуки *š*, *z*, *ž* в якутском сохранялись, *s* не переходил в *h*, что свидетельствует о явной хронологической разобщенности перехода *s* в *h* в якутском и башкирском языках и, следовательно, об отсутствии близкой генетической связи между якутским и башкирским языками.

Авторы классификационных схем обычно мало внимания обращают на диалекты. При классификации тюркских языков обычно отбирают признаки литературных языков, например татарского, казахского, киргизского, азербайджанского и т. д. Между тем отбор отличительных признаков при учете показаний диалектов становится более затруднительным, но в то же время способствующим уточнению положения данного языка среди других родственных. Так, например, наличие палатализованного проточного *š*, соответствующего звуку *š* многих других тюркских языков, нельзя считать характерной особенностью татарского языка в целом, поскольку в отдельных диалектах этого языка данному звуку соответствует *s*. По этой же причине соответствие звука *ž* в казахском и ногайском языках начальному *j* в некоторых тюркских языках нельзя считать отличительной особенностью кыпчакско-ногайской подгруппы языков, поскольку в отдельных диалектах казахского и ногайского языков начальному *j* могут соответствовать звуки *j* и *ž*.

При выборе отличительных признаков группы языков необходимо стремиться к тому, чтобы классификационные признаки были присущи всем диалектам сопоставляемых языков и в то же время не были случайными конвергентами.

Приведем в качестве примера некоторые отличительные признаки, характеризующие чувашский язык.

1. В области фонетики: а) наличие ротацизма в отражении древнего *z*; б) наличие ламбдаизма (т. е. в ряде случаев звуку *ž* других тюркских языков здесь соответствует звук *l*); в) переход в ряде слов древнего *q* в *j* (ср. чуваш. *jur* «снег», татар. *qar*; чуваш. *jun* «кровь», татар. *qan*); г) последовательная соноризация согласных в интервокальном положе-

<sup>18</sup> Н. А. Баскаков, указ. соч., стр. 194.

<sup>19</sup> W. Radloff, Die jakutische Sprache in ihrem Verhältnisse zu den Türksprachen, «Зап. Имп. Акад. наук», sér. VIII, по ист.-филол. отд., VIII, 7, СПб., 1908, стр. 16.

нии; д) наличие протетических *v* и *j*; е) наличие случаев перехода *t* в  $\check{c} \sim \check{z}$  перед гласными переднего ряда, например *jat* «имя», *jažžə* «его имя».

2. В о б л а с т и м о р ф о л о г и и : а) наличие особой формы мн. числа на *-sem*; б) наличие особого показателя мн. числа на *-s'* в спряжении глаголов (например, *ki'čə-s'* «они пришли»); в) совпадение форм дат.-направит. и вин. падежей; г) отсутствие формы будущего времени с показателем *-r*; д) наличие причастий на *-nâ*, *-nə*. Эти признаки являются одинаково присущими всем диалектам чувашского языка и в то же время они в достаточной степени отличают этот язык от других тюркских языков.

### 3. Установление элементов языкового взаимодействия

Существенными здесь являются две основные проблемы: 1) как отличить языковое явление, возникшее в результате языкового смешения или влияния других языков, от явления, представляющего результат генетической общности двух языков?; 2) как классифицировать языки, обладающие смешанными признаками?

Отличительной особенностью признака, возникшего в результате языкового взаимодействия, является часто неодинаковый объем распространения его в разных языках. В чувашском и татарском, как известно, звуку *i* других тюркских языков соответствует редуцированный *e* (ə), однако последний в чувашском языке распространен во много раз больше, чем в татарском, поскольку редуцированный чувашский *e* может соответствовать в целом ряде случаев также звукам *ö*, *ü*, *o*, и других тюркских языков. Например: чуваш. *vəren-* «учиться», татар. *öiren-*; чуваш. *karle* «красный», татар- *qızyl*; чуваш. *vəs'* «летать», турецк. *uç-*; чуваш. *s'ər* «земля», татар. *žir* и т. д. Отсюда можно сделать вывод, что редуцированный *e* в татарском языке возник в результате влияния на татарский язык болгарской группы.

При классификации языков со смешанными признаками исследователь может встретиться с двумя типичными случаями языкового смешения: 1) инородные признаки составляют явное меньшинство; 2) разные признаки перемешаны приблизительно в равной степени. Прекрасной иллюстрацией первого случая языкового смешения может служить туркменский язык, где смешаны признаки языков огузской и кыпчакской группы, но признаки языков огузской группы явно преобладают. Поэтому при классификации признаками языков кыпчакской группы можно пренебречь и отнести туркменский язык к юго-западной ветви тюркских языков. Специфические черты, объединяющие чувашский язык с татарским и башкирским, настолько незначительны, что нет никакой необходимости выделять татарский и башкирский языки в особую кыпчакско-булгарскую группу, как это делает Н. А. Баскаков<sup>20</sup>. Иллюстрацией второго случая смешения признаков может служить киргизский язык, где признаки языков центральной группы смешаны с признаками языков юго-восточной группы.

Необходимо иметь в виду, что в комплексе так называемых смешанных признаков могут фигурировать черты троякого рода: 1) особенности, принадлежавшие некогда разным языковым группам; 2) конвергентные особенности, создающие видимость принадлежности их к определенной языковой группе; 3) особенности, возникшие в результате сохранения древних языковых черт. Так, например, сохранение заднеязычного *ɣ* в некоторых тюркских языках Сибири могло не быть результатом смешения западной и восточной групп тюркских языков; оно представляет сохранившееся древнее явление.

<sup>20</sup> Н. А. Баскаков, указ. соч., стр. 155.

#### 4. Выделение одного языка в самостоятельную группу, если последний резко отличается по своему качественному своеобразию

Если язык по своим особенностям довольно сильно отличается от других родственных языков, целесообразно выделить его в особую группу. При классифицировании языков этот прием довольно широко практикуется; ср., например, особое выделение армянского или албанского языков в схеме классификации индоевропейских языков.

#### 5. Классифицирование языков по возрастному признаку

Выдвинутый С. Е. Маловым принцип деления тюркских языков на новые и старые, по нашему мнению, не может быть принят. В истории языков бывают иногда случаи, когда языки в силу чистой исторической случайности сохраняют архаическое состояние (например, современный исландский язык); что же касается тюркских языков, то в них отдельные архаические черты перемешаны с новообразованиями.

Кроме того, в классификации С. Е. Малова чувствуется некоторая логическая неувязка. Неясно, почему привлечение только одной фонетической черты позволяет отнести язык к числу старых языков, когда архаические и новые черты в каждом языке оказываются перемешанными. В зависимости от выбора тех или иных признаков один и тот же язык у Малова может относиться то к старой, то к новой группе. Так, например, по степени отражения заднеязычного  $\gamma$  азербайджанский язык отнесен С. Е. Маловым к древним языкам, а по степени отражения древнего  $d$  ( $\delta$ ) — к новым языкам.

Всякое качественное изменение звука представляет с точки зрения формальной логики новое явление. Если древнее *adaq* превратилось в чувашском языке в *uga* ( $\delta > r$ ), то непонятно, почему же чувашский язык продолжает оставаться в группе древних языков. Наличие этих неувязок в значительной степени снижает ценность классификации тюркских языков, предложенной С. Е. Маловым.

#### 6. Построение классификационной схемы в тесной связи с историей народов, говорящих на данных языках

Вряд ли кто будет оспаривать тот непреложный факт, что группы родственных языков имеют свою историю. Языки не могут существовать без их носителей — народов, племен и т. д. Образование групп родственных языков является результатом действия самых различных факторов, в числе которых немаловажную роль играют факторы исторические. Все это может и должно быть объектом специального исследования, когда ученый ставит своей целью изучение истории образования групп родственных языков. Дискуссионным может быть только вопрос о реальных возможностях и методах изучения истории языков в этом плане.

Н. А. Баскаков, призывающий классифицировать языки в тесной связи с историей тюркских народов, совершенно не ставит вопроса о допустимости смешения диахронического и синхронического плана исследования — вопроса, который при классификации языков имеет особо важное методологическое значение. Распределение языков по группам в разные исторические эпохи было неодинаковым. Так, например, по мнению некоторых финноугроведов, после распада финноугорского языка-основы сначала образовались две языковые общности — прибалтийско-финско-пермская общность и угорская общность. Никто из классификаторов в настоящее время не принимает во внимание прибалтийско-финско-пермскую общность, поскольку она уже сейчас не существует. Учитывать можно лишь в известной степени угорскую общность, поскольку современные угорские языки являются продолжением этой общности.

Метод классифицирования тюркских языков в тесной связи с историей тюркских народов, предложенный Н. А. Баскаковым, немыслим без наличия двух необходимых условий: 1) необходимо убедиться в абсолютной исторической преемственности между тюркскими народами, упоминаемыми в исторических документах, и современными тюркскими народами; 2) надо точно выяснить, что представляли собой языки племенных образований.

Можем ли мы на основании сведений о древних тюркских народах судить в достаточной мере о характере их языков и о том, какие из современных тюркских народов являются их потомками? Ф. Е. Корш писал в свое время, что: «1) исторические сведения мы имеем далеко не обо всех турецких народах, а о меньшинстве их; 2) многие из этих сведений отличаются неопределенностью, плохо отвечающей нашим научным требованиям»<sup>21</sup>. Вот почему указания истории надо принимать с большой осторожностью. Необходимо заметить, что такой критический подход к историческим сведениям в работе Н. А. Баскакова «Тюркские языки» полностью отсутствует. Правда, за последние десятилетия историческая наука достигла значительных успехов в области изучения истории тюркских народов, и сейчас уже нельзя говорить о том состоянии этой науки, которое существовало во времена Корша. Однако решение вопроса об идентификации древних и новых тюркских языков мало продвинулось, поскольку историческая наука ему не уделяла особого внимания.

Само собой разумеется, что Н. А. Баскакову не удалось получить ответ и на другой вопрос: что представляли собой языки племенных объединений — были ли они конгломератами различных языков или представляли более или менее единое языковое целое. Выяснение этого вопроса чрезвычайно важно с методологической точки зрения, так как в случае, если племенной союз представлял конгломерат достаточно обособившихся тюркских языков, общие фонетические и грамматические явления в нем не могли иметь места.

Таким образом, провозгласив новую методику классификации тюркских языков в тесной связи с историей тюркских народов, Н. А. Баскаков тем не менее не мог разрешить эти два основных вопроса, что нашло свое выражение в противоречии между замыслом и методом исследования.

Метод исследования Н. А. Баскакова характеризуется тремя основными приемами: 1) перемена названия ранее установленных групп тюркских языков и соотнесение их отличительных признаков с новым названием; 2) произвольный отбор части ранее установленных признаков группы в целях приспособления к новому названию; 3) установление новых групп на основании лингвистических признаков и соотнесение их с историческими объединениями тюркских народов.

Прежние исследователи неоднократно подмечали тесные связи между такими языками, как узбекский и уйгурский, татарский и башкирский, туркменский, азербайджанский и турецкий, ногайский, каракалпакский и казахский, киргизский и алтайский. Для подобных традиционно выделяемых группировок близкородственных языков Н. А. Баскаков зачастую предлагает в сущности лишь новые названия: карлукско-хорезмийская, кыпчакско-булгарская, огузо-сельджукская и огузо-туркменская, кыпчакско-ногайская и хакасская подгруппы. Наглядное представление о том, каким образом ранее известные признаки соотносятся с вновь устанавливаемыми группами, дает метод выделения Н. А. Баскаковым западнохуннской и восточнохуннской ветвей тюркских языков.

Хуннская эпоха развития тюркских языков, по Н. А. Баскакову, хронологически следует после Алтайской эпохи. «Хуннская эпоха (III в. до н.э. — IV в. н. э.) характеризуется развитием огромного и мощного племенного

<sup>21</sup> Ф. Корш, указ. соч., стр. 119.

союза, известного под именем империи Хунну», которая «объединяла многочисленные тюркско-монгольские, тунгусо-маньчжурские и другие племена»<sup>22</sup>. «В конце I в. н. э. государство Хунну под влиянием междоусобной борьбы и нападения сяньбийцев распалось на две части — западных хунну и восточных хунну.... Образование двух хуннских союзов и относительно длительная стабилизация этого разделения, — по мнению Н. А. Баскакова, — в большой степени повлияли на развитие тюркских племен и языков, которые, сохраняя между собой единство, приобрели и своеобразные черты, разделяющие в настоящее время все тюркские языки на восточные и западные»<sup>23</sup>. Каковы эти специфические черты западнохуннской и восточнохуннской ветвей тюркских языков?

Характерными особенностями тюркских языков западнохуннской ветви, отличающими эти языки от языков восточнохуннской ветви, полагает Н. А. Баскаков, являются: «1) в фонетической структуре: а) замещение древних *з, д, т > й*, например *айақ* (вместо *адақ//азақ//атах*) «нога» и пр.; б) большая степень дифференциации глухих и звонких согласных: *б — п, к — г, с — з, д — т*; в) наличие дифференцированных согласных фонем *х, в, ж* и др.; 2) в основном словарном фонде: наличие значительного количества заимствованной лексики из языков арабского и иранских и относительно меньшее количество заимствований из монгольского языка; 3) в грамматическом строе: а) более развитая структура сложного предложения и наличие большего количества союзов, в том числе и заимствованных из других языков; б) меньшее количество стяженных сочетаний слов, выступающих в качестве сочетаний имен и глагольных форм, и т. п.»<sup>24</sup>.

Представляет интерес также и то, каковы характерные языковые признаки восточнохуннской ветви тюркских языков. Такими признаками, по Баскакову, являются: «1) в фонетической структуре: а) наличие в большинстве языков восточнохуннской ветви, кроме древних языков (т. е. языков древнеогузского или енисейско-орхонского и древнеуйгурского), вторичных долгих гласных фонем (как результат стяжения сочетаний *-ar/-eə*), характерных также и для живых монгольских языков; б) наличие чередующихся по отдельным языкам согласных *з, д, т* вместо *й* западной ветви тюркских языков, например в слове *адақ//азақ* (вместо *айақ*) «нога» (кроме более новых киргизского и алтайского языков); в) слабая дифференциация или отсутствие дифференциации между глухими и звонкими согласными *д/т, б/п, к/к ~ г/з, с/з...*; г) отсутствие различия согласных фонем: *х, в, ж*, которые, как правило, имеются в языках западной ветви; 2) в основном словарном фонде —... наличие значительного количества лексики, заимствованной из монгольских языков...; 3) в грамматическом строе: а) менее развитая структура сложных предложений...; б) чрезвычайно развитые стяженные формы сочетаний имен и глагольных форм»<sup>25</sup>.

Для того чтобы судить о языковом состоянии после распада племенного союза Хунну, необходимо знать, какое языковое состояние ему предшествовало. Сам Н. А. Баскаков признает, что вопрос о характере языков народов Восточной Азии I — IV вв. н. э. до последнего времени остается открытым, так как реальных памятников, принадлежащих этим народам, науке не удалось еще обнаружить<sup>26</sup>. Таким образом, оказывается, что к исторической схеме, принятой без необходимого критического подхода к историческим сведениям, так же произвольно, без каких-либо косвенных доказательств, прилагаются ранее установленные языковые особенности некоторых групп тюркских языков. В результате остаются без ответа вопросы, почему именно в эпоху распада хуннского племенного сою-

<sup>22</sup> Н. А. Баскаков, указ. соч., стр. 32—33.

<sup>23</sup> Там же, стр. 33.

<sup>24</sup> Там же, стр. 103—104.

<sup>25</sup> Там же, стр. 185—186.

<sup>26</sup> Там же, стр. 33.

за произошло изменение древнего  $\delta > j$  в интервокальной позиции и в абсолютном исходе слова в западнохуннской группе, какими косвенными доказательствами можно было бы подтвердить эту гипотезу?

Выдвигаемые Н. А. Баскаковым другие классификационные признаки, например наличие значительного количества арабских заимствований или более развитая структура предложений, никогда в истории тюркологии не использовались как классификационные признаки по той простой причине, что они совершенно не показательны. В современном коми-зырянском и карельском языках словарные заимствования из русского языка составляют более 30%, но никто на этом основании не выделял указанные языки в особую группу. Предложение в прибалтийско-финских языках во много раз более развито по сравнению со структурой сложного предложения в обско-угорских языках, но не по этим признакам данные языки относятся к разным группам. Мало того, выделяемые Баскаковым некоторые признаки западнохуннской ветви тюркских языков представляют анахроническое смешение черт, складывавшихся в разные исторические эпохи. Так, проникновение арабских заимствований в западные тюркские языки происходило не одновременно, а в течение многих веков.

Каким же образом конечный результат этого процесса превратился в отличительный признак западнохуннской ветви тюркских языков? Развитие структуры сложного предложения в таких языках, как турецкий и азербайджанский, по данным письменных памятников этих языков, происходило наиболее интенсивно в период с XII в. по XVI в. Опять-таки непонятно, почему этот признак отнесен к западнохуннской ветви.

Комплекс отличительных признаков языковой группы в схеме Н. А. Баскакова в большинстве случаев не отличается достаточной полнотой. В качестве отличительных признаков нередко выдвигаются единичные и отрывочные признаки, которые иногда отождествляются с конвергентными явлениями. Так, например, при характеристике так называемой огузо-булгарской подгруппы, к которой Баскаков относит древние языки печенегов и узов, а также современный гагаузский язык и языки балканских тюрков, в качестве единственного признака приводится палатализация согласных в позиции перед передними гласными, свойственная не только караимскому и гагаузскому, но и чувашскому языку<sup>27</sup>. Что касается языка печенегов, то его близость к булгарскому устанавливается на основании утверждения Махмуда Кашгарского<sup>28</sup>.

Единственным отличительным признаком кыпчакско-ногайской подгруппы служит «отсутствие фонемы *ч* и замена этого звука звуком *ш*, а звука *ш* звуком *с*, например: *қаш* < *қач* „убегать“, *қыс* < *қыш* „зима“»<sup>29</sup>. Два других признака — наличие чередования *m/b/p* в зависимости от соседнего гласного звука и наличие чередования *l/d/t* также в зависимости от позиции этих согласных — не типичны для выделяемой подгруппы в целом. Встречаются случаи, когда отличительные признаки группы, установленные Баскаковым, оказываются присущими также языкам других групп. В качестве отличительных признаков так называемой кыпчакско-половецкой подгруппы языков в схеме Н. А. Баскакова фигурируют такие признаки, как «наличие шипящего *ш* вместо свистящего *с* кыпчакско-ногайской подгруппы, например: *таш* „камень“, вместо *тас*; и аффриката *ч* вместо проточного *ш* той же группы, ... преимущественное употребление *й* в начале слова вместо *ж/ж* в других подгруппах» и т. д.<sup>30</sup>. У читателя может возникнуть вопрос, чем же все-таки данная группа отличается от турецкого языка, где все эти признаки имеются?

Если на основании лингвистических критериев выделяется какая-

<sup>27</sup> Там же, стр. 126.

<sup>28</sup> Там же, стр. 127.

<sup>29</sup> Там же, стр. 164.

<sup>30</sup> Там же, стр. 145.

либо группа языков, то необходимо, чтобы эти характерные признаки были также присущи и отдельным языкам, входящим в данную группу. Это основное правило классификации Н. А. Баскаков нередко нарушает. Так, например, чувашский язык отнесен Баскаковым к западнохуннской ветви тюркских языков, но он не имеет многих из тех характерных отличительных признаков, которые Н. А. Баскаков устанавливает для этой ветви (в чувашском языке  $\delta$  не замещается через  $j$ , звонкие и глухие согласные очень слабо дифференцированы, заимствования из арабского и персидского языков крайне незначительны, сложные предложения не развиты).

Таким образом, и с чисто лингвистической точки зрения классификационная схема Н. А. Баскакова содержит целый ряд погрешностей.

## 7. Установление лексических признаков

Одним из важнейших лексических признаков группы языков является, по нашему мнению, наибольший по своему объему индекс общих слов, где должно быть представлено также процентное отношение общих слов к количеству слов, не входящих в этот индекс. Наличие большого числа общих слов может иногда ощущаться чисто эмпирически, без проведения каких-либо специальных исследований. Таковы, например, языки татарский и башкирский, узбекский и уйгурский, производящие на их носителей впечатление диалектов одного языка. Для других языков общие слова могут быть выявлены только в результате специальных исследований, например установления индекса общих слов, связывающих казахский и ногайский языки. Языки, входящие в одну группу, почти как правило, будут обладать наибольшим индексом слов. При установлении индекса общих слов, разумеется, должны быть исключены иноязычные заимствования (слова арабские, персидские, русские и т. д.), поскольку они не являются в интересующем нас отношении показательными.

Если тюркские языки расклассифицировать по индексу общих слов, то все тюркские языки можно разделить на четыре большие группы: I — турецкий, азербайджанский, гагаузский, туркменский; II — татарский, башкирский, кумыкский, ногайский, балкарский, узбекский, уйгурский; III — казахский, киргизский; IV — тувинский, хакасский, якутский, чувашский.

Известно, что языки второй группы — татарский, башкирский, узбекский, уйгурский и др. — относятся к кыпчакской группе тюркских языков, но по индексу общих слов они ближе стоят к языкам юго-западной группы — турецкому, азербайджанскому и т. д., чем к таким, например, языкам, как казахский, киргизский, якутский, чувашский и т. д. Необходимо заметить, что индексы общих слов в тюркских языках до сих пор всесторонне не исследовались. Проведение исследовательской работы в этой области помогло бы значительно уточнить существующую классификацию тюркских языков.

\*

Не считая проблему классификации тюркских языков окончательно решенной, мы рассматриваем как совершенно бесспорное установление следующих групп близкородственных языков: 1) татарский, башкирский; 2) уйгурский, узбекский; 3) туркменский, азербайджанский, турецкий, гагаузский; 4) хакасский, шорский. Вполне целесообразно также выделение якутского и чувашского языков в особые группы. Все остальное нуждается в уточнении, в особенности выделение таких языковых групп, как: 1) ногайский, каракалпакский, казахский; 2) алтайский, киргизский; 3) караимский, кумыкский, карачаево-балкарский и крымско-татарский; 4) тувинский и тофаларский. В заключение нам хотелось бы особо подчеркнуть ту мысль, что наиболее надежной опорой классификации могут служить только те классификационные признаки, которые получены в результате одновременного использования всех классификационных приемов.

И. А. ОССОВЕЦКИЙ

## О СОСТАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ

(Некоторые вопросы русской диалектной лексикографии)

Проблематика, связанная с составлением словаря современного диалекта, в своих основных чертах совпадает с проблематикой составления словаря современного литературного языка того же типа. Тип словаря определяет собой тот аспект, в котором будет рассмотрен и показан в словаре языковой материал. С другой стороны, и языковой материал сам по себе, его характер, степень изученности и полноты в значительной степени влияют на характер словаря. Связь эта двухсторонняя и органическая. Независимо от того, имеет ли исследователь дело с лексикой литературного языка или с лексикой диалекта (если речь идет о лексике одного диалекта), перед ним встают в общем одни и те же лексикографические проблемы (принцип отбора слов, структура словарной статьи, система грамматических и стилистических помет, полисемия и омонимия, синхронная лексическая система и историзм и мн. др.). Можно сказать, что между лексикографической проблематикой литературного языка и этой же проблематикой одного диалекта больше сходства, чем различия, граница между ними условна, а во многих случаях ее и вовсе нет, несмотря на все различия между письменной и устной речью.

Объем и качество языкового материала регионального словаря, а также характер обработки его во многом определяются тем, что языковой базой для такого словаря служит разговорная устная речь<sup>1</sup>. Полевые записи в значительной своей части представляют фиксацию монологов, диалогов, иногда «половины» диалога, т. е. реплик, которые имеют своеобразное синтаксическое строение, конструктивно тесно связанное с вопросом. Диалектное слово живет и функционирует чаще всего в диалоге, где уяснению значения слова помогают предшествующая реплика, интонация, жест, мимика и т. д. При записи фиксируется лишь один компонент этого сложного целого — звуковой комплекс, слово, которое в этих условиях не всегда может претендовать на полное выражение значения всего смыслового единства, потому что значение в целом выражено всем смысловым контекстом, в который слово входит как основная и важнейшая, но все же не единственная часть.

Для установления всего объема значения слова при собирании диалектного материала для регионального словаря нужно стремиться как бы фотографировать поток живой речи в его непринужденном протекании. Тогда отдельное слово будет зафиксировано в составе структурно различных типов речи (фрагмент беседы двух носителей диалекта, рассказ о чем-либо и т. п.), что поможет уточнить его значение. Многообразное функционирование слова, полнота его семантики, обусловленная реальной языковой действительностью, лексически ограниченное наполнение определенных синтаксических моделей — все это может быть показано в словаре только на материале одного говора, т. е. одной лексической

<sup>1</sup> Письменная фиксация разговорной устной речи в момент полевой записи не превращает последнюю в ту форму языка, которая известна под общим названием «письменная речь», поскольку перед этой фиксацией ставится задача максимально возможной фотографичности.

системы. Поэтому словарь одного говора должен быть качественно иным, чем словарь группы говоров или всех говоров русского языка. Территориальные границы одного говора не представляют собой какой-либо постоянной величины. Данный говор может быть распространен только в одном населенном пункте. Понятие одного говора может включать в себя и конкретные говоры нескольких населенных пунктов, если им, при-суще единство решающих звеньев фонетического и грамматического строя, а также если имеются данные лингвистической географии о том, что по территории, где расположены эти населенные пункты, не проходят границы распространения тех или иных лексических явлений. В пределах такой группы населенных пунктов один говор может быть выделен в качестве опорного, над которым будут вестись наиболее длительные и интенсивные наблюдения. Если данный говор распространен в нескольких населенных пунктах, то такой говор можно считать типичным для целой диалектной зоны, а словарь, созданный на основе одного этого говора, одновременно можно считать зональным.

По своей структуре, характеру лексического материала, а также по принципу построения словарной статьи региональный словарь, построенный на лексике одного говора, должен представлять собой такой тип словаря, который Л. В. Щерба называет словарем академического типа: «...такой словарь, — пишет он, — имеет своим предметом реальную лингвистическую действительность — единую лексическую систему данного языка»<sup>2</sup>. Иной характер приобретает лексикографическая проблематика при составлении словаря многих говоров в пределах одного наречия или даже всего русского языка в целом. Специфика круга лексикографических проблем такого словаря в первую очередь определяется тем, что разные говоры хотя бы и одного языка не обладают тем типом единства лексической системы, какой представлен в относительно замкнутых пределах лексической системы одного говора.

В словаре, представляющем лексику многих, отличных друг от друга говоров, процесс развития значений проследить не удастся, потому что обычно в каждом из этих говоров развитие значения слова идет особым путем. Данный звуковой комплекс, зафиксированный в таком словаре, не будет отображать общей единой семантической структуры, реально существующей в разных говорах, но будет представлять собой сумму частных структур, не связанных друг с другом во всех своих звеньях. Например, слово *рахма́нный*, как указывает В. И. Даль<sup>3</sup>, имеет в русских говорах такие значения: «1. Вялый, хилый, неразвязный; смиренный, скучный, простоватый, глуповатый, нерасторопный и 2. Веселый, разгульный, беседливый, хлебосольный, тороватый, тчивый; щеголь». Кроме того, в некоторых говорах «значение смешанное, шаткое», а еще в некоторых это слово значит «тихий, кроткий, смиренный, ручной». Благодаря тому, что все эти значения и оттенки значений не образуют единой реально существующей семантической структуры и не соотносятся друг с другом, словарная статья в сводном словаре ряда говоров практически представляет собой лишь сводку значений. Слово *рахма́нный* в одном из этих значений нельзя считать омонимом этого же слова в другом его значении.

В лексическом материале одного говора можно установить и затем показать в словаре развитие значений слова, потому что это развитие происходит на фоне одной и той же лексической системы. Например, в одном из южновеликорусских говоров рязанской мещеры слово *весна́* имеет два значения: 1) «время года между зимой и летом» и 2) «вообще теплое время года (между зимой и осенью)». Второе значение, по-видимому, древнее, а первое, по всей вероятности, не является исконным в говоре и появилось

<sup>2</sup> Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, 3, стр. 97.

<sup>3</sup> В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, IV, М., 1955, стр. 86.

под влиянием литературного языка. Возможны и обратные случаи, когда значение диалектного слова представляет собой новообразование. Например, в том же мещерском говоре слово *голобный* имеет два значения: 1) «чувствующий голод, несытый» и 2) «трезвый, не пьяный». Второе из этих значений развилось в говоре и является более поздним.

Точно так же синонимические средства, которые хорошо раскрываются в пределах лексики одного говора, в пределах лексики разных говоров должны быть квалифицированы уже не как синонимические средства, поскольку они не сталкиваются друг с другом и не противостоят друг другу в реальной языковой действительности, а как взаимно замещающие друг друга лексические факты, как различительные признаки отдельных групп говоров. Вот несколько примеров<sup>4</sup>. Названия ухвата: *ухват* — *рогач* — *ембк* — *рушник* — *рочаг*; названия брюквы: *бүшма* — *бүквя* — *бүкла* — *грүхва* — *дрүквя* — *бүрка* — *күкла* — *бүхта* — *бүхня*; названия жерди, которой скрепляют снопы на возу: *жердь* — *гнёт* — *бастрык* — *слёга* — *хлуд* — *дерево*; названия процесса боронования: *боронить* — *волбить* — *скоробить*; слова со значением «говорить»: *баять* — *гутарить* — *калякать* — *гаметь* — *бакүлить* — *галдеть*. Количество подобных примеров можно было бы увеличить во много раз<sup>5</sup>. Таким образом, и проблема синонимии тоже снимается при составлении словаря разных говоров. В то же время наличие разных слов в одном говоре с примерно одинаковым значением ставит перед составителем словаря данного говора задачу точного раскрытия значений этих слов — и самих по себе, и в отношении друг к другу. Ср. такие синонимические ряды в мещерском говоре, как *гутарить* — *галдить* — *казать* — *греметь*; *сильный* — *осыпённый* — *огребной* — *обломный*; *гнездо* — *помёстье* — *подворье* — *попльце* — *усадьба* и мн. др., которые показывают, что в словаре одного говора проблема подачи синонимов, а также проблема омонимии являются в такой же степени актуальными, как и в словаре литературного языка.

Поскольку в семантическую структуру слова включаются его фразеологически связанные значения, значения, синтаксически обусловленные, а также и стилистическая характеристика, то уже одно это делает маловероятным полное совпадение семантических структур одинаково звучащих слов в разных говорах. Многие весьма важные и динамичные компоненты семантической структуры слова могут быть добыты только путем интенсивного изучения лексической системы во всех ее частных звеньях, что возможно лишь на материале одного говора. Вместе с тем, конечно, не следует забывать, что словарь многих говоров, который вряд ли может выйти за пределы указания на номинативное значение слова, имеет то преимущество, что он может в широком объеме показать лексический фонд языка. При этом чем больше охват говоров в таком словаре, тем шире в нем будет представлена диалектная лексика, тем больше в нем будет слов, служащих для обозначения одного и того же явления или реалии.

В пределах одной лексической системы могут быть учтены не только собственно значения и их оттенки, но и фразеологические связи слова, отношение с синонимами, антонимами, а также все значения, обусловленные контекстом. В словаре одного говора возможно также помещение слов с так называемыми окказиональными значениями, которые в ряде случаев представляют собой единично реализованные те или иные потенциальные

<sup>4</sup> По данным «Атласа русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», М., 1957.

<sup>5</sup> См. Л. П. Жуковская, Типы лексических различий в диалектах русского языка, ВЯ, 1957, 3. В пограничных или в переходных говорах, или же в смешанных некоторые из указанных (и других подобных им) диалектных слов могут реально сосуществовать, но причины этого являются чисто внешними по отношению к языку (территориальная близость, переселение в инодиалектную среду, сселение носителей разных диалектов в один населенный пункт и т.д.) и создают весьма неустойчивую лексическую систему, в пределах которой одна из дублетных форм довольно быстро исчезает.

семантические возможности слов, обусловленные единством данной лексической системы. «Только на фоне лексико-семантической системы языка, — говорит акад. В. В. Виноградов, — только в связи с ней определяются границы слова, как сложной и вместе с тем целостной языковой единицы, объединяющей в себе ряд форм, значений и употреблений»<sup>6</sup>.

В настоящем исследовании лексикографическая проблематика рассматривается применительно к работе по составлению словаря одного говора, поскольку данная статья представляет собой некоторые предварительные обобщения процесса работы по составлению именно такого словаря. Кроме того, наряду со сводным словарем всех говоров русского языка, составление которого тоже уже начато, в первую очередь необходимо в широких масштабах развертывать работу по созданию региональных словарей разного типа, поэтому обмен опытом в этом вопросе может принести известную пользу в общем деле<sup>7</sup>.

\*

Одной из важнейших проблем регионального словаря является установление принципа отбора слов. Если интерпретировать диалект в отвлечении от литературного языка и от других диалектов как замкнутое языковое целое, то тогда в словарь надо включать все слова подряд. При таком подходе проблема отбора слов снимается, а объем словника будет определяться лишь количеством зафиксированных в данном диалекте слов. Если же рассматривать данный диалект на широком фоне общенародного языка, то для словаря этого диалекта нужно отобрать лишь те слова, которые обладают диалектной спецификой или в материальном оформлении, или в системе грамматических форм, или в системе значений. В этом случае региональный словарь практически можно строить как дифференциальный по отношению к литературному языку. Принцип дифференциальности требует того, чтобы в региональном словаре была помещена только та часть лексики диалекта, которая не совпадает в чем-нибудь с лексикой литературного языка. Лексика же диалекта, которая не отличается от соответствующей лексики литературного языка, в словарь не включается. В лексикографической литературе уже указывалось на характер диалектных особенностей слов, дающих основание для помещения этих слов в региональный словарь дифференциального типа<sup>8</sup>.

В близкородственных языках, а тем более в литературном языке и диалекте звуковые комплексы часто совпадают или почти совпадают, а системы значений остаются отличными, и, таким образом, слова в целом полностью не совпадают. Проиллюстрируем это на примере диалектных слов *бушевать*, *галдеть* и *простбй*. В словаре Д. Н. Ушакова у глагола *бушевать* отмечено два значения: «1. Неистовствовать, проявляться с разрушительной силой (о стихийных явлениях: ветре, воде, огне). 2) Буйствовать, шумно проявлять крайнее раздражение». Те же значения отмечены у гла-

<sup>6</sup> В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слова, ВЯ, 1953, 5, стр. 5.

<sup>7</sup> Обсуждение диалектной лексикографической проблематики весьма своевременно в связи с тем, что большое количество сотрудников высших учебных заведений, ранее участвовавших в подготовке атласов русских народных говоров, в настоящее время ведет работу по подготовке диалектных словарей.

<sup>8</sup> Особенности эти следующие: 1) специфически местные по своему звучанию названия предметов, явлений и т. д., имеющие распространение в данном говоре или говорах, но отсутствующие в литературном языке; 2) слова, обладающие лишь известной степенью своеобразия по сравнению со словами литературного языка в фонематическом составе (*вышня*, *комарь* и т. п.), в морфологической структуре слова (*морква* и т. п.), в ударении (*тучá* и т. п.); 3) слова, фонетически тождественные со словами нормализованного языка, но имеющие в говоре совершенно иное или несколько иное значение, например: *заладня* «вход в подполье», *болото* «лиственный лес» и т. п. [см. В. Г. Орлова и А. И. Сологуб, Изучение диалектной лексики при подготовке областных (региональных) словарей русского языка, «Лексикографический сборник», II, М., 1957, стр. 28].

гола *бушевѣть* в словаре С. И. Ожегова и в четырехтомном «Словаре русского языка». Второе значение глагола *бушевѣть* во всех этих словарях помечено как разговорное. В академическом «Словаре современного русского литературного языка» для этого глагола отмечено только первое значение. В мецкерском диалекте глагол *бушевѣть* имеет примерно те же значения, однако семантический комплекс слова иной, поскольку значения слова отличаются от значений этого же слова в литературном языке объемом и иным соотношением между собой; различна и стилистическая окраска слова. Первое значение диалектного глагола *бушевѣть* почти совпадает с первым значением, отмечаемым словарями, отличаясь несколько меньшими масштабами проявления действия: диалектное *бушевѣть* — это бурно проявлять себя, но без какого-либо указания на «неистовую, разрушительную силу». Значительно чаще глагол *бушевѣть* употребляется во втором значении, причем это значение шире, чем в литературном языке: *бушевѣть* во втором значении — это вообще беспокойно вести себя. Например: *Нѣп'илс'и п'йѣнай, пр'ишлѣ дѣ стѣл бушевѣт'. Их [овец] камѣр' ж γ'ѣт' [кусает], ан'и и бушѣйт'.* *Иѣ два дн'ѣ бушевѣл, с умѣ схад'ѣл [зубы болели]. Ц'ѣ мн'е с вѣм'и бушевѣт', руѣѣцѣ.*

Глагол *галдѣть* в словаре Д. Н. Ушакова определяется как «громко говорить всем вместе, поднимать галдеж»; слово отмечается как разговорное и фамильярное. То же значение отмечено в словаре С. И. Ожегова, в академическом «Словаре современного русского литературного языка» и в четырехтомном «Словаре русского языка». В этих словарях слово отмечено как просторечное. В мецкерском говоре глагол *галдѣть* (*галдѣть*) стилистически нейтрален и имеет следующие значения: 1. «Разговаривать»: *Иѣ акнѣ зѣтвар'ѣу, γ'л'ажѣ, вѣ ид'ит'ѣ галд'ит'ѣ [с гулянья]. Кѣб γ'алд'ѣл'и тѣта? [как будто разговаривали здесь?] / Толковать о чем-нибудь»: *Зѣдр'ан'ѣл [зачерствел, стал твердым] пра х'ѣп-та γ'алд'ѣм.* 2. «Говоря, настойчиво добиваться чего-нибудь»: *Ды бал'н'ѣй нѣда ѣамѣ γ'алд'ѣт', кѣб он д'ѣлал. Ан'и γ'алд'ѣ куп'ѣт' ѣѣтѣт т'и'л'ив'ѣзѣр', кѣж ѣавѣ тѣм. Майѣ γ'алд'ѣт': — Мѣмѣ! Кѣж'ѣх канф'ѣткѣф пр'ив'аз'л'ѣ! Давѣй кѣп'и'м хѣт' — аднѣ! — Кѣп'и'м!... Кан'ѣйкѣф н'ѣту. Т'ѣп'ѣр вѣт знѣиш ѣѣ ч'ѣб слыхѣла: γ'алд'ѣт', ид'ѣ д'ѣлѣй ѣкт [о разделе].* 3. «Ворчать, бранить кого-нибудь»: *Иѣ руѣѣѣс'ѣ, γ'алжѣ на н'ѣх [ребятишек], ан'ѣ кѣшку нѣ рук'и б'арѣт'. Т'ѣп'ѣр', мѣт', н'ѣ γ'алд'ѣ, и ѣѣ жан'ѣл'с'и. Вот с'ид'ѣт' γ'алд'ѣт': двѣ стѣжанѣ мук'ѣ рѣсхарч'ѣл'ѣ [скуная бабка].**

Слово *простой* в мецкерском говоре имеет такие значения: 1. «Пустой, ничем не заполненный»: *Иѣ зѣфтрѣ кадѣшкѣ вѣл'ѣу, астѣв'ѣ ѣѣѣ прѣстѣѣу. Г'л'ажѣ, уш у н'ѣѣ скѣварѣткѣ прѣстѣѣѣ [всѣ съела].* 2. «Не имеющий чего-либо при себе»: *Анѣ жѣк'ѣт хат'ѣла куп'ѣт', вѣн ид'ѣт' прѣстѣѣѣ [не купила].* 3. «Ничем не покрытый»: *Нѣ прѣстѣѣм сталѣ [без скатерти] н'ѣкаѣдѣ н'ѣ ѣѣл'и.* В литературном языке у слова *простой* нет ни одного из этих значений<sup>9</sup>.

Семантическая структура отдельного слова складывается не только из различных значений и их оттенков, но реализуется также и во фразеологических сочетаниях, где значение слова приобретает особые аспекты, свойственные не изолированному слову, а слову как компоненту фразеологической единицы<sup>10</sup>. Например, слово *год* в одном из мецкерских говоров помимо основного номинативного значения, совпадающего со значением соответствующего слова литературного языка, входит также в состав ряда фразеологических единиц различного типа,

<sup>9</sup> В словаре Д. Н. Ушакова 8-е значение слова *простой* «пустой, порожний» определяется как устаревшее и областное. Есть основания предполагать, что отмечаемое этим словарем 4-е значение «добродушный, не церемонный» выражается в говоре словом *прѣстѣѣй*. Ср.: *Анѣ бѣл'на харѣш'ѣѣѣ, прѣстѣѣѣѣѣ, н'ѣкаѣѣ н'ѣ абѣд'ѣ. А фтарѣѣѣѣ з'ѣт' харѣшѣѣѣѣ, он прѣстѣѣѣѣѣ.*

<sup>10</sup> См. В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 17.

где его значение каждый раз приобретает новый оттенок: 1) *выйти из годбв* «достичь преклонного возраста»; 2) *годá выйшли (отомил, отойдут)* — об определенном возрастном цензе; 3) *под годáми*: а) «уже взрослый, вышедший из детского возраста», б) «в летах, немолодой»; 4) *из годбв вон* «не такой, как в прошлые годы»; 5) *на-годáх* «несколько лет тому назад»; 6) *эти (энти) годá* «(в) последние годы»; 7) *сегбдняшний год* «этот, нынешний год». Слово *выйти* входит в следующие фразеологические единицы: 1) *выйти в зятъя* «женившись, перейти жить в дом жены»; 2) *выйти в дэти* «стать приемышем»; 3) *выйти из годбв* «достичь преклонного возраста»; 4) *выйти из мóчи* «потерять силы, стать нетрудоспособным»; 5) *выйти из пáмяти* «потерять сознание». Кроме того, слово *выйти* без дополнения имеет значение «вступив в брак, перейти жить в дом мужа (то же, что „выйти замуж“) или жены (то же, что „выйти в зятъя“)».

Кроме фразеологически связанных значений, слово потенциально содержит в себе и другие типы значений, которые реализуются в разных контекстах: «...семантическое содержание слова определяется не только тем, что оно означает, но и тем, ч е м у о н о п р о т и в о п о с т а в л я е т с я»<sup>11</sup>. Можно привести такой пример. Значение диалектного слова *этот* полностью раскрывается только в сопоставлении со значением слова *энтот*: *этот* обозначает нечто близкое по расстоянию, времени и т. п., а *энтот* соответствует значению слова литературного языка *тот*. Например: *Н'а в ёту вайну́* (1941—1945 гг.), *а в ёнту* (1914—1918 гг.) *с луч'йнай с'ид'ёл'и*. *К ёнтэму сыну п'уас'т'ит' с'йэз'д'а...* *а жыв'ё-ть у ётэва*. *Ёнтэ Акá, а нáша Пра*. *Ёнтэ д'ир'ёун'ь Д'аул'инь, а ёнтэ — К'ёртанбóва* (записано в Деулине). *Ёнтэ пóл'а нáша, а ёнтэ — дру́г'о́й бр'ич'ады*. *И ёнт'и н'ил'йл'и, и нáшы н'ил'йл'и*. *Ёнтэ с'в'ажэй м'ялэб, а ёнтэ давнбшн'ийа*. Однако такое значение слова *этот* четко выявляется только при соотнесении с *энтот*; если же этого последнего нет и оно не подразумевается, то слово *этот* может употребляться в значении и «этот» и «тот».

Слова могут обладать и негативными признаками, которые тоже обнаруживаются на фоне всей лексической системы<sup>12</sup>.

Таким образом, каждое слово в пределах лексики одного говора представляет собой сложное и в части своих компонентов неповторимое целое. Но если это так, то сам собой напрашивается вывод о том, что принцип дифференциальности по отношению к словарю одного говора, т. е. словарю, где слово по возможности должно быть представлено во всей полноте своего семантического объема, представляется теоретически несостоятельным. По существу каждое слово диалекта будет чем-то если не полностью, то частично отличаться от соответствующего слова литературного языка, и, следовательно, для каждого слова теоретически можно найти основания семантического или формального порядка, по которым слово нужно будет поместить в словарь. Каждое диалектное слово, проецируемое на литературный язык, будет представлять собой либо отдельное

<sup>11</sup> В. И. Абаев, Понятие идеосемантики, сб. «Язык и мышление», XI, М.—Л., 1948, стр. 20.

<sup>12</sup> «Большинство слов обладает достаточной положительной, самостоятельной выделительностью: такая выделительность есть вообще основная, ведущая и типичная для слова. Однако в той или иной мере всякое положительно выделяемое слово вместе с тем выделяется и отрицательно: выделением сочетающихся с ним слов. Так, например, слово *дом*, конечно, вполне ясно выделяется положительно; но это лишь затмевает но не уничтожает и отрицательного, остаточного его выделения — выделения, основанного на том, что, скажем, в сочетаниях *большой дом, старый дом, построить дом* и пр. единицы *большой, старый, построить* самостоятельно выделяются как отдельные слова. В особых же случаях такая самостоятельная, положительная выделительность может оказываться очень незначительной, и тогда остаточная, отрицательная выделительность выступает на первый план: мы находим отдельные слова, при этом существе в них характеризующиеся именно такой выделительностью» [А. И. Смирницкий, К вопросу о слове (Проблема «отдельности слова») сб. «Вопросы теории и истории языка...», М., 1952, стр. 195—196].

слово, либо какой-нибудь структурный вариант слова литературного языка. Другое дело, что тонкие семантические оттенки, которые дают основания считать диалектное слово не тождественным соответствующему слову литературного языка, а лишь его диалектным вариантом, иногда в практике словарной работы неуловимы; собранный материал может и не содержать данных для различения значения слова диалекта и значения слова литературного языка. Если при этом фонемный состав слова и система его грамматических форм совпадают, то тем самым вопрос о том, включать или не включать данное диалектное слово в словарь, решается отрицательно<sup>13</sup>.

Идеальная словарная статья должна полностью показать всю семантическую многоплановость слова, все его лексико-фразеологические связи и опосредствования, т. е. всю его семантическую структуру. Такой словарной статьи нет ни в одном из словарей, даже построенных на очень большом и полноценном материале. Тем более трудно создать такую статью на материале устной диалектной речи, зафиксированной в полевых условиях. На практике далеко не всегда удается собрать достаточно доказательный материал, на основании которого можно было бы сделать заключение о том, что данное слово обладает хотя бы минимальным диалектным своеобразием и потому должно быть помещено в словарь. Поэтому дифференциальность по отношению к литературному языку, которая не может рассматриваться как основополагающий теоретический принцип регионального словаря, вместе с тем приобретает значение ведущего практического приема, при помощи которого от словаря отводятся все слова с невыявленной диалектной спецификой в значении или в грамматических формах. Если же совсем отказаться от этого принципа, тогда с уверенностью можно будет сказать, что такой словарь в своей значительной части будет дублировать толковый словарь литературного языка.

Правда, факт помещения в словаре того или иного слова хотя бы и с невыявленной диалектной спецификой будет указывать на наличие данного слова в говоре, но такая минимальная информация не оправдывает в этом случае увеличения словника, которое может быть и очень большим. В словаре должны быть помещены только те слова, диалектное качество которых подтверждается полноценным доказательным материалом. Если же такого материала нет или он недостаточно доказателен, то слово помещать в словарь не следует. Так должен быть интерпретирован принцип дифференциальности по отношению к словарю одного говора. В словаре многих говоров дифференциальность может быть принята в качестве одного из основополагающих теоретических принципов. В таком словаре принцип дифференциальности вытекает из существа самого материала.

Дифференциальность, т. е. практически уловимое отличие диалектного слова от слова литературного языка, может быть интерпретирована и в стилистическом аспекте. Литературный язык и диалект имеют много параллельных слов, различия между которыми заметнее всего выявляются в сфере стилистической принадлежности, хотя само по себе различие в стилистической окраске слова в меньшей степени, чем другие различия, способствуют лексической «отдельности» слова. Например, слово *девка* в современном литературном языке имеет яркую отрицательную экспрессивную окраску и квалифицируется в словарях как просторечное или областное или вовсе не приводится. В мецкерском говоре слово *девка* стилистически нейтрально, а в обращении (в том числе и к замужним женщинам без различия возраста) окрашено даже несколько положительно.

<sup>13</sup> Все сказанное выше об отличии диалектных слов от соответствующих слов литературного языка не относится к той части словарного состава современного диалекта, которая представляет собой новейшее заимствование из литературного языка. Ср. такие слова, как *трактор*, *план*, *председатель*, *контракция*, *собрание*, *правление* и др., которые, находясь в активном употреблении всех без исключения носителей диалекта, не приобрели сколько-нибудь заметных дифференциальных признаков.

Помещение в словарь подобного рода слов дало бы известный объективный материал и для изучения той части лексики литературного языка, которая находится на периферии последнего и обозначается не вполне определенным термином «просторечие». Стилистическая характеристика слова позволит наметить и другие соотношения между словами литературного языка и диалекта, например такие (правда, относительно редкие), когда нейтральное в диалекте слово в литературном языке имеет более «высокую» окраску. Это в первую очередь относится к немногим церковнославянизмам, бытующим в говоре в качестве нейтральной лексики. Пути прощикновения в говор такой лексики недостаточно ясны. В качестве примера можно привести такие слова, как *здравый* «здоровый, не больной»; *дрѣво* «дерево»; *стран'н'ий* «нездешний, не из этой местности, посторонний»; *питеньѣ*<sup>14</sup> «кобуза, заботы, хлопоты»; *помла́же* «помоложе»; *при мла́дости, на мла́дости* «в молодости»; *млад мѣсяц* «новолуние»<sup>15</sup> и др.

\*

Диалектное качество того или иного слова, дающее основание для помещения этого слова в словарь дифференциального типа, определяется как таковое только в плане лексическом в широком смысле этого слова, а не в плане фонетическом или морфологическом. В словаре должны учитываться лишь те факты фонетики и морфологии, которые имеют единичный и, следовательно, лексикализованный характер.

Если диалектный характер слова полностью обусловлен современными фонетическими или морфологическими закономерностями и тенденциями развития диалекта, которые имеют всеобщий характер, то оснований для включения этого слова в словарь не имеется. Например, если в фонетической системе говора закономерно представлено яканье, то отдельные слова, где представлено это явление (например, *с'алб, р'акá, н'атиб* и т. п.), в словарь говора включены не будут. В области консонантизма примером фонетической закономерности широкого охвата может служить цоканье. Точно так же нужно интерпретировать и морфологические факты. Ср. форму род. падежа ед. числа *у с'истр'ѣ*, представленную в мещерском говоре в парадигме всех слов этого типа, в отличие от парадигмы слов аналогичного типа в литературном языке. Ср. также формы глаголов 3-го лица ед. и мн. числа на *-т (т')* или без *-т (т')*.

С другой стороны, если какое-нибудь фонетическое или морфологическое явление представлено в ограниченном количестве примеров, а иногда даже в пределах одного слова, то данное явление становится уже фактом лексической системы. Часто в качестве таких единичных фонетических или морфологических явлений выступают реликты прежней, уже неактуальной фонетической или морфологической системы. Например, в некоторых мещерских южновеликорусских говорах произношение бывшего *ѣ*, отличное от произношения *е*, зафиксировано лишь в единичных словах: *д'ѣс'ур', в'ѣн'ик, с'ѣс'ур, ѣйс'т'*. В морфологии примером единичности явления может служить форма им. падежа ед. числа существительного жен. рода *свекры́*, некогда закономерная форма им. падежа ед. числа всех *ѣ*-основ, а в настоящее время — уникальный факт чисто лексического характера. Таким же единичным фактом является существительное *pluralia tantum брыльѣ* «губы», зафиксированное в одном из мещерских говоров; функцию формы им. падежа мн. числа здесь выполняет изолированная форма им. — вин. падежа не сохранившегося двойственного числа.

Мы рассмотрели полярные случаи, с одной стороны, частной реализации общей системы, с другой — единичной лексикализации фонетических и морфологических фактов. Однако часто встречаются и более сложные случаи различения общего и единичного, граница между которыми в живом языке подвижна и находится в динамическом равновесии. Во многих случаях эту границу очень трудно провести, и возникают серьезные за-

<sup>14</sup> Из *епитимия*.<sup>15</sup> Последние три примера, возможно, из фольклора.

труднения в квалификации того или иного факта как системного или же единичного, или, во всяком случае, лексически ограниченного. В качестве примера можно привести такое широко известное явление южновеликорусских говоров, как «непереход» *e* в *'o* под ударением. В некоторых мещерских южновеликорусских говорах распространение этого явления имеет почти всеобщий характер с незначительными ограничениями. В других южновеликорусских говорах это явление встречается спорадически, в отдельных словах, различных в каждом говоре<sup>16</sup>. Вопрос о том, может ли сам по себе факт «неперехода» *e* в *'o* служить основанием для включения того или иного слова в словарь, должен решаться конкретно, т. е. различно по отношению к разным говорам.

Иногда общие закономерности в применении к отдельным словам создают единичные, лексикализованные факты. Например, общеизвестны случаи, когда какая-нибудь надежная форма отрывается от парадигмы, приобретает особое значение и превращается в самостоятельное слово; или же от всей парадигмы сохраняется какая-нибудь одна надежная форма, которая тоже приобретает особое значение. Ср. литературные *ночью*, *зимой*, *босиком*, *пешком* и под. Аналогичные явления наблюдаются и в говорах. В этом случае слово помещается в конкретно зафиксированной форме.

Квалификация отдельного языкового факта как «системного» или, наоборот, как единичного с точки зрения представленных в нем результатов действующих языковых тенденций (фонетических, морфологических, синтаксических или лексических), возможная только на материале одного говора, позволит показать в словаре только лексическое, без ненужного загромождения словаря фактами фонетики или морфологии, которые должны быть «вынесены за скобки» и описаны во вступительном очерке. Словарь же должен дать минимум грамматики, хотя можно заранее предположить, что этот минимум должен быть большим, чем в словаре литературного языка. Сведения о фонетике говора можно будет извлечь из материала цитат, которые должны приводиться в фонетической транскрипции.

\*

Состав словника регионального словаря, а также показ семантической структуры диалектного слова определяются синхронной системой говора. Понятие синхронной системы как многообразного целого, все компоненты которого взаимно обусловлены и взаимно связаны, неодинаково по своему качеству и объему в применении к литературному языку и диалекту.

Синхронная система современного литературного языка относительно малоподвижна, она более или менее одинакова в пределах времени, охватывающего жизнь двух-трех поколений. Осознанность процесса создания синхронной системы литературного языка неизбежно приводит к идее нормы. Нормативность литературного языка является одним из его характерных качеств. В литературном языке, имеющем общенациональное распространение и существующем во многих формах, норма имеет также и охранительное значение; она должна способствовать единообразию литературного языка во всех сферах его употребления. Литературный язык не может и не должен быстро меняться, он должен быть хорошо понятен всем не только синхронно, но отчасти и в диахронном аспекте. В противном случае будет нарушена преемственность между языком сравнительно недавнего прошлого и языком современности.

Норма в литературном языке как познание действующих закономерностей развития языка в их конкретной реализации, создающей синхронную систему языка, не только способствует тому, что литературный язык становится понятен всем, но и играет значительную консервирующую роль, особенно в письменной форме языка, искусственно сохраняя уже уходя-

<sup>16</sup> По данным карт «Атласа русских народных говоров центральных областей к западу от Москвы» (рукопись) и «Атласа русских народных говоров юго-западных областей РСФСР» (рукопись).

щие факты языка, придавая им авторитет «правильности», «чистоты» и т. п. и отклоняя до времени различные инновации. Норма в литературном языке всегда несколько отстаёт от его саморазвивающегося движения.

Диалект, в отличие от литературного языка, не регламентируется какими-либо нормами, привносимыми извне, внешними по отношению к процессу его развития. Он менее устойчив, чем литературный язык, прежде всего потому, что нормируется только внутренними закономерностями и тенденциями, заложенными в нем самом. Диалект обычно не фиксируется где-либо, кроме как в памяти говорящих<sup>17</sup>. Понятие нормы по отношению к диалекту раскрывается и определяется лишь как практическое освоение его закономерностей, без последующего сформулирования правил, обязательных для всех. Необходимо иметь также в виду и оценочное отношение носителей диалекта к нему самому, которое в период существования национального языка почти всегда складывается в пользу литературного языка, а не диалекта. На качество норм диалекта в широком смысле слова решающий отпечаток накладывает и то обстоятельство, что в современных условиях нет социальной необходимости в их сохранении и закреплении, как это наблюдается в отношении литературного языка с его функциями общенародного масштаба. Норма в литературном языке допускает известные колебания, норма в диалекте, закрепляемая лишь в устной традиции относительно небольшого коллектива, имеет значительно большую амплитуду колебаний. Контуры нормативности в диалекте неопределенны, поэтому в нем создается благоприятная почва для возникновения вариантов различного типа, в равной мере нормативных; количество вариантов в диалекте может быть значительно большим, чем в литературном языке.

Региональный словарь дифференциального типа лишь в известной своей части будет состоять из особых диалектных слов, имеющих относительно узкую территорию распространения, таких, как *колбѣнь* «пень», *северьга* «непоседа», *згальный* «вздорный, озорной», *жагритья* «беспокоиться, заботиться о ком-нибудь», *гонобно* «утомительно», *обáпол* «зря, без толку» и др. Значительную часть словника словаря составят варианты слов литературного языка разного структурного типа. В региональном словаре должен найти себе место весь комплекс реально бытующих в диалекте вариантов, из которых один должен быть снабжен словарной статьей, а другие — перекрестными ссылками. В известной степени объективным критерием для отбора в диалекте «основного» варианта могла бы служить его большая частотность употребления, но для такого исследования мы не располагаем необходимыми предпосылками. В словаре желательно по возможности давать стилистическую квалификацию вариантов. В этом смысле региональный словарь может и должен быть нормативным.

В устной речи большую роль играют условия говорения: темп речи, экспрессивность, произносительный стиль и т. п., которые могут создавать фонетические варианты. Отсутствие орфоэпических норм в диалекте, а также незакрепленность одного из таких вариантов на письме делает все их в равной мере приемлемыми. Например, в мещерском говоре слово *золотъ* «медленно» в быстрой речи может звучать как *γ<sup>2</sup>лам'á* и даже *γ<sup>2</sup>лам'á*, с полной редукцией гласного второго предупредительного слога. Такая форма может даже закрепиться и вытеснить остальные. Ср. *прасу́к* из \**поросу́к*, *прыхлѣый* «рыхлый» из \**порохѣый* и т. п. в том же говоре. В других случаях фонетические варианты возникают в зависимости от положения слова в конце или в середине фразы. Ср., например, *надѣс'* и *надѣс'а*, *фч'арас'* и *фч'арас'а* и др. Морфологический состав слова тоже в значительной части подвержен вариантным колебаниям. Ср. *надѣс* — *надасъ* «недавно», *оттѣда* — *оттѣль*, *нѣне* — *нѣниче*, *отѣмка* — *отѣмáлка* «тряпка», *сырѣка* — *сыротá* «сырость», *трясы* — *трясына*, *пешкѣм* — *пешкомá*, *самохѣткой* — *самохѣтью* «самовольно, без спроса» и мн. др.

<sup>17</sup> Имеются в виду диалекты русского языка в их современном состоянии.

Единый комплекс определенных фонем, представляющий собой то или иное слово, в зависимости от различных условий может в каждом конкретном случае реализоваться в одном из вариантов. Поэтому слово является не только системой форм, но и единством лексических вариантов, обусловленных конкретной реализацией фонем или морфем. Каждое слово является своеобразным «пучком вариантов». Однако далеко не все фонетические варианты должны помещаться в словаре, хотя бы даже со ссылкой. Так, не следует помещать те варианты слов, которые обусловлены позиционным варьированием фонем и число которых может быть очень большим. Например, в мецгерском говоре заударное *e* в конечном открытом слоге в зависимости от разных условий произносится очень различно, поэтому, например, слово *dáve* может звучать как *dá's'e*, *dá'e'u*, *dá'e'ь*, *dá's'a* и т. п. Подобные варианты должны быть объединены в одной словарной статье с заглавным словом, которое «орфографически» выглядит как *dáve*.

Если же лексический вариант обусловлен как таковой особым, свойственным только ему составом фонем, то такой вариант обязательно должен быть помещен в словаре и снабжен либо словарной статьей, либо ссылкой. Например, *лѣтось* — *лѣтєсь* «в прошлом году», *давнѣшнѣй* — *давнѣшнѣй* и мн. др. Таким образом, все фонематические варианты слов попадают в словарь, фонетические же варианты объединяются под заглавным словом. Что же касается морфологических вариантов, то все они должны быть так или иначе представлены в словаре<sup>18</sup>. Вариантность в диалекте может создаваться и в диахронном аспекте сосуществованием фактов разновременных систем, а также и под влиянием литературного языка.

Диалект непрерывно подвергается воздействию литературного языка, причем результаты этого воздействия трудно отделить от результатов имманентного развития; эти две действующие силы объединяются, взаимно усиливая друг друга. Под влиянием этих факторов, а также других, менее значительных, процесс развития и изменения диалекта убыстряется не только по сравнению с литературным языком, но и по сравнению с прошлым состоянием диалекта, когда, в силу экономической замкнутости и разобщенности, влияние литературного языка — этого самого мощного фактора изменения диалекта в современных условиях — было минимальным. В результате история развития диалекта как бы сжимается, конденсируется, и тот исторический период развития, который для литературного языка по длительности равен жизни двух-трех поколений, «укладывается» в диалекте в период, равный жизни одного поколения. Например, в пределах одного современного говора можно встретить одновременно сохранение особого произношения *ѣ* под ударением или во всех позициях, или только перед мягкими согласными, или в отдельных словах. Точно так же в пределах одного говора в произношении одного и того же лица можно встретить чуть ли не все стадии отхода от исконного типа цоканья: твердое цоканье, чоканье, различие твердых *ч* и *ц*, мягкого *ч'* и твердого *ц*.

Таким образом, колебания системы диалекта, обусловленные процессом исторического развития, имеют по сравнению с литературным языком значительно больший размах. Поэтому исследователь диалекта, в частности его лексической системы, сталкивается с языковыми фактами, принадлежащими к разным синхронным пластам, но пока сосуществующими на данном этапе исторического развития говора. Все эти факты должны быть зафиксированы и помещены в словаре. В известной мере словарь диалекта соответствует словарю современного литературного языка и историческому словарю, взятым вместе. Большая историчность регионального словаря по сравнению со словарем литературного языка составляет одну из особен-

<sup>18</sup> Структурные варианты слова подробно описаны А. И. Смирницким [А. И. Смирницкий, К вопросу о слове (Проблема «тождества слова»), «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», IV, 1954, стр. 32 и сл.]. Его классификация, основанная на материале нормированного языка (главным образом русского), вполне применима и к диалекту, но последний дает еще более широкую картину вариантности.

ностей первого. Однако, поскольку региональный словарь — это словарь устной речи, постольку он отражает только такую историю, которая хранится в памяти одного поколения. В цитатах, которыми будут проиллюстрированы словарные статьи, можно будет встретить факты разновременные с точки зрения развития говора и на первый взгляд взаимно исключающие друг друга, но тем не менее реально сосуществующие.

Сочетание в говоре разновременных пластов, а также пластов, связанных с влиянием литературного языка, может привести к возникновению синонимии, о чем говорилось выше. В некоторых случаях лексикографу придется делать выбор между двумя сосуществующими фактами. В значительной степени этот выбор будет определяться стремлением осуществить практическое требование дифференциальности. Но так как у более новых фактов иногда может и не быть заметных отличий от литературного языка, то из сосуществующих в словарь попадут более архаичные факты, отличающиеся диалектным своеобразием. Таким образом, принцип дифференциальности может в известной степени привести к искусственной архаизации материала, к «сгущению экзотики», и тем самым адекватность диалектного материала языковой действительности будет частично нарушена.

\*

Значения многих диалектных слов с достаточной точностью раскрываются простым переводом на литературный язык. Например, *полбѣ* «половодье», *гонобѣтъся* «утомляться», *мост* «сени»<sup>19</sup> и мн. др. Однако во многих случаях значение диалектного слова не целиком покрывается значением слова литературного языка. В таких случаях приходится прибегать уже к толкованию слова, как это делается в толковых словарях. Большая часть трудностей при попытках раскрытия семантической структуры слова связана с той частью диалектной лексики, которая разнится от лексики общенародного языка не фономорфологически и не системой грамматических форм, а значением или оттенком значения. Эти различия могут реализоваться минимально. Поэтому при составлении регионального словаря всегда нужно опасаться стирания, нивелировки оттенков значения диалектных слов путем перевода их на литературный язык при помощи синонимов, значения которых находятся «около» значения диалектных слов, но не совпадают с ними полностью. Например, мецкерское слово *надѣсь* можно перевести на литературный язык словом *недавно*, что будет в общем верно. Однако в *надѣсь* есть еще оттенок, который не передается словом *недавно*: *надѣсь* — это действительно недавнее время, но такое, которое не примыкает непосредственно к моменту говорения. Для обозначения события, совершившегося сегодня, употребляется слово *дѣве* или *дѣвеча*.

В литературном языке для более точного обозначения прошедшего времени употребляется конструкция с элементом... *тому назад*: *пять минут тому назад*, *месяц тому назад* и под. Для менее точного обозначения употребляется слово *недавно*. Диалектные *надѣсь* и *дѣве* по значению находятся где-то посередине; они менее точно определяют время, чем конструкция литературного языка, но более точно, чем литературное *недавно*. Поэтому слова *надѣсь* и *дѣве* надо толковать. Необходимо также учитывать, что часть реалий деревенского быта имеет ограниченный ареал, и в литературном языке нет слов для их обозначения (например, деталей женской одежды и мн. др.). Соответствующие диалектные слова должны толковаться, причем в толкование нужно вносить элементы энциклопедизма. В первую очередь это относится к терминологической лексике.

Таким образом, в словаре одного говора нужно применять и перевод, и толкование слов; тип такого словаря можно определить как переводно-толковый. Перефразируя слова Л. В. Щербы, можно сказать, что задача составления регионального словаря — это создание переводно-толкового словаря диалекта на литературном языке.

<sup>19</sup> Правда, сама реалья — сени — весьма различна в разных местностях, но в данном случае важна функция этой реалия, которая везде, примерно, одинакова.

## ОБ ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АТЛАСЕ\*

**В о п р о с № 6:** «Какого характера должен быть фонетический вопросник для атласа (выбор явлений, формулировка вопроса, обязательность слов)? Какие современные фонологические явления в структуре славянских диалектов следует выделить для определения их типологии (и как)?»

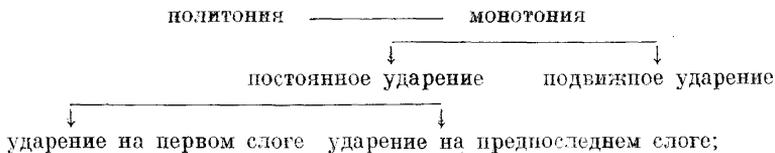
Вопросник по фонетике должен, по нашему мнению, содержать вопросы, сгруппированные по отдельным праславянским звукам (ъ, ъ, е, ѓ и т. д.), звукосочетаниям (*tl, dl, tort, tolt* и т. д.), типам звуковых изменений (палатализация, депалатализация и т. д.). Наряду с этим надо учитывать совпадения и различия в области так называемых прозодических признаков (количество и ударение)<sup>1</sup>.

Отправляясь от праславянского состояния, мы приходим, таким образом, к различным его рефлексам в современных славянских языках и диалектах. В инвентарь фонетических явлений наряду с древнейшими необходимо включить также и более поздние явления, возникшие в процессе самостоятельного развития отдельных славянских языков и представляющие интерес для характеристики исторических процессов дифференциации и общих тенденций развития славянских языков. Поскольку эти процессы и тенденции находят отражение в современном состоянии языка, было бы методически неверным не учитывать и возможности сопоставления отдельных современных славянских языков и диалектов; поэтому необходимо также отмечать существенные структурно-типологические сходства и различия их фонологических систем.

Для установления фонологической типологии славянских языков нужно ориентироваться не столько на частные черты их фонологических систем, сколько на существенные различия этих систем, а также на принципы их фонологической организации в целом. В существующих попытках построения фонологической типологии славянских языков учитываются два различных принципа: 1) фонологических корреляций в фонологических системах славянских языков; 2) количественных соотношений между системой гласных и согласных. Нет сомнения, что второй из этих принципов важен для классификации славянских языков (языки «консонантические» и «вокалические»); для целей лингвистической географии он, однако, представляет некоторые неудобства, так как полученные таким путем данные трудно было бы наносить на карты. Поэтому особое значение приобретает первый критерий — система фонологических корреляций. Различия и использование отдельных фонологических корреляций носят подлинно типологический характер. Здесь надо будет учитывать следующие существенные различия между славянскими языками: а) полнотона — монотония; в области монотонии — место ударения. Таким образом, получаются следующие характеристики, которые легко картографировать:

\* Продолжение публикации ответов на анкету, помещенную в № за 1960 г. (стр. 45—46).

<sup>1</sup> Ср. А. Lamprecht, *Návrh hláskoslovného dotazníku pro slovanský jazykový atlas*, «Slavia», XXVIII, 28, 4, 1959, стр. 603—607.



б) фонологическая — нефонологическая долгота гласных; в) наличие корреляции твердых — мягких — отсутствие ее (с разными переходными случаями). Очевидно, можно было бы принимать во внимание и отношение корреляции мягких к развитию системы гласных, в особенности к явлениям так называемой депалатализации.

Фонологические типы отличаются друг от друга разным использованием и своеобразным сочетанием (комбинацией) указанных трех различий. Важно (между прочим, и с точки зрения исторической) и установление того, какие именно корреляции не выступают одновременно в одном и том же языке (количество и ударение на предпоследнем слогe, политония и корреляция мягких и твердых согласных, количество и подвижное динамическое ударение). Картографирование этих различий и взаимосвязей отдельных фонологических корреляций даст рельефную картину современного состояния и одновременно процессов развития в прошлом. Эти системные взаимосвязи можно было бы показать в атласе на обзорных сводных картах, носящих уже в известной степени пояснительный характер и дающих наглядное представление о структурно-типологических сходствах и различиях между славянскими языками и диалектами.

Фонетические явления будут устанавливаться по конкретным словам, приводимым в вопроснике вместе с кратким указанием, к какому именно фонетическому явлению они относятся. Для экземплификации фонетических явлений надо выбирать слова, встречающиеся на всей славянской территории или, по крайней мере, на той ее части, которая важна для данного явления; это должны быть слова общепользуемые, относящиеся к активному ядру лексики. Экземплификация должна давать исчерпывающее представление о данном фонетическом явлении; например, для экземплификации рефлексов праславянского *ě* надо приводить примеры, в которых *ě* встречается перед твердыми зубными (*bělъjъ, tĕlo, letĕlъ, kvĕtъ, sĕno*), перед остальными твердыми согласными (*chlĕbъ, rĕka, vĕko, sĕkati*), перед мягкими согласными (*bĕliti, vĕriti, letĕti, vъ lĕsĕ*), перед твердыми после губных (*bĕda, gvĕzda, povĕdati*), после свистящих (*sĕno, cĕlъjъ*), а также после остальных согласных в слогe долгом (*vĕra, mĕra, drĕmati*) и кратком (*vĕriti, mĕriti*), в ударном (*rĕna*) и безударном (*rĕka*) положении. Только так можно охватить все относящиеся сюда факты польского, чешского, серболужицкого, болгарского и других славянских языков.

Слова, отображенные для экземплификации, надо использовать с предельным эффектом и приводить их в вопросниках только один раз. Так, например, в связи с рефлексами праславян. *medъ* можно установить распространение диспалатализации (*m'od*), факты компенсирующего удлинения (*m'od*), изменения первоначальных количественных отношений в качественные различия (*m'ud, mid*), факты отвердения (*med*), нейтрализации противопоставления звонких глухих в конце слова (*met*). Фонетическая тематика вопросника будет носить, таким образом, в своем окончательном виде комплексный характер и в нем нельзя будет обойтись без внутренних перекрестных ссылок. Кроме того, фонетический раздел должен быть связан с другими разделами вопросника, преимущественно с разделом, посвященным лексике (поскольку он будет заключать в себе много слов, которые будут использованы как в отношении фонетическом, так и лексическом), а также с разделом морфологии.

Вопросник по фонетике, кроме проблем общего характера, должен содержать в себе и «мелкие», специальные вопросы о звуковом составе отдельных слов, например о звуковых вариантах, о том, обнаруживаются ли в слове рефлекс \*и или \*р, о таких отношениях, как *jedintj/jedьnъ* и подобного рода дублеты. Это внесло бы в науку более полезный вклад, нежели констатация общих «больших» явлений, которые давно уже хорошо известны. При составлении такой анкеты главную роль должны были бы играть специалисты по сравнительной грамматике. Большую помощь тут могли бы оказать этимологические словари. Картографированные результаты исследований могли бы оказать значительную поддержку этимологу при изучении образования существующих вариантов по материалам памятников или при установлении их первоначального (праславянского диалектного) распределения. Таким путем можно обнаружить целый ряд новых данных, касающихся диалектного деления праславянского языка. Будучи отдельно взятыми, эти языковые явления не могут, естественно, иметь большого значения; однако там, где обнаруживается совпадение большого числа таких явлений, их изучение было бы важным, тем более что наши исследования диалектов праславянского языка вообще опираются в основном на материалы второстепенного значения для языковой системы. Точно так же были бы весьма полезны и вопросы о ряде групп согласных, о звуковых редукциях в некоторых часто употребляемых словах и т. п. Все это дало бы возможность обнаружить новые изофоны, которые в широком масштабе прорезают славянские территории.

Вопросы в фонетическом вопроснике должны быть как можно более конкретными, т. е. лексикализованными. Это означает, что формулировка вопроса должна быть не «какой рефлекс *ѣ*», а «какой рефлекс *ѣ* в том или ином слове» или «как называется то-то и то-то». Здесь, конечно, первостепенное значение имеет хороший подбор примеров, тем более что умело подобранные лексические примеры могут в то же время дать нужный материал по другим разделам атласа.

Правильно собранный материал для атласа даст ответ на вопрос о фонологической системе каждого из обследуемых говоров. Все же хорошо было бы обязать исследователей составлять список существующих в говоре фонем (дополнительно внося примеры для тех возможных фонем, которые не отражены в вопроснике, что вероятно для таких, например, фонем, как аффрикаты  $\widehat{dz}$  и  $\widehat{dz}$  на южнославянской территории). Особая центральная комиссия по атласу имела бы своей задачей сравнение этих списков с материалами из данного места, собранными по вопроснику, и составление карт с фонологическими изоглоссами, которые также вошли бы в атлас.

Ш. Ивич (Новый Сад)

В фонетический вопросник должен в первую очередь включаться такой материал, который заведомо может обеспечить перспективные результаты и отразить фонетическую дифференциацию славянских языков. Следует заранее определить слова, которые показывают: соотношение в изменениях вокального качества в связи со звуковым видом ( $\widehat{a}, \widehat{o} > \bar{a}; \widehat{\delta}, \widehat{\alpha} > \bar{\delta}$ ); процессы, возникшие с появлением открытых слогов (назализация и метатеза плавных); хронологически обусловленные процессы палатализации; возникновение полугласных. Нельзя давать такие вопросы, которые не сводились бы к точно определенным и отобранным словам, имеющим соответствующие фонематические и фонетические особенности. В вопроснике нужно отразить структуру славянской акцентной системы и дальнейшие акцентные процессы; материал для этого необходимо брать из языков и важнейших диалектов с ясными следами старых отношений, при учете балто-славянских отношений.

В целях определения типологии славянских языков нужно выделить главные явления языкового смещения среднебалканского типа, а именно: морфологический синкретизм, утрату инфинитива, синтаксические явления иноязычного типа. Это позволит выделить ступени типологических изменений по отношению к генетическим изменениям.

*М. Павлович* (Белград)

Фонетический вопросник должен отражать два ряда явлений: а) рефлексы определенных общеславянских фонем в современных славянских языках и диалектах и б) реализации фонем современных славянских языков, не существовавших в общеславянском языке. Вопросник должен содержать определенное количество обязательных слов, но исследователь может записывать и другие, которые могут учитываться при картографировании или займут свое место в комментариях к картам. Что касается второй части вопроса, то для определения типологии славянских языков следует выделить только такие фонологические явления, которые являются более или менее общими (например, полногласие, рефлексы еров в сплывной позиции, рефлексы носовых гласных и т. п.).

*А. Росетти* (Бухарест)

Фонетический вопросник должен отражать все явления, важные для исторической дифференциации славянских языков (замены еров, ассимилятивно-диссимилятивные изменения гласных, как, например, диспалатализация, перегласовки, явления, связанные с долготой гласных, с сохранением или устранением корреляции твердости-мягкости, с ударением и т. д.). При этом особенно важен хороший подбор отдельных слов, ибо именно здесь могут обнаружиться различные исключения и территориальные расхождения. Атлас в первую очередь должен быть источником для дальнейших исследований, хотя на схематических картах можно показать уже некоторые результаты. Из сказанного вытекает обязательность большей части слов фонетического вопросника (по остальным вопросам, касающимся фонетики, я высказался в статье в журнале «Slavia», XXVIII, 4, 1959).

*А. Лампрехт* (Брно)

**Вопрос № 7:** «Какого характера должны быть вопросники по морфологии и словообразованию? Каким образом и в какой мере следует учитывать парадигматические и словообразовательные связи отдельных форм при их картографировании?»

В морфологической области следует обращать внимание не только на формальные парадигматические различия (в том числе и разные типы внутренней флексии), но и на различия в использовании формально-грамматических средств (форм, окончаний). Учет семантики грамматических средств необходим по той причине, что одно и то же формальное средство на славянской территории нередко семантически и функционально дифференцировано и занимает различное место в грамматической структуре отдельных славянских языков и говоров. Так, описательные формы типа *bođo* + причастная форма на *-l* употребляются в кайкавских сербскохорватских диалектах, в словенском языке и в польском языке для выражения будущего времени, тогда как в штокавских сербскохорватских диалектах эту форму следует признавать скорее сослагательным наклонением будущего времени, чем будущим временем в собственном смысле этого слова. Здесь наблюдаются также и видовые различия: в словенском языке и в кайкавских диалектах эти описательные формы образуются от глаголов обоих видов, тогда как в польском языке они возможны только от глаголов несовершенного вида. В польских говорах существуют и другие ограниче-

ния: описательные формы этого типа употребляются только в форме 1-го лица ед. числа мужского рода, тогда как в женском и среднем роде, равно как и во мн. числе, отдается предпочтение описательным формам с инфинитивом<sup>2</sup>.

Простого установления наличия этих форм, без учета их разнообразной функционально-семантической значимости и разнообразия системного положения в грамматической структуре отдельных славянских языков и диалектов, недостаточно. Внимание к семантической и функциональной значимости грамматических средств должно находить в славянском языковом атласе отражение с еще большей последовательностью, чем в национальных языковых атласах. Чем больше диапазон географического распространения морфологических средств, тем больше диапазон их семантического варьирования.

Значительны расхождения между славянскими языками и диалектами и в использовании окончаний. Например, окончания древних *й*-основ используются в западнославянских языках (в разной степени) для выражения категории одушевленности (или категории лица, например в польском языке); в восточнославянских языках формы род. падежа ед. числа на *-у* выражают партиитивность; в отличие от этого в южнославянских языках использование окончаний *й*-основ в парадигме имен мужского рода определяется собственно формальными условиями — длиной слова, ударением и т. д.

С методической точки зрения считаем в равной мере правомерным идти как от значения (от значения к формальным средствам выражения), так и, наоборот, от формальных средств выражения (от формы к значению). Первый путь приводит нас к выяснению системных взаимосвязей и структурных различий. Их можно было бы изображать (точно так же, как и в области фонетики) на обзорных картах-схемах, дающих общее представление о совокупности морфологических средств, служащих для выражения отдельных грамматических значений. Можно, например, устанавливать, какими морфологическими средствами выражается простое прошедшее время, будущее время, страдательный залог и т. д.

Но и при установлении парадигматических различий нельзя отдельные морфологические средства рассматривать изолированно; необходимо учитывать парадигматические взаимосвязи отдельных форм, что теоретически вытекает из системного характера морфологического строя языка. Отдельные формы вступают в парадигме в семантические и формальные противопоставления, развитие которых можно правильно понять только в том случае, если исследовать их в этих взаимоотношениях. Некоторые примеры:

1. Лабиальность или же полная утрата конечного гласного в формах 1-го лица мн. числа наст. времени тематических глаголов в одних славянских языках (например, русск. *делаем*, *ведём*, чеш. *vedem/vedeme*) в отличие от устойчивости конечного гласного в указанных формах в других славянских языках (сербохорватское и словенское *vidimo*, *delamo*, словацк. *nesieme*, *pracujeme*); эти различия связаны со степенью проникновения атематического окончания *-m* в форму 1-го лица ед. числа наст. времени.

2. Форма дат. падежа *stu* числительного *sto* идентична в чешском и польском языках лишь на первый взгляд; на самом же деле эта форма носит в названных языках разный характер, так как в чешском языке она отличается от форм род., предл. и твор. падежей, в польском же совпадает с ними, являясь общей формой косвенных падежей. Только учет всей парадигмы в целом позволит увидеть в польском языке явление качественно новое: дальнейший этап в развитии особого склонения числительных.

<sup>2</sup> Ср. J. Petr a J. Sedláček, *Inventář jevů z oblasti slovesa; zásady výběru a výběr sám*, «Slavia», XXIX, 2, 1960, стр. 250 и сл.

3. В чешском языке в склонении существительных неодушевленных мужского рода наблюдается тесная взаимосвязь между формами род. и предл. падежей: окончание *-ě* в предл. падеже выступает чаще всего у тех существительных, которые в род. падеже оканчиваются на *-a*.

4. Окончания *ā*-основ, проникающие в качестве унифицирующего элемента в формы мн. числа существительных мужского и среднего рода, не получают во всех славянских языках и диалектах одинакового распространения: в одних случаях они выступают только в форме твор. падежа, в других также в форме предл. падежа, в русском языке они встречаются и в дат. падеже. Очень важно, чтобы формы всех этих падежей нашли отражение на сводной карте атласа, так как этим путем можно определить структурные особенности склонения существительных в разных славянских языках и диалектах (степень распространения отдельных окончаний в формах мн. числа существительных является важным типологическим признаком, она свидетельствует о разной степени флективности). Таким образом, будет отмечена и взаимозависимость отдельных падежей при проникновении унифицированных форм: если окончание *ā*-основ встречается в дат. падеже, то оно, по всей вероятности, выступает и в предл. падеже, и в твор. падеже, тогда как обратное предположение неверно.

Сказанное можно резюмировать следующим образом. Парадигматические взаимосвязи должны при картографировании учитываться в тех случаях, когда: а) две формы или больше в своем развитии взаимосвязаны; б) две формы или больше подчинены одной и той же тенденции развития и взаимоотношение этих форм важно в типологическом отношении.

Чтобы охватить существенные различия в использовании грамматических средств и в объеме грамматических категорий между отдельными славянскими языками и диалектами, следует отобрать для вопросника значительное количество обязательных примеров (слов). Их выбор будет нелегким; это должны быть слова общеславянские, представляющие в то же время живые и продуктивные типы склонения и спряжения. По мере надобности будут отмечаться, однако, и некоторые древние типы, непродуктивные в настоящее время, а также явления несистемного характера (например формы мн. числа существительного *kon'ь* в ряде славянских языков и т. п.). В вопроснике надо будет приводить их в основных синтагматических сочетаниях или хотя бы в сочетаниях с предлогом.

В разделе вопросника, посвященном словообразованию, необходимо исходить из словообразовательных типов, т. е. из объединения определенного значения и определенного формального средства выражения. Картографировать можно будет только достаточно четкие словообразовательные типы, по которым славянские языки ярко различаются. Трудность состоит в том, что по отдельным языкам словообразовательные типы различаются в объеме; ср. образование существительных при помощи общеславянских суффиксов *-ik* и *ar'*, которое в отдельных славянских языках и диалектах неодинаково по объему [чеш. *komíník, kameník, slovaček, komínár, kamenár*; чеш. *hrobník/hrobař* (с различным значением), *zlatník* в отличие от сербскохорв., болг. *grobař, zlatar*, русск. *золотарь* и т. п.]<sup>3</sup>. На картах эти различия в объеме некоторых словообразовательных типов надо хотя бы наметить и представить более многочисленной экземплификацией.

Другое затруднение заключается в том, что для экземплификации продуктивных в настоящее время словообразовательных различий нельзя будет в каждом случае найти достаточное количество древних общеславянских слов; иногда придется прибегать к словам, разным для отдельных языков. Кроме того, общеславянские слова, как правило, не представляют живых словообразовательных типов (ср. *pěsň, žižň, bojazň* и т. п.), и их место скорее в разделе лексики. Иногда расхождения в функциони-

<sup>3</sup> Ср. F. Buffa, K otázke slovo tvorných typov substantív v slovanských nárečiach vzhľadom na slovanský jazykový atlas, «Slavia», XXIX, 4, 1960, стр. 573.

ровании даже живого словообразовательного средства касаются только ограниченного количества слов или даже только отдельных слов; ср. чеш. *kovář*, словацк. *kováč*, польск. *kowal*, русск. *коваль*<sup>4</sup>; чеш. *rybář*, русск. *рыбак* и т. п. Такого рода периферийные случаи варьирования могли бы дать искаженную картину распространения словообразовательных типов в отдельных славянских языках и диалектах, они относятся скорее к лексическому разделу вопросника. Ввиду того что достаточно четкого представления о распространении и об объеме отдельных словообразовательных типов по диалектам пока нет, составление словообразовательного раздела вопросника потребует значительного внимания и осторожности.

*Чехословацкая диалектологическая комиссия*

Морфологическую проблематику, так же как и фонетическую, целесообразнее давать в лексикализованном виде. При подборе примеров следует попытаться найти такие лексемы, которые были бы уже включены в другие разделы вопросника. Не следует давать полные парадигмы; лучше брать ту форму слова, которая в живой речи действительно часто встречается; таким образом, при наблюдении нужная форма легко будет получена без потери времени и без опасности навязать ответ. Так, например, формы дат. падежа, как правило, лучше устанавливать для существительных, обозначающих одушевленные предметы, формы местного падежа — для существительных, обозначающих предметы неодушевленные.

Словообразовательные материалы в лингвистических атласах, к сожалению, неизбежно носят случайный характер. Практически не найдено способа получить ответ на вопрос, «употребителен ли (и в какой степени, с какими значениями) тот или иной суффикс?» и т. п. Единственно, что можно сделать, — это ввести значительное число лексем с характерными суффиксами.

*П. Ивич*

Списки вопросов по морфологическим и словообразовательным проблемам следует при их предварительной подготовке составлять отдельно, хотя они и могут затем быть объединены в общем списке. Нужно отметить в вопроснике явления в парадигмах имен существительных, в структуре сложного склонения прилагательных, а отдельно словообразовательные явления в связи с глагольным видом и с формированием глагольных классов. При рассмотрении структуры слова надо в первую очередь выделить суффиксы: исконные, с семантико-функциональной дифференциацией: расширенные; чужие (*ap*, *џија*; *лија* и др.) — в их взаимодействии.

Картографирование всех этих явлений не могло бы быть проведено только при помощи изоглосс; нужно будет дополнить его изотрассами (пунктирным обозначением направления путей).

*М. Павлович*

Вопросники по морфологии и словообразованию должны включить основные морфологические и словообразовательные факты славянских языков, причем следует исходить из общеславянского языка. Конечно, здесь необходим определенный отбор, поскольку все морфологические или словообразовательные явления охватить трудно.

*А. Росетти*

Парадигматические и словообразовательные связи отдельных форм можно учитывать на схематических картах; на отдельной карте, например, можно будет показать область унификации форм множественного числа и т. п.

*А. Лампрези*

<sup>4</sup> См. там же, стр. 575.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. М. ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ

ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ НАЧАЛЬНОГО *x-* В ПРАСЛАВЯНСКОМ

(Поправка к «закону Зибса»)

Недостатки многих работ, посвященных проблеме возникновения начального славянского *x-*<sup>1</sup>, часто вытекают из настойчивого и понятного стремления каждого автора единообразно объяснить возможно большее количество слов. В результате несколько весьма правдоподобных этимологий тонут в массе этимологий маловероятных, сомнительных или попросту фантастических<sup>2</sup>. По-видимому, более оправданным является отбор ограниченного числа надежных соответствий, которые не исключают возможности существования соответствий другого рода, но именно в силу своей надежности требуют объяснения сами по себе.

Мы предлагаем вниманию читателя несколько случаев, когда начальному славянскому *x-* соответствует начальное *sk-* других индоевропейских (обычно балтийских и германских) языков. Приводятся лишь уже известные в науке сопоставления. Примеры расположены в порядке убывания надежности этимологии.

1. слав. *\*xvoja* «хвоя, хвойное дерево» (русск. *хво́я*, чеш. *chvoj* ж. р. «хвоя», польск. диал. *choja, chojka* «можжевельник, *Juniperus sabina*) — к литов. *skuja* «хвоя», латыш. *skujas* ж. р. мн. ч. «хвоя ели», ирл. *scé* «боярышник» (< *\*skuija-t*)<sup>3</sup>.

2. слав. *\*xlodъ* «жердь, палка» (русск. диал. *хлуд* «жердь», серб. чакав. *hlūd*, род. п. *hlūda* «тычина, пест», чеш. диал. *chloud* «палочка, колышек») — к литов. *sklandà* «запор; кол в заборе», латыш. *sklañda* «жердь в заборе»; литов. *sklęsti, sklendziù, sklendziaũ* «запирать на запор»<sup>4</sup>.

3. слав. *\*xrednŏti* «сморщиваться», *\*xreda* «трещина, рана» (чеш. *chřadnouti* «сморщиваться», словацк. *chradnút* «то же»; ср. русск. диал. *хрядѣть*, чеш. *chřada, chřada* «рана») — к литов. *skranda* «изношенный тулуп, кожух», латыш. *skrañdas* ж. р. мн. ч. «лохмотья», норв. диал.

<sup>1</sup> Ср. подробную библиографию и историю вопроса в обширном исследовании Г. А. Ильинского (Г. И л ь и н с к и й, Звук *ch* в славянских языках, ИОРЯС, XX: 3 — 1915, 4 — 1916) и В. Махка (V. M a c h e k, Untersuchungen zum Problem des anlautenden *ch-* im Slavischen, «Slavia», XVI, 1938—1939).

<sup>2</sup> Такого рода недостаток в значительной мере присущ также исследованию А. Брюкнера (А. Б р ю к н е р, Slavisches *ch-*, KZ, LI, 3/4, 1923), где ставится проблема соответствия славянского *x-* индоевропейскому *sk-*, рассматриваемая и нами в данной статье.

<sup>3</sup> Ср. F. S ł a w s k i, Słownik etymologiczny języka polskiego, I, Kraków, 1952—1956, стр. 74; другие этимологии: к слав. *\*xvěřŏ* «качаюсь, колеблюсь»; к др.-инд. *vayá* «ветвь» (там же).

<sup>4</sup> См.: V. M a c h e k, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957, стр. 157; его же, Untersuchungen..., стр. 180; другие этимологии: к слав. *\*xlędnŏti* «лишиться сил»; к герм. *\*xlundaz* «чурка»; из герм. *\*xlundaz* (см. E. В е г н е к е r, Slavisches etymologisches Wörterbuch, I, 2-e Aufl., Heidelberg, 1924, стр. 390).

*skranta* «сморщиваться», др.-в.-нем. *scrintan* «лопаться, трескаться», др.-в.-нем. *scrunta* «трещина»<sup>5</sup>.

4. слав. \**xudъ* «худой, тощий; плохой» (русск. *худой*, серб. *hūd*, ж. р. *hūda* «дурной, плохой; несчастный», чеш. *chudý* «плохой; несчастный») — к литов. *skaudūs* «причиняющий боль; болезненный; ломкий (о древесине)», *skaudėti* «болеть», *praskūsti*, *praskūnda*, *praskūdo* «заболеть, начать болеть», латыш. *skaut* «завидовать»<sup>6</sup>.

5. слав. \**xrustъ* «хруст; шуршашее крыльями насекомое», \**xrustěti* «хрустеть» (русск. *хруст*, чеш. *chroust* «жук»; русск. *хрустеть*, серб. *hrūstati* «хрустеть», польск. *chruscić* «шуршать») — к латыш. *skrāustēti* «хрустеть», *skrausts* «нечто хрустящее», литов. *skriaudūs* «хрупкий, ломкий», *skrudėti* «ломаться, трескаться»<sup>7</sup>.

6. слав. \**xabitī* «портить», \**xabъ*, \**xaba* «нечто испорченное» (укр. *oxábitи* «испортить», *oxáb* «лужа, трясина», серб. *hāben* «плохой», словен. *hābiti* «портить», чеш. *chabiti* «лишать сил», польск. диал. *chaba* «кляча») — к литов. *škōbti* «киснуть», латыш. *skābt* «то же»; литов. *skobūs*, *skōbas* «кислый», латыш. *skābs* «то же»<sup>8</sup>.

7. слав. \**xvala* «хвала», \**xvaliti* «хвалить» (русск. *хвала*, серб. *hvāla* «хвала; благодарность», чеш. *chvála* «хвала»; русск. *хвалять*, серб. *hvāliti*, *hvālim* «хвалить; благодарить», чеш. *chváliti* «хвалить») — к др.-исл. *skval* «пустая похвальба», *skvala* «говорить вслух, громко кричать»<sup>9</sup>.

8. слав. \**xlędnōti* «лишиться сил», \**xlęditi* «лишать сил» (укр. *xlęnyти*, *oxlęnyти* «утомиться», чеш. *chlouditi* «лишать сил») — к литов. *sklęsti*, *sklęžtiū* «скользнуть в сторону», *pasklānda* «место, где скользят сани», швед. *slinta* «скользить», *slunta* «слоняться», н.-нем. *sluntern* «лишаться сил» (герм. *sl-* < \**skl-*)<sup>10</sup>.

9. слав. \**xorbъ* «храбрый» (укр. *xorbъ* «храбрый», серб. *hrābar* «то же», чеш. *chrabrý* «то же») — к латыш. *skarbs* «резкий, суровый; гневный»; др.-исл. *sharp* «жесткий», др.-англ. *searp* «острый, резкий»; \**xorb-ъ* образовано как \**dob-ъ*, \**bid-ъ*<sup>11</sup>.

10. слав. \**xrepa* «нечто сморщенное» (русск. диал. *xpēna* «канустные листья; кочыжка; старая карга») — к ср.-в.-нем. *schrimpfen* «сморщиваться, съёживаться», нем. *schrumphen* «то же», норв. *skramp* «худой человек; тощая лошадь»<sup>12</sup>.

11. слав. \**šetriti*, \**šatriti* (< \**xetriti*, \**xētriti*) «смотреть, обращать внимание» (ст.-чеш. *šetřiti* «смотреть, обращать внимание», чеш. *šetřiti* «заботиться», словацк. *šatriti* «обращать внимание», польск. *szatrzeć się* «то же») — к латыш. *skatīt* «внимательно смотреть», литов. диал. *skatýtis* «осматриваться», *skotóti* «заботиться»<sup>13</sup>.

12. слав. \**šurati* (< \**xjurati*) «неуклюже передвигаться» (чеш. диал. *šourati se* «с трудом тащиться», польск. диал. *szurać się* «неуклюже пе-

<sup>5</sup> M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, III, Heidelberg, 1956, стр. 275.

<sup>6</sup> F. Sławski, указ. словарь, I, стр. 88; другие этимологии: к др.-инд. *ksudrá-* «маленький, плохой»; к др.-инд. *ksodhuka-* «голодный»; к гоф. *hauns* «низкий» (там же).

<sup>7</sup> M. Vasmer, указ. словарь, III, стр. 274.

<sup>8</sup> F. Sławski, указ. словарь, I, стр. 58; другие этимологии: к греч. *αβαρός* «разрушенный»; к греч. *χαρός* «тупой»; к др.-сканд. *skammr* «короткий»; к литов. *kāpti* «ослабнуть» (см.: M. Vasmer, указ. словарь, III, стр. 224; E. Berneker, указ. словарь, стр. 381; V. Machek, указ. словарь, стр. 154).

<sup>9</sup> M. Vasmer, указ. словарь, III, стр. 234; другие этимологии: перестановка из слав. \**slava*; к др.-в.-нем. *svellan* «раздуваться, набухать»; к хет. *walla-* «восхвалять»; из др.-сканд. *hol* «хвала» (см.: F. Sławski, указ. словарь, I, стр. 90; V. Machek, указ. словарь, стр. 165; M. Vasmer, указ. словарь, III, стр. 235).

<sup>10</sup> F. Sławski, указ. словарь, I, стр. 80.

<sup>11</sup> M. Vasmer, указ. словарь, III, стр. 275.

<sup>12</sup> V. Machek, указ. словарь, стр. 497.

<sup>13</sup> E. Berneker, указ. словарь, I, стр. 388.

редвигаться»; ср. чеш. *šourem* «скривившись», польск. *szurny* «крутой») — к лат. *scaurus* «человек, страдающий плоскостопием», греч. *σκαύρος* «с выступающими лодыжками»<sup>14</sup>.

13. слав. \**šbstь* (<\**xbstь*) «шест» (русск. *шест*, укр. *шост* «шест») — к греч. *σχιστός* «расщеплённый», причастие к *σχίζω* «расщеплять», лат. *scindō* «расщеплять»<sup>15</sup>.

14. слав. \**xridъ* «утёс, скала» (серб. *hrīd* «скала», диал. *hrida* «то же», болг. *рид* «холм, бугор, крутой берег»; ср. *барид*) — к гот. *dis-shreitan* «разрывать», нем. диал. *schritzen* (как слав. \**skala* «скала» к литов. *skėlti* «расщеплять») <sup>16</sup>.

15. слав. \**šetati* (<\**xetati*) «шатать, шататься» (русск. *шатать*, серб. *šetati* «гулять, прогуливаться», чеш. *šatati* «шататься») с инфиксацией — к литов. *škasti*, *skantū*, *skatai* «прыгать; торопиться», лат. *scatō* «пробиваться (о роднике)» <sup>17</sup>.

16. слав. \**xqlъ* «желание, охота» (укр. *хуть* «жажда», словацк. *chuť* «аппетит; желание», польск. *chęć* «желание, охота») — к валлийск. *chwant* (<кельт. \**skant-*) «шохоть; алчность» <sup>18</sup>.

Приведенные примеры не оставляют сомнения в наличии соответствия слав. x- — балт. *sk-*, герм. *sk-* и т. д. в начале слова. Однако при объяснении этого соответствия возникают значительные затруднения. Основная трудность состоит в том, что в ряде столь же бесспорных случаев начальному *sk-* балтийских, германских и других индоевропейских языков соответствует начальное *sk-* в славянском:

слав. \**skala* (русск. *скáла* «скала; шеп», серб. *skāla* «скала», чеш. *skála* «то же») — литов. *skėlti* «расщеплять», др.-исл. *skilja* «разделять»;

слав. \**skopiti*, \**šcarъ* (<\**shēpъ*), \**šēpa* (<\**shepa*) (русск. *скопѣть*, чеш. *skopiti*; серб. *štāp* «палка», словен. *ščāp* «то же»; русск. *щепá*) — латыш. *šķepele* «обрубок», греч. *σκιπτο* «обрубок»;

слав. \**skora* (русск. диал. *скопá* «кожица», словен. *skorja* «кора», чеш. *skora* «то же») — литов. *skarà* «доскут», др.-в.-нем. *scēran* «резать ножницами»;

слав. \**skorъ* (русск. *скопѣый*, серб. *skđri* «недавний», чеш. диал. *skorý* «ранний») — литов. *skerỹs* «кузнечик», ср.-н.-нем. *scheren* «торопиться»;

слав. \**šēne* (<\**skene*) (русск. *щепок*, серб. *štēne* «щенок», чеш. *štěne* «то же») — арм. *skund* «щенок»;

слав. \**šēriba* (<\**skërba*) (русск. *щербá*, серб. *štrbina* «щербина», польск. *szczyrba* «то же») — латыш. *šķirba* «трещина, разрез», др.-в.-нем. *scirbi* «черепок, обломок»;

слав. \**šēirъ* (<\**skirъ*) (укр. *щі́рий* «открытый; прямодушный», польск. *szczyry* «открытый; чистый») — гот. *sheirs* «ясный, отчетливый»<sup>19</sup>;

слав. \**skrozъ* (русск. диал. *наскрѣзь*, серб. *škrōz* «насквозь; сплошь», словацк. *skrcz* «через») — нем. *schrag* «кривой»<sup>20</sup>.

Именно подобные соответствия в свое время заставили А. Брюкнера прийти к пессимистическому выводу: «нельзя установить правила, когда *sk-* сохраняется, а когда.. становится „придыхательным“ *ch-*»<sup>21</sup>. Естественно, такой вывод дает возможность поставить под сомнение пра-

<sup>14</sup> Ср.: Г. Ильинский, указ. соч., 4, стр. 148; A. Waldе-J. Pokorny, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, 2, Berlin—Leipzig, 1929, стр. 538.

<sup>15</sup> Ср. Н. Petersson, Studien über slav. *ch-*, AfslPh, XXXV, 3—4, 1914, стр. 360.

<sup>16</sup> E. Berneker, указ. словарь, I, стр. 402.

<sup>17</sup> V. Machek, Untersuchungen..., стр. 217.

<sup>18</sup> F. Sławski, указ. словарь, I, стр. 64; M. Vasmer, указ. словарь, III, стр. 267; тот же корень без носового инфикса, по-видимому, отражает слав. \**xolju* «хочу».

<sup>19</sup> См. ниже о другой возможной этимологии гот. *sheirs*.

<sup>20</sup> Число примеров легко может увеличить сам читатель, перечитав соответствующие страницы славянских этимологических словарей.

<sup>21</sup> A. Brüskner, указ. соч., стр. 226.

вильность сопоставления слав. *x-* — н.-е. *sk-*, что и сделал, например, В. Махек<sup>22</sup>. Более привлекательным выглядит предположение Г. Петерсона о переходе всякого начального *\*skl-* в слав. *\*xl-* (начальное *\*skl-* в славянском отсутствует)<sup>23</sup>, однако оно может объяснить лишь два примера из пятнадцати, т. е. не отражает фактического распределения материала.

Между тем критерии для определения соответствия слав. *x-* — балт. *sk-* — герм. *sk-* и т. д. как фонетической закономерности имеются. Их нахождение облегчает то обстоятельство, что в большинстве случаев с начальным *sk-* мы имеем дело с корнями, где представлено «*s* подвижное» («*s* mobile») <sup>24</sup>. Таким образом, слова, начинающиеся на *sk-* (слав. *x-* или *sk-*), должны, по крайней мере в части случаев, иметь дублиеты без «*s* подвижного». Анализ этих дублиетов позволяет установить следующую закономерность: параллельно словам, имеющим начальное *x-* в славянском, представлены образования с начальными н.-е. *g-*, *gh-*; параллельно словам, имеющим начальное *sk-* в славянском, представлены образования с начальным н.-е. *k-*. Итак, существуют два ряда соответствий:

1. слав. *x-* — н.-е. *g-*, *gh-*:

слав. *\*xudъ* «худой», литов. *skūsti* «начать болеть», латыш. *skauts* «завидовать» — литов. *gaūsti*, *gandžiū* «жаловаться, ныть», латыш. *gaust* «жаловаться», др.-сканд. *gauda* «бранить» (н.-е. *\*ghoudh-*);

слав. *\*xrustъ* «хруст», литов. *skriaudūs* «ломкий, хрупкий», *skriaudà* «обида» — литов. *graudūs* «ломкий, хрупкий», *graudà* «грусть», др.-в.-нем. *grioz* «щобень» (н.-е. *\*ghreud-*)<sup>25</sup>;

слав. *\*xorbrъ* «храбрый», латыш. *skairbs* «суровый» — др.-инд. *pragalbhā-* «отважный» (н.-е. *\*ghorbh-* или *\*gorbh-*)<sup>26</sup>;

слав. *\*žurati* «неуклюже передвигаться», лат. *scaurus* «плоскостопный» — слав. *\*guriti* «сгибаться» (серб. *gūriti se* «свеживаться, корчиться»), *gūrav* «сугулый», *gūra* «горб», болг. *погърен* «согбенный»), греч. γυρός «согнутый» (н.-е. *\*geau-r-* / *\*gau-r-*);

слав. *\*xqtъ* «желание, охота», валлийск. *chwant* (< *\*skant-*) «похоть, алчность» — арм. *xant* «сильное желание» (н.-е. *\*ghə-n-t-*)<sup>27</sup>.

К этим примерам, где рядом со слав. *x-* представлено *sk-* других индоевропейских языков, можно прибавить еще случаи, в которых наличествует только соответствие слав. *x-* — н.-е. *g-*, *gh-*:

слав. *\*xoldъ* (русск. *холод*, серб. *hlād* «тень, прохлада», чешск. *chlād* «то же») — слав. *\*želdъ* (русск. *ожеледь*, ст.-слав. *žělica* «смёрзшийся снег»), гот. *kalds* «холодный», нем. *kalt* «то же» (н.-е. *\*geldh-* / *\*goldh-*)<sup>28</sup>;

слав. *\*xvostъ* (русск. *хвост*, словен. *hōst* «чаща», чеш. *chvost* «хвост») — др.-в.-нем. *questa* «веник; пучок» (н.-е. *\*gues-t-*)<sup>29</sup>;

слав. *\*xьbbiti* (чеш. *chlubiti se* «хвалиться, хвастаться», польск. *chlū-*

<sup>22</sup> См. V. M a c h e k, Untersuchungen..., стр. 176. С выдвинутым там же предположением, что при наличии соответствия слав. *x-* — н.-е. *sk-* в славянском представлены формы с *k-* без «*s* подвижного» (с экспрессивным изменением *k > x*), нельзя согласиться, как показывает приводимый ниже материал.

<sup>23</sup> Н. P e t e r s s o n, указ. соч., стр. 377. Сам факт отсутствия начального *\*skl-* в славянском при наличии этого сочетания в балтийских языках заслуживает пристального внимания. В качестве предварительной гипотезы, по-видимому, можно принять, что *\*skl-*, стоявшее в одном ряду со слав. *\*sk-*, *\*skr-*, *\*skv-* (противостоящем ряду *\*xl-*, *\*x-*, *\*xr-*, *\*xv-*), изменилось в *\*sl-* (ср. аналогичный процесс в германском). Тогда становится понятным ряд славянских дублиетов с начальными *\*sl-* и *\*kl-*, обычно объясняемых различными рефлексамии н.-е. *\*k̄*: *\*sloniti* (< *\*sklon-* при *\*kloniti*, *\*slopъ* (чеш. *slopec* «ловушка») < *\*sklop-* при *\*klopa* (болг. *кλόпка* «ловушка»).

<sup>24</sup> Случаи, когда *sk-* представляет нулевую ступень корня типа *\*sek-*, единичны и могут не приниматься во внимание.

<sup>25</sup> F. S ł a w s k i, указ. соч., стр. 359.

<sup>26</sup> V. M a c h e k, Untersuchungen..., стр. 197.

<sup>27</sup> F. S ł a w s k i, указ. словарь, I, стр. 64; ср. без носового инфикса слав. *\*xotjo* «хочу», греч. χῆτις ср. р., χῆτις ж. р. «потребность».

<sup>28</sup> F. S ł a w s k i, указ. словарь, I, стр. 69—70.

<sup>29</sup> E. B e r n e k e r, указ. словарь, I, стр. 409—410.

*bić się* («то же») — литов. диал. *gulbinti* «славить, прославлять», др.-сканд. *gjalp* «похвальба» (и.-е. \**ghl̥b-/ \*ghelb-*)<sup>30</sup>;

слав. \**šala* (< \**xēla*), \**xalъ* (русск. *шалѣть*, серб. *šala* «шутка», чеш. *šálení* «обманывать»; русск. *нахál*) — арм. *xal* «игра», греч. *Χάλις* «насмешник» (и.-е. \**ghə-l-*)<sup>31</sup>;

слав. \**xovati* (укр. *xováti* «спрятать», польск. *chować* «спрятать; откармливать, выращивать», чеш. *chovati* «откармливать») — лат. *foveo* «выращивать, растить; выкармливать» (и.-е. \**ghou-*)<sup>32</sup>.

## 2. слав. *sk-* — и.-е. *k-*:

слав. \**skopiti* «обрубать», греч. *σκάπτω* «обрубаю» — греч. *κόπτω* «рублю»;

слав. \**skora* «кожура», литов. *skarà* «лоскут» — слав. \**kora* «кора»;

слав. \**ščene* «щенок», арм. *skund* «то же» — ирл. *cano* «волчонок»;

слав. \**šćirъ* «открытый, чистый», гот. *skeirs* «ясный» — слав. \**šćirъ* (ст.-чеш. *širy* «открытый, чистый») <sup>33</sup>;

слав. \**skrozъ* «насквозь, через», нем. *shräg* «кривой» — слав. \**krozъ*, \**kerzъ* «через» (серб. *kroz*, русск. *чѣрез*);

слав. \**skoba* (русск. *скоба́*, серб. *skôba* «скоба», чеш. *skoba* «то же») — литов. *kabėti* «висеть»;

слав. \**skvъrna* (русск. *сквѣрный*, серб. *skvъrna* «недостаток, порок») — слав. \**kvariti* (серб. *kvàriti* «портить», болг. *повàрен* «испорченный») <sup>34</sup>.

Вывод может быть только один: славянское начальное x- отражает и.-е. *s + g(h)-*, в то время как славянское начальное *sk-* является регулярным рефлексом и.-е. *s + k-*. Иными словами, слав. \**xoldъ* (< \**s-goldh-*) так же относится к герм. \**kaldaz* (< \**goldh-*), как слав. \**skoba* (< \**s-kobh-*) относится к литов. *kabėti* (< \**kobh-*) или как литов. *skilândis* «свиные потроха», ст.-литов. *skrúoblas* «граб» (< \**s-gl̥ond-*, \**s-grōb-*) относятся к слав. \**želodъkъ* «желудок», \**grabъ* «граб» (< \**gel-ond-*, \**grōb-*).

Такое распределение рефлексов *s + g(h)*, *s + k* в славянском хорошо согласуется с правилом, установленным Т. Зибсом и постулирующим сочетаемость индоевропейского «s подвижного» с корнями, начинающимися на любой звук, в том числе и на звонкие (resp. звонкие придыхательные) взрывные <sup>35</sup>. В то же время оно позволяет внести в «закон Зибса» существенную поправку. Зибс предполагает следующие рефлексy для четырех возможных случаев сочетания «s подвижного» с начальным взрывным:

- 1) *s + k* > др.-инд. *sk-*, греч. *σκ-*, герм. *sk-*, балт. *sk-*, слав. *sk-*;
- 2) *s + kh* > др.-инд. *skh-/sk-*, греч. *σχ-/σκ-*, герм. *sk-*, балт. *sk-*, слав. *sk-*;
- 3) *s + g* совпадает с *s + k*;
- 4) *s + gh* совпадает с *s + kh*<sup>36</sup>.

После устранения ряда *s + kh*, что вытекает из объяснения индоиранских глухих придыхательных как сочетаний простых глухих с неслогообразующим ларингальным <sup>37</sup>, и признания закономерными рефлекс-

<sup>30</sup> V. Machek, Untersuchungen..., стр. 215.

<sup>31</sup> M. Vasmer, указ. словарь, III, стр. 368.

<sup>32</sup> V. Machek, указ. словарь, стр. 160.

<sup>33</sup> Приводя это традиционное соответствие, мы считаем необходимым упомянуть о возможной связи гот. *skeirs*, др.-сканд. *skirr* «ясный, чистый» со слав. \**širъ*, \**širokъ* «широкий» (русск. диал. *ширôу* «широкий», словен. *šir* «то же», чеш. *širy* «то же»); в этом случае мы имели бы соответствие слав. x- — герм. *sk-*, с чем согласовывалось бы литов. *gairùs* «открытый, ветренный», *gáirė* «открытое, ветренное место», *gairėiti* «проясняться; виднеться; дуть (о ветре)». Тогда слав. \**šćirъ* следует вместе с В. Кипарским объяснять как заимствование из германского, а чеш. *širy* — как диалектное преобразование \**šćirъ*; ср. чеш. диал. *šćiry* (см. M. Vasmer, указ. словарь, III, стр. 401, 452).

<sup>34</sup> Примеры общеизвестны, и их число можно увеличить.

<sup>35</sup> См. Th. Siebs, Anlautstudien, KZ, XXVII, 3, 1901.

<sup>36</sup> См. там же, стр. 296—297.

<sup>37</sup> Ряд *s + kh* существует, следовательно, лишь в индоиранском, так как только там возникло начальное *kh-* (resp. *th-, ph-*) из \**kəe-* (resp. *təe-, pəe-*); см. J. Kurylowicz, Études indo-européennes, Kraków, 1935, стр. 29.

сами  $s + gh$  лишь др.-инд. *skh-*, греч.  $\sigma\chi$  -<sup>38</sup> Е. Курилович дал новую формулировку «закона Зибса»<sup>39</sup>, отражающую следующую систему:

- 1)  $s + k >$  др.-инд. *sk-*, греч.  $\sigma\kappa$ -, герм. *sk-*, балт. *sk-*, слав. *sk-*;
- 2)  $s + g$  совпадает с  $s + k$ ;
- 3)  $s + gh >$  др.-инд. *skh-*, греч.  $\sigma\chi$ -, герм. *sk-*, балт. *sk-*, слав. *sk-*.

Просматривая материал, собранный Зибсом, можно легко заметить, что славянские примеры на сочетание  $s + k$  представлены широко, сочетания же  $s + g$ -,  $s + gh$ - остаются почти без славянских иллюстраций, а те немногочисленные примеры, которые приведены, явно неверны<sup>40</sup>. В сущности, слав. *sk-* из и.-е.  $s + g$ -,  $s + gh$ - лишь предположено Зибсом как наиболее вероятный рефлекс. К такому приему Зибс прибегал и в ряде других случаев, когда фактический материал отсутствовал. Он предупреждал об этом читателя: «рефлексы, принимаемые нами для сочетаний „ $s +$ звонкий“ или „ $s +$ звонкий придыхательный“ ..., частично выведены лишь путем умозаключений». Подставив на место этих искусственно сконструированных Зибсом рефлексов те, которые действительно существуют в славянском, получим следующие ряды соответствий:

- 1) и.-е.  $s + k >$  др.-инд. *sk-*, греч.  $\sigma\kappa$ -, герм. *sk-*, балт. *sk-*, слав. *sk-*;
- 2) и.-е.  $s + g >$  др.-инд. *sk-*, греч.  $\sigma\kappa$ -, герм. *sk-*, балт. *sk-*, слав. *x-*;
- 3) и.-е.  $s + gh >$  др.-инд. *skh-*, греч.  $\sigma\chi$ -, герм. *sk-*, балт. *sk-*, слав. *x-*.

Итак, и.-е.  $s + g$ -,  $s + gh$ - дает *x-* в начале слова<sup>41</sup> в праславянском. Не пытаюсь восстановить промежуточные стадии процесса  $sg(h) > *x$ -, отметим в качестве аналогии изменение  $skh > kh$ - в среднеиндийском. Это последнее обстоятельство позволяет, между прочим, принять некоторые этимологии, основывающиеся на соответствии др.-инд. *kh-* — слав. *x-*, отмеченном Х. Педерсеном. Конечно, интерпретация этих соответствий должна быть коренным образом изменена<sup>42</sup>. В них представлено, собственно, не древнеиндийское, а среднеиндийское *kh-*, развившееся из *skh-*, восходящего в свою очередь к  $*s + gh$ -, как и слав. *x-*. Так могут быть объяснены, например, соответствия: слав. *xlodъ* «жердь», литов. *sklandà* «запор» — ср.-инд. *khandà*- «трещина, обломок»; слав. *\*xorbrъ* «храбрый»; латыш. *skarbs* «суровый» — ср.-инд. *khara*- «твердый, острый»<sup>42</sup>.

<sup>38</sup> Зибс допускал в этом случае двойной рефлекс: др.-инд. *skh-* или *sk-*, греч.  $\sigma\chi$ - или  $\sigma\kappa$ -.

<sup>39</sup> Ср. J. Kuryłowicz, указ. соч., стр. 53: «После начального *s*-звонкие придыхательные сохраняются в греческом; они становятся глухими придыхательными в индо-иранском» (см. также: J. Kuryłowicz, L'apophonie en indo-européen, Wrocław, [1956], стр. 378).

<sup>40</sup> Зибс приводит всего 3 славянских примера на 20 соответствий  $g$ :- *sk-* и 10 соответствий  $gh$ :- *sk-*; польск. *skarb* «имущество», сопоставляемое им с латыш. *gērbt* «одевать»; по-видимому, представляет слав. *\*skarbъ* «скорбь, забота», родственное с литов. диал. *skuŗbti* «быть в беде»; слав. *\*ġistъ* не может отражать начальное *\*sk-*, как принимает Зибс, и связано не с литов. *giēdras* «ясный», а с литов. *skaitus* «светлый, ясный», др.-в.-нем. *heitar* «ясный, блестящий» (*\*keid-*); слав. *\*slēdъ* родственно не др.-в.-нем. *glitan* «скользить», а литов. *slūsti*, *slūdau* «скользить», ср.-в.-нем. *slīten* «скользить» (и.-е. *\*slei-d-/sli-d-*).

<sup>41</sup> Существование подобного рефлекса в середине слова (при балт. *zg-* вместо *sk-* в начале слова) предполагают предложенная А. Матценауэром этимология слав. *\*reġeto* «решето» (русс. *реуэто*, серб. *reġeto*, чеш. *řeġeto*) к литов. *rezgù*, *règsti* (*\*rezg-li*) «связывать», латыш. *rekšis* «решето», *reġis* «большое решето, грохот» (см. М. Vasmеr, указ. словарь, II, стр. 518—519) и соответствия: слав. *\*laxъ*, *\*loxma* (укр. *lax* «рваная одежда», польск. *łach* «то же», русск. *лохма*, *лохмотья*) — литов. *lèzgis* «свисающий кусок ч.-л., заплата», *lezgèlis* «мочка уха», *lezgèti* «колышаться по ветру»; слав. *\*vizati* (русс. *вывихнуть*, белорус. *вихаць* «шатасть; кивать», словен. *vihati* «вывихивать; махать») — литов. *vizgèti* «шевелиться», *vizgùoti* «вихляться», *vizginti* «вертеть (хвостом)»; слав. *\*brjuxo* (русс. *бръухо*, чеш. *břicho*) — др.-сканд. *briòsk* «ком» (*\*bhreusgom*). Данный вопрос требует специального исследования.

<sup>42</sup> Отметим еще соответствие слав. *\*šestъ* «шест», греч.  $\sigma\iota\sigma\tau\omicron\varsigma$  «расщепленный» — др.-инд. *a-chittà* «расщепленный», где др.-инд. *ch-* может восходить не к *sk*, как обычно, а к *\*sch-* < *\*s-jh-* < *\*s-gh-* (ср.: A. Th u m b, Handbuch des Sanskrit, I, Heidelberg, [1958], стр. 309; J. W a c k e r n a g e l, Altindische Grammatik, I, Göttingen, 1896, стр. 154—155, 157).

Л. Л. ИОФИК

ОБ ОСНОВАХ АНГЛИЙСКОЙ ПУНКТУАЦИИ В СВЯЗИ  
С ПРОБЛЕМОЙ СЛОЖНОСОЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В английском языке, как и в ряде других европейских языков, в процессе создания системы пунктуации возникла традиция объединять в одном пунктуационном единстве (от точки до точки) несколько самостоятельных, синтаксически независимых, однородных предложений, связанных между собой способом сочинения и отделенных друг от друга запятой, точкой с запятой или двоеточием — знаками препинания, не являющимися, в понимании традиционной грамматики, «знаками конца предложения». Такая пунктуация и концепция, согласно которой точка является единственным знаком конца повествовательного предложения, привели к возникновению очень прочно утвердившегося в нормативной и научной грамматике понятия «сложносочиненного предложения». «Сложносочиненное предложение» можно рассматривать как единство пунктуационное и смысловое, но не грамматическое<sup>1</sup>.

Как же возникло в грамматике представление, можно сказать, миф о существовании такой синтаксической единицы, как «сложносочиненное предложение»? В настоящей работе мы попытаемся выяснить истоки этого заблуждения традиционной грамматики, причины такого резкого расхождения между графическим и синтаксическим членением текста на предложения. Для этой цели необходимо обратиться к недостаточно изученной в англистике проблеме возникновения современных норм пунктуации в той ее части, которая касается разделения знаками препинания синтаксически независимых предложений, и попытаться установить, чем они были обусловлены. В период, предшествующий созданию описательно-нормативной грамматики, в изданиях первой половины XVI в., вскоре после введения книгопечатания в Англии, знаки препинания встречаются очень редко<sup>2</sup>. В изданиях середины и второй половины XVI в. положение резко изменяется. Знаки препинания применяются здесь очень широко, но принципы, лежащие в основе их употребления, до сих пор еще не выяснены. В специальных работах внимание уделялось только пунктуации Шекспира, причем исследователи не смогли прийти к единой точке зрения относительно ее принципов, установить, основана ли она на принципе ритмо-мелодическом (указание на паузы для актеров), или структурном, или смешении того и другого<sup>3</sup>. В первой грамматике английского языка — Буллокара (1585 г.) еще нет раздела о пунктуации.

<sup>1</sup> Подробнее см.: Л. Л. Иофик, Существует ли сложносочиненное предложение в английском языке? (К вопросу о форме сложного предложения), «Научн. доклады высшей школы. Филология. науки», 1958, 2. В английском языке предложения, связанные средствами сочинения, не образуют и интонационного единства, поскольку, как правило, неконечные части пунктуационного единства произносятся с нисходящей интонацией, так же как и конечные (см.: L. E. Armstrong, I. C. Ward, A handbook of English intonation, Cambridge, 1926, стр. 26; Ch. Fries, The structure of English, New York, 1952, стр. 252 и др.).

<sup>2</sup> См., например, текст «Interlude of the four elements» в издании: J. Fischer, Das «Interlude of the four elements», Marburg, 1902. Р. Скелтон указывает, что в издании пьесы Дж. Скелтона «Magnificence» (ок. 1530 г.) он обнаружил только три знака препинания: «виргулу» (наклонную черточку) и две точки (R. Skelton, Modern English punctuation, 2-nd ed., London, 1949, стр. 160).

<sup>3</sup> См. Ch. C. Fries, Shakespearian punctuation, сб. «Studies in Shakespeare, Milton and Donne by members of the English department of the University of Michigan», New York, 1925.

Только в первой половине XVII в. грамматисты начинают уделять внимание знакам препинания. Чем же руководствовались авторы и издатели при расстановке знаков препинания в «дограмматический» период? Первое упоминание о пунктуации и ее задачах встречается в трактате Дж. Путтенема «The arte of English poesie» (1589 г.). Как Дж. Путтенем, так и авторы-гуманисты не создали какой-либо новой, специфически английской системы пунктуации, а воспользовались учением античной риторики о периоде, которое, по существу, заменяло собой учение о предложении, не разработанное в латинской грамматике античности и средневековья<sup>4</sup>, тем более что в системах пунктуации европейских языков этого времени установилась традиция называть знаки препинания терминами, принятыми у античных авторов для обозначения периода и его частей<sup>5</sup>. «Period» означало и «период», и «точку» (знак конца периода); «colon» — член периода (повышение и понижение) и двоеточие, разделявшее члены периода; «comma» — мельчайшее деление, отрезок, звено периода и запятую. Только название точки с запятой — «semicolon» — не имело прямого соответствия в античной теории периода, но оно было основано на том же принципе и означало «половина колона», «получлен», т. е. средство расчленения колонов большого объема<sup>6</sup>.

Примат учения о периоде над учением о предложении<sup>7</sup>, отождествление периода с предложением (главным образом со сложным) и членов периода с частями сложного предложения предопределили развитие теории предложения и пунктуации на ранних этапах описательно-нормативной грамматики не только в английском, но и в ряде других европейских языков. Так как античные авторы понимали период как единство смысловое и ритмическое, то в первых упоминаниях о пунктуации в трудах английских авторов встречаются указания и на смысловую, и на ритмическую функцию пунктуации, точнее — на роль знаков препинания как средств обозначения пауз различной долготы. Так, Путтенем, ссылаясь на авторитет древних авторов, говорит о трех видах пауз для различения предложений или частей речи, в зависимости от того, насколько они закончены по смыслу<sup>8</sup>, смешивая при этом части периода и знаки препинания. У Путтенема встречается, таким образом, еще в очень неполном виде первое указание на количественное соотношение пауз, передаваемых знаками препи-

<sup>4</sup> Из учения о предложении античная и средневековая грамматика создали под влиянием логики лишь определение предложения. См. E. Seidel, *Geschichte und Kritik der wichtigsten Satzdefinitionen* («Jenaer Germanistische Forschungen», hrsg. von A. Leitzmann, 27), Jena, 1935, стр. 25—26.

<sup>5</sup> См.: сб. «Античные теории языка и стиля», под ред. О. М. Фрейденберг, М.—Л., 1936, стр. 239—240; A. Bieling, *Das Prinzip der deutschen Interpunktion. nebst einer übersichtlichen Darstellung ihrer Geschichte*, Berlin, 1880, стр. 19, 23.

<sup>6</sup> Ср. определение знаков препинания у английских грамматистов XVII—XVIII вв. Точка («period») определяется Б. Джонсоном как знак предложения, совершенного во всех отношениях; Бутлером — как знак полного смысла и полного предложения; Купером — как знак, указывающий на то, что предложение, простое или сложное, закончено. Двоеточие («colon») у Бутлера — знак полного смысла, но неполного предложения (очевидно потому, что оно разделяет члены периода, которые могли быть выражены синтаксически законченными предложениями); Купер определяет двоеточие как знак, который стоит между членами периода, между повышением и понижением. Точка с запятой («semicolon») у Б. Джонсона — знак «несовершенного» предложения; у Бутлера — знак неполного смысла; у Купера — знак, который стоит в середине колона или периода, половина члена, т. е. колона; у Лоута — получлен. Запятая («comma»), как и точка с запятой, у Б. Джонсона — знак несовершенного смысла; у Лоута — отрезок («segment»), мельчайшая структурная часть. (См. B. Jonson, *The English grammar*, London, 1640, стр. 83; «Charles Butler's English grammar», hrsg. von A. Eichler, Halle, 1910, стр. 58—59; «Christopher Cooper's English teacher (1687)», ed. by B. Syndby, Lund, 1953, стр. 115; R. Lowth, *A short introduction to English grammar*, London, 1783, стр. 196).

<sup>7</sup> Е. Зейдель отмечает, что вплоть до XVIII в. учение о предложении рассматривалось в риторике (E. Seidel, указ. соч., стр. 23).

<sup>8</sup> G. Puffenham, *The arte of English poesie*, в кн.: G. G. Smith, *Elizabethan critical essays*, II, Oxford, 1904, стр. 77.

нения, ставшее впоследствии традиционным в английской грамматике<sup>9</sup> и встречающееся в русской грамматике XIX в. Согласно этой формуле, пауза при запятой равна счету 1, при точке с запятой — 2, при двоеточии — 3 и при точке — 4. У античных авторов такие точные количественные указания, по-видимому, не встречаются<sup>10</sup>. Данное количественное соотношение пауз, соответствующих знакам препинания, представляется очень искусственным и практически, очевидно, не соблюдалось.

При отсутствии каких-либо установленных и общепринятых правил и норм авторы эпохи Возрождения исходили из античных теорий периода, в которых, однако, не было достигнуто полного единства и ясности в понимании этой формы построения художественной речи<sup>11</sup>. В «An apologie for poetry» Ф. Сидни (1580 г.)<sup>12</sup> можно выделить четыре основных случая употребления точки.

1. Точка употребляется для разделения синтаксически независимых предложений в соответствии с синтаксической структурой предложения, например: «In Turky, besides their lawegiuing Diuines, they haue no other Writers but Poets. In our neighbour Countrey Ireland, where truelie learning goeth very bare, yet are theyr Poets held in a deuoute reuerence» (стр. 22) «В Турции, помимо духовенства, предписывающего законы, у них нет иных писателей, кроме поэтов. В соседней с нами стране, Ирландии, где наука не в почете, все же к поэтам относятся с благочестивым уважением». Таких случаев сравнительно немного.

2. В одном пунктуационном единстве могут быть объединены несколько синтаксически независимых предложений, очевидно, в соответствии с представлением автора о форме и содержании периода: The Phylosopher (sayth hee) teacheth a disputative vertue, but I doe an active: his vertue is excellent in the dangerlesse Academie of Plato, but mine sheweth foorth her honorable face, in the battailes of Marathon, Pharfalia, Poitiers, and Agincourt» (стр. 31) «Философ, — говорит он, — учит добродетели умозрительной, я же — действительной. Его добродетель прекрасна в Академии Платона, где не угрожает опасность, моя добродетель проявляет свою доблесть в битве при Марафоне... и Ажинкуре». В этом пунктуационном единстве заключено четыре самостоятельных предложения, содержание которых соответствовало распространенным представлениям о периоде, в частности о периоде, содержащем антитезу<sup>13</sup>. Его члены (повышение и понижение) разделены двоеточием согласно классической формуле, самостоятельные предложения в составе членов периода разделены запятыми. Таких случаев у Сидни большинство, в особенности при наличии сочинительных союзов, вводящих предложения, связанные разнообразными логическими отношениями, — противопоставления, причины и следствия и т. п., которые могут составить содержание периода. Подобные сочетания предложений, служившие для выражения развернутой мысли, при отсутствии четких грамматических рамок периода и в античной риторике, и в риторике более поздних эпох рассматривались, очевидно, как периоды и объединялись на основании этого в одно пунктуационное единство.

3. Предложения, не разделенные точкой, у Сидни не всегда соответству-

<sup>9</sup> Вплоть до XIX в., если не позже, по свидетельству Дж. Макпайта (см. G. M c K n i g h t, Modern English in the making, New York — London, 1928, стр. 421).

<sup>10</sup> Ср. следующие указания на знаки препинания и паузы у Дионисия Фракийца: «Знаков препинания три: полный, средний, запятая. И полный знак препинания есть знак законченной мысли, средний делается для того, чтобы передохнуть, запятая же есть знак мысли, еще не законченной, но нуждающейся в продолжении. Чем отличается полный знак от запятой? Временем: ведь при полном знаке остановка длительная, а при запятой — совсем небольшая» («Античные теории языка и стиля», стр. 116).

<sup>11</sup> О противоречивости античных теорий периода см. П. А. В и н о г р а д о в, Об эвритмическом, логическом, грамматическом и риторическом изучении периодов от Аристотеля доныне, «Филологич. записки», III, Воронеж, 1903, стр. 13 и сл.

<sup>12</sup> Ph. S i d n e y, An apologie for poetry, English Reprints, ed. by E. Arber, London, 1868.

<sup>13</sup> «Античные теории языка и стиля», стр. 272.

ют содержанию периода. В следующем примере четыре независимых предложения повествовательного содержания разделены двоеточием или запятой и только в конце отрывка стоит вопросительный знак: «I have a story of young Polidorus, delivered for safeties sake, with great riches, by his Father Priamus to Polimnestor king of Thrace, in the Troyan war time: Hee atter some yeares, hearing the over-throwe of Priamus, for to make the treasure his owne, murthereth the child: the body of the child is taken up Hecuba, shee the same day, findeth a slight to be revenged most cruelly of the Tyrant: where now would one of our Tragedy writers begin, but with the delivery of the childe?» (стр. 65) «Вот история юного Полидора, которого его отец, Приам, передал, вместе с сокровищами, для спасения его жизни, Полиместору, фракийскому царю, во времена Троянской войны. Через несколько лет, услышав о падении Приама, он убивает юношу, чтобы завладеть сокровищами. Гекуба находит тело юноши. В тот же день она решает жестоко отомстить тирану. С чего бы начал один из наших драматургов, как не с передачи юноши Полиместору?».

4. У Сидни возможны, наконец, случаи, правда немногочисленные, когда точка разделяет синтаксически связанные части одного предложения, например: «They say, the Lirick is larded with passionate Sonnets. The Elegiack, weepes the want of his mistresse. And that euen to the Heroical, Cupid hath ambitiously climed» (стр. 53) «Они говорят, что лирическая (комедия. — Л. И.) начинена страстными сонетами, в элегической оплакивается утрата возлюбленной, и что Купидон честолюбиво устремился даже в героическую».

На основании высказываний Путтенема и грамматистов первой половины XVII в. Фриз приходит к совершенно правильному выводу (который однако, оспаривался многими исследователями пунктуации Шекспира), а именно, что в эту эпоху было нечто, напоминающее общепринятую систему пунктуации. Фриз, однако, ошибается в определении принципа, лежащего в основе пунктуации. Он ставит знак равенства между распространенным в определениях грамматистов термином «sense» («смысл») и понятием «structure» («структура») <sup>14</sup>, поэтому в полемике со сторонниками ритмо-мелодической теории он подчеркивает, что основой пунктуации была структура предложения, тогда как на самом деле использование учения о периоде как основе пунктуации свидетельствовало о преобладании смыслового принципа над структурным. Границы периода далеко не всегда совпадали с границами предложения, поскольку для выражения «полного смысла» авторы часто объединяли знаками препинания несколько предложений. Единый принцип действительно существовал, хотя он изложен в ранних грамматиках еще в неполном, неразвернутом виде (учение о периоде как основе пунктуационных правил и учения о предложении). Ошибаясь в определении принципа, Фриз, однако, правильно указывает, что во всех рассмотренных им грамматиках с 1589 по 1900 г. общие теоретические принципы употребления знаков препинания одни и те же, что дальнейшее развитие системы пунктуации заключается лишь в детализации правил, касающихся выделения или разделения членов предложения [ср. 20 правил употребления запятой в грамматике Л. Муррей (1795 г.)].

Таким образом, расхождение между синтаксическим и графическим членением текста в английском языке, возникшее с самого начала применения пунктуации, объединение синтаксически независимых предложений в одном пунктуационном единстве, возможность разделения их знаками препинания, которые не воспринимаются как «знаки конца предложения», имело в теории далеко идущие последствия, поскольку оно привело к возникновению понятия «сложносочиненное предложение», несовместимого с грамматической природой предложения. Это расхождение можно объяс-

<sup>14</sup> C h. F r i e s, Shakespearian punctuation, стр. 78—81.

нить тем, что правила пунктуации с самого их возникновения предназначались не для предложения — единицы синтаксической, а для периода — единицы риторико-стилистической, более широкой, чем предложение. Четыре основных знака препинания, названия которых восходят к названию частей периода, как сетка, накладывались на период, его части и члены, а отождествление периода со сложным предложением привело к тому, что группа самостоятельных предложений, отделенных точкой от других предложений, стала восприниматься не как единство смысловое или пунктуационное, а как единство синтаксическое.

Основное отличие учения о предложении и пунктуации русской грамматики от английской в период создания норм заключается в том, что в русской грамматике риторика скрещивается с формальной логикой. Предложение отождествляется не только с периодом, но и с суждением (простое предложение — с одним суждением, сложное — с несколькими) и с умозаключением, тогда как английская грамматика на ранних этапах своего развития не подверглась существенному влиянию формальной логики. На правила разделения предложений знаками препинания слияние риторики с логикой не оказало заметного влияния, так как и для оформления периода, и для выражения умозаключения прибегали к сочетанию нескольких предложений, и традиционные правила были применимы к тому и другому. Е. Филомафитский пишет: «...для правильного употребления знаков препинания нужно прежде знать — и знать основательно — Логiku, Грамматику, Реторику...»<sup>15</sup>.

Правила пунктуации основаны на учении о периоде у Ломоносова: «Точка заключает целый период... Точка с запятой различает члены периодов»<sup>16</sup>. В «Российской грамматике» Академии наук мы читаем: «Точка заключает целый период или предложение, полный смысл содержащее. Две точки или двоеточие... между первую и последнюю половиной периода»<sup>17</sup>. Ср. также приведенное выше определение двоеточия Бутлером с определением двоеточия в «Письмовнике» Курганова: «Двучетие... отделяет часть речи, которая имеет полный разум сама в себе, но, однако, оставляет мысль в сомнении и ожидании знать то, что еще следует...»<sup>18</sup>. Очень четко принцип отделения законченного высказывания точкой (независимо от того, выражено ли оно одним или несколькими предложениями) сформулирован Е. Филомафитским: «Она (точка. — Л. И.) употребляется только тогда, когда в речи оканчивается смысл совершенно, — будет ли это краткое предложение, или целый многосложный период»<sup>19</sup>.

Слияние риторики с логикой, прямолинейное отождествление периода с умозаключением отчетливо выражено у А. Х. Востокова, В. Г. Белинского<sup>20</sup> и И. И. Давыдова. Последний формулирует это положение очень сжато: «Периодом называется выражение умозаключения»<sup>21</sup>. И. И. Давыдов очень четко сформулировал и принцип, на котором была основана система знаков препинания: «На составе периода основываются правила знаков препинания: периоды отделяются один от другого точкою; повышение от понижения — двоеточием; члены в повышении и понижении — точкою с запятой; придаточные предложения в членах, вводные, равно приложения, составные подлежащие, сказуе-

<sup>15</sup> Е. Филомафитский, О знаках препинания вообще и в особенности для российской словесности, «Труды Общества любителей российской словесности», ч. 2, М., 1822, стр. 133.

<sup>16</sup> «Российская грамматика Михаила Ломоносова», СПб., 1755, стр. 42.

<sup>17</sup> «Российская грамматика, сочиненная императорскою Российскою академиею», СПб., 1802, стр. 35.

<sup>18</sup> Цитирую по книге: А. Б. Шапиро, Основы русской пунктуации, М., 1955, стр. 19.

<sup>19</sup> Е. Филомафитский, указ. соч., стр. 130—131.

<sup>20</sup> А. Востоков, Русская грамматика, СПб., 1844, стр. 276; В. Г. Белинский и, Избр. письма, т. I, М., 1955, стр. 57.

<sup>21</sup> И. Давыдов, Опыт общесравнительной грамматики русского языка, СПб., 1854, стр. 383.

мыс, определения и дополнения — з а п я т о ю»<sup>22</sup>. Давыдов правильно определяет и смысловые функции знаков препинания в пределах периода (или группы предложений), говоря о том, что знаки препинания показывают взаимное отношение предложений<sup>23</sup> — именно взаимные смысловые связи предложений, а не разделение частей одного сложносочиненного предложения, как принято считать в традиционной грамматике.

В русской грамматике XVIII — первой половины XIX вв. встречаются и указания на соотношение длительности пауз, передаваемых знаками препинания, аналогичные тем, которые приводили английские грамматисты. Это также свидетельствует о том, что указанные правила не отражали национального своеобразия языка, а воспроизводили общую традицию. Авторы формулируют это положение по-разному. Н. И. Греч пишет: «...умолчание, или пауза, при точке равняется четырем темпам, или ударам, при двоеточии трем, при точке с запятой двум, а при запятой одному»<sup>24</sup>. А. Х. Востоков указывает, что запятая показывает кратчайшую остановку голоса, точка с запятой — остановку вдвое долее запятой, двоеточие — втрое долее запятой, точка показывает кратчайшую остановку четверо против запятой<sup>25</sup>.

Среди многочисленных примеров, которыми авторы иллюстрируют правила пунктуации периодов, наряду со сложноподчиненными предложениями приводятся сочетания самостоятельных предложений, объединенных соответствующими смысловыми отношениями, например: «Потемкин был знатен и силен: следственно немногие могут судить о нем беспристрастно; зависть и неблагодарность суть два главных порока человеческого сердца (Карамзин)»<sup>26</sup> или следующий пример «трехчленного периода»: «Ленивый редко успевает в своих предприятиях оттого, что всякий труд для него тягостен; а без труда, как говорит пословица, нет плода»<sup>27</sup>.

Таким образом, в основе пунктуационных правил в русских грамматиках XVIII и первой половины XIX вв. лежит та же традиция — перенесение риторико-стилистического учения о периоде и его членении на учение о предложении и пунктуации<sup>28</sup>. Этим объясняется интернациональность правил употребления знаков препинания при разделении предложений, а также возникновение традиции объединять несколько самостоятельных предложений в одно пунктуационное единство, разделять такие предложения не только точкой, но и запятой, точкой с запятой и двоеточием.

Если в грамматике нового времени произошел переход от представления о предложении как единстве преимущественно логическом (выражении законченной мысли) к представлению о предложении как единстве логико-синтаксическом, имеющем определенную форму, то правила пунктуации, созданные на ранних этапах развития национальных грамматик, отстали от современной грамматической мысли и в известной степени тормозят ее, сковывая грамматистов рамками традиционной пунктуации, создавая иллюзию формы одного предложения там, где фактически предложений несколько. Именно гипноз пунктуации и препятствует установлению и широкому распространению в лингвистическом обиходе строго синтаксического подхода к определению границ предложения.

<sup>22</sup> Там же, стр. 387.

<sup>23</sup> Там же, стр. 342, 387.

<sup>24</sup> «Практическая русская грамматика, изданная Н. Гречем», СПб., 1834, стр. 514.

<sup>25</sup> См. А. Востоков, указ. соч., стр. 278. [Ранее всего это соотношение приведено в неизданной грамматике ученика Ломоносова А. А. Барсова (1797 г.) (см. А. Б. Шапиро, Основы русской пунктуации, стр. 21)].

<sup>26</sup> И. Давыдов, указ. соч., стр. 386.

<sup>27</sup> А. Востоков, указ. соч., стр. 277.

<sup>28</sup> Исследователи русской пунктуации не всегда подчеркивают, что основой, источником пунктуационных правил является не учение о предложении, а учение о периоде (см. об этом: А. Б. Шапиро, указ. соч., стр. 24, 29; Н. С. Поселов, Об основах пунктуации в русском языке, «Р. яз. в шк.», 1936, 4, стр. 73, 74; В. В. Виноградов, Из истории изучения русского синтаксиса (От Ломоносова до Потебни и Фортунатова), М., 1958, стр. 45, 118—119, 133].

## ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Е. В. ПАДУЧЕВА и А. Л. ШУМИЛИНА

## ОПИСАНИЕ СИНТАГМ РУССКОГО ЯЗЫКА

(В связи с построением алгоритма машинного перевода)

## 1

В ходе работы по составлению алгоритмов перевода было выяснено, что для получения полноценного текста на выходном языке необходимо «переводить» не только лексические единицы и морфологические категории данного языка, но и синтаксические отношения между словами<sup>1</sup>. В данной статье сделана попытка составить последовательное описание синтаксических отношений между словами в русском языке<sup>2</sup>. Различие синтаксических отношений между словами обуславливается различием типов словосочетаний. Класс словосочетаний с тождественными синтаксическими отношениями мы называем с и н т а г м о й (более подробные разъяснения см. ниже). В данной работе приводится список синтагм и показывается, каким путем он был получен.

Предварительно необходимо сделать две существенные оговорки: 1) список синтагм составлен не для русского языка в целом, а для языка математических текстов<sup>3</sup> (имеются в виду письменные тексты); 2) в понятие «синтагма» часто включаются только словосочетания с подчинительной связью<sup>4</sup>. В нашем понимании такого ограничения у термина «синтагма» нет. Однако в список вошли пока только синтагмы с подчинительной связью между компонентами. В дальнейшем список предполагается дополнить, включив в него и синтагмы с сочинительной связью.

Мы ставили своей задачей получить конструктивное определение понятия «синтагма», т. е., четко ограничив круг исходных неопределяемых понятий<sup>5</sup>, разработать формальную, применимую ко всем языкам процедуру анализа текста, которая давала бы возможность получить список синтагм для этого текста. Однако число неопределяемых понятий пока очень велико, и, что особенно существенно, в число неопределяемых входит понятие тождества синтаксических отношений в словосочетаниях,

<sup>1</sup> См. И. А. М е л ь ч у к, Модель языка-посредника для машинного перевода, сб. «Тезисы Конференции по машинному переводу», М., 1958.

<sup>2</sup> Описание типов синтаксических отношений русского языка, основанное на несколько ином подходе к проблеме, см. в работе: М. К. П е т е р с о н, Очерк синтаксиса русского языка, М.—Пг., 1923.

<sup>3</sup> Исследование производилось на следующих текстах: А. Г. К у р о ш, Курс высшей алгебры, М., 1956; Г. М. Ф и х т е н г о л ь ц, Курс дифференциального и интегрального исчисления, 4-е изд., 1—3, М.—Л., 1958—1960; С. П. Ф и н и к о в, Аналитическая геометрия, М., 1952. Работа по описанию словосочетаний проводилась Э. М. Волоцкой, Е. В. Падучевой, И. Н. Шелимовой и А. Л. Шумиловой; изложение ее результатов см.: Э. М. В о л о ц к а я, Е. В. П а д у ч е в а, И. Н. Ш е л и м о в а и А. Л. Ш у м и л и н а, Синтагмы русского языка, «Тезисы Конференции по машинному переводу», М., 1958.

<sup>4</sup> См.: С. И. К а р ц е в с к и й, Повторительный курс русского языка, М.—Л., 1928, стр. 24—36; А. А. Р е ф о р м а т с к и й, Введение в языкознание, М., 1960, стр. 252—259.

<sup>5</sup> О термине «неопределяемое понятие» см. А. Т а р с к и й, Введение в логику и методологию дедуктивных наук, М., 1948 (перевод с англ.).

а это понятие едва ли можно считать более простым и интуитивно более ясным, чем само понятие «синтагма», которое требовалось определить. Естественно, что при введении неопределяемых понятий в ряде случаев выбор того, а не иного решения был в какой-то мере произвольным. Тем не менее перечень синтагм представляет, по-видимому, определенный практический интерес (в частности он может быть использован при составлении алгоритмов перевода с русского и на русский язык), а описанная процедура его получения обладает достаточной общностью. В дальнейшем, очевидно, можно будет получить конструктивное определение для некоторых из понятий, которые сейчас были приняты за неопределяемые.

Необходимые пояснения к списку синтагм состоят из двух частей: в первой содержится перечень понятий, существенных для определения понятия синтагмы; во второй описывается ряд формальных операций, осуществление которых приводит к получению списка синтагм в его окончательном виде.

## 2

Одним из исходных понятий является понятие словосочетания. Словосочетание состоит из двух синтаксически связанных полнозначных слов. Как правило, можно без особых затруднений перечислить все словосочетания предложения. Например, в предложении *Для записи нулевого вектора мы употребляем символ ноль* выделяются следующие словосочетания: *мы употребляем, употребляем для записи, для записи вектора, нулевого вектора, употребляем символ, символ ноль*. Однако формы выражения синтаксической связности слов в словосочетании (различные виды согласования, управления или просто контактное расположение слов) настолько сложны и специфичны для каждого языка, что на этой основе дать удовлетворительное определение понятия словосочетания, т. е. синтаксически связной группы слов, едва ли возможно<sup>6</sup>. Поэтому мы считаем, что нам дано множество всех конкретных словосочетаний того текста, для которого составляется список синтагм.

В словосочетании два компонента. Один из них мы будем называть управляемым, другой — управляющим. Определения этих терминов, пригодного для всех типов словосочетаний, также не дается. Условимся, что управляемое и управляющее заданы для каждого словосочетания в исходном списке.

Примечание. Ясно, что сведение всех словосочетаний в предложении к двучленным и выделение в каждом словосочетании управляемого и управляющего есть некоторая схематизация; ср. сочетания *достаточно прочный, чтобы выдержать; назовем систему совместной* и т. п., где группа из трех синтаксически связанных полнозначных слов с трудом поддается расчленению на двучленные словосочетания; ср. также словосочетания типа *много решений*, предикативные словосочетания и словосочетания с сочинительной связью, где управляющее и управляемое не выделяются достаточно естественным образом.

В большинстве случаев управляющее является центральным словом словосочетания — словом, которое выполняет в предложении ту же функцию, что и словосочетание в целом. Однако для некоторых словосочетаний управляющее не может быть выделено по этому признаку, и тогда выделение управляемого и управляющего является в определенной степени условным. Так, в словосочетании *много решений* управляющим считается слово *много*, в сочетании предикативного типа управляющим считается подлежащее, в сочетании с сочинительной связью — первое из сочиненных слов.

<sup>6</sup> Ср. другой подход к определению понятия синтаксической связности в работе О. С. Кулагиной, пригодный, однако, лишь в случае текстов определенным образом ограниченной структуры (О. С. Кулагина, Об одном способе определения грамматических понятий на базе теории множеств, «Проблемы кибернетики», 1, М., 1958).

Каждое слово в предложении входит в одно-единственное словосочетание в качестве управляемого компонента. Исключение составляет подлежащее в двусоставных предложениях и главный член в односоставных: эти слова не входят в качестве управляемого компонента ни в одно словосочетание. Для вводных слов управляющим считается сказуемое. В качестве управляющего одно и то же слово может входить в несколько различных словосочетаний одновременно или не входить ни в одно словосочетание. С точки зрения излагаемого способа описания синтагм, двучленность словосочетания, вообще говоря, не является существенной. Однако такая схематизация удобна, так как она дает возможность простого описания структуры предложения в целом: если в простом предложении известно управляющее каждого слова, то можно считать, что мы имеем полную информацию о структуре этого предложения].

Следует еще раз подчеркнуть, что под словосочетанием мы понимаем только конкретное словосочетание, т. е. сочетание двух лексически определенных синтаксически связанных слов, а не сочетание грамматических классов слов, хотя обычное словопотребление допускает в равной мере оба понимания.

Вторым существенным для нас понятием является тождество синтаксических отношений в словосочетаниях. Это понятие, как уже отмечалось, не является достаточно ясным даже на интуитивном уровне. По-видимому, наше представление о тождестве синтаксических отношений основывается преимущественно на тождестве формальных, грамматических признаков слов и словосочетаний (таких, например, как часть речи, падеж, порядок слов и т. д.). Было, однако, установлено, что нельзя составить такого набора формальных признаков словосочетания, чтобы понятие «класс словосочетаний с тождественными формальными признаками» совпало по объему с интуитивным представлением о множестве словосочетаний с тождественными синтаксическими отношениями. Так, словосочетаниям *решает уравнение* и *решает методом* соответствуют несомненно различные синтаксические отношения. Естественно считать, что средством выражения этого различия являются разные падежи существительных, и, таким образом, падеж (в частности, противопоставление вин. и твор. падежей) следует включить в число существенных формальных признаков словосочетания. Однако в этом случае различными наборами грамматических признаков будут обладать также словосочетания *нижнюю границу* и *нижней границей*, хотя интуитивно ясно, что синтаксические отношения в этих словосочетаниях тождественны.

Таким образом, понятие тождества синтаксических отношений в словосочетаниях нельзя определить на основе понятия формального признака словосочетания. Не исключено, конечно, что это понятие будет впоследствии определено как-либо иначе, например через взаимозаменяемость или взаимозаключаемость словосочетаний в одной синтаксической позиции в предложении, через участие словосочетаний в трансформациях синтаксических структур и т. д. Однако на этом пути, безусловно, встретятся серьезные трудности, и в пределах данной работы эти возможности не рассматриваются. Итак, понятие тождества синтаксических отношений в словосочетаниях считается неопределяемым и задается разбиением множества словосочетаний на классы словосочетаний с тождественными синтаксическими отношениями.

Разбиение, которое было принято при составлении нашего списка синтагм, безусловно, не является единственно возможным. Интуитивное представление о тождестве и различии синтаксических отношений оказывается особенно расплывчатым, с одной стороны, там, где различие синтаксических отношений выражается не столько грамматическими признаками, сколько принадлежностью слов к лексически различным группам, и, с другой стороны, там, где тождество синтаксических отношений обуслов-

лено по полным совпадением, а синонимией различных грамматических средств. Так, словосочетания *обладать методом, называться методом и решать методом* считаются словосочетаниями с тождественными синтаксическими отношениями, хотя определенные различия между этими словосочетаниями, без сомнения, можно установить. В то же время синтаксические отношения в словосочетаниях *круги Эйлера и эйлеровские круги* можно было бы считать тождественными, тогда как по нашему разбиению они считаются различными. Как правило, во всех сомнительных случаях мы придерживались такого разбиения, которое в большей мере соответствует близости словосочетаний по их грамматической структуре. Предполагается, что первоначальное разбиение годится в качестве исходного. Разного рода изменения могут быть внесены при установлении синонимии словосочетаний в пределах одного языка и при установлении соответствий между словосочетаниями разных языков в процессе перевода.

Третьим существенным понятием является понятие синтаксического признака. Синтаксическим является тот признак слова или словосочетания, который в принципе может быть средством различения словосочетаний с разными синтаксическими отношениями. По-видимому, если считать понятие тождества синтаксических отношений заданным, набор синтаксических признаков словосочетаний может быть получен при помощи более или менее простого алгоритма<sup>7</sup>. Однако пока такой алгоритм не разработан, понятие синтаксического признака должно быть введено отдельно, хотя оно явно не является независимым от понятия тождества синтаксических отношений.

Практически у нас имелась вначале некоторая гипотеза о составе признаков, участвующих в различении синтаксических отношений в русском языке, — гипотеза, основанная на описаниях русского языка в традиционных грамматиках. Эта гипотеза проверялась в ходе работы по описанию словосочетаний. Некоторые из признаков, включенных первоначально в число синтаксических, оказались несущественными для различения синтаксических отношений (например, число глагола, падеж прилагательного) или почти всегда несущественными (порядок слов); некоторые признаки пришлось добавить (например, признак «глагольность» для существительного, «синтаксическая группа» и др.).

Каждое полнозначное слово может быть охарактеризовано с точки зрения семи синтаксических признаков (см. ниже). Что касается служебных слов, то они сами по себе никакими признаками не обладают. Они считаются связанными с тем или иным полнозначным словом, и эта связь может явиться синтаксическим признаком соответствующего полнозначного слова. Значения признаков мы называем дескрипторами. Любой цепочке дескрипторов (в частном случае она может состоять из одного элемента) соответствует некоторый класс слов (в частности, это может быть пустой класс, т. е. класс, не содержащий ни одного элемента). Ниже следует полный перечень синтаксических признаков и их значений (см. таблицу 1).

Первый признак — морфологический разряд; этот признак имеет четыре значения: *С* (существительное), *Прл* (прилагательное), *Г* (глагол), *Н* (наречие). Соответствия между традиционным отнесением слов к частям речи и значениями признака «морфологический разряд» таковы: в *С* входят существительные и местоименные существительные; в *Прл* — прилагательные, местоименные прилагательные, причастия, порядковые числительные, количественные числительные во всех падежах, кроме им. и вин. падежей<sup>8</sup>, и числительное *один*; в *Г* входят глаголы (в личной

<sup>7</sup> При этом не обязательно, чтобы для каждого разбиения множества словосочетаний на классы словосочетаний с тождественными синтаксическими отношениями набор синтаксических признаков был единственным.

<sup>8</sup> Количественные числительные в функции существительного (например: *делить на два, общим наибольшим делителем будет три*) независимо от падежа входят в разряд *С*.

форме, в форме инфинитива и деепричастия); в *H* — наречия<sup>9</sup>, частицы, некоторые из слов так называемой «категории состояния» и количественные числительные в им. и вин. падеже, кроме слова *один*. Далее идут три признака (см. графы 2—4 таблицы) с общим названием «морфологическая форма». В таблице они обозначены номерами, поскольку каждый из трех признаков может иметь различный смысл для слов с различным значением признака «морфологический разряд».

Вторым признаком для слов разряда *C* является «падеж», который имеет пять значений: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный (обозначения: *им, род, вин, дат, твор*); для слов разряда *Прл* — «форма» со значениями: краткая, полная, (*крат, полн*); для слов разряда *Г* — так называемая «репрезентация действия», признак, который может принимать одно из трех значений: личная форма, инфинитив, деепричастие (*лич, инф, деепр*).

Третьим признаком для слов разрядов *C* и *Прл* является «глагольность» со значениями: глагольное, неглагольное (*глагол, неглагол*); слова, охарактеризованные дескрипторами {*Прл-глагол*} — это причастия. Для слов разряда *Г* третьим признаком является «залог»: пассивный активный (*пас, акт*).

Четвертым признаком для слов разрядов *Прл* и *H* является «степень сравнения» со значениями: сравнительная, несравнительная (*сравни, несравни*).

Пятый и шестой признаки объединяются под общим названием «служебное слово». Служебными словами считаются предлоги, связки, союзы, а также некоторые знаки препинания: тире, запятая. Служебными считаются слова *это* и *значит* в определенной позиции. Значения признака «служебное слово» также различны для слов разных морфологических разрядов. Дескрипторы признака «служебное слово» размещаются в двух графах (т. е. считается, что здесь два признака), так как одно слово может иметь при себе два служебных из разных граф. Пояснение условных обозначений таблицы: *предл* — предлог; *был* — связки «быть», «являться» во всех формах изъявительного наклонения; *быть* — связка «быть» в инфинитиве; *нетсл<sub>1</sub>* — отсутствие служебного слова из первой графы; *нетсл<sub>2</sub>* — из второй. Сочетание дескрипторов *нетсл<sub>1</sub>* и *нетсл<sub>2</sub>* может быть (в любом контексте) заменено обобщающим дескриптором *нетсл*.

Наконец, седьмой признак — «синтаксическая группа». Для каждого морфологического разряда этот признак содержательно различен. Для слов разряда *C* этот признак — «местоименность» значения: местоименное, неместоименное (*мест, немест*). Для слов разряда *Г* — это «переходность» значения: переходный, непереходный (*перех, неперех*); для слов разряда *H* — «управление существительным в род. падеже»; значения: управляет родительным падежом — не управляет (*упрод, неупр*). Распределение значений этого признака для конкретных слов задается списком: имеются списки, в которых перечислены все местоименные существительные, переходные глаголы и наречия, управляющие существительным в родительном падеже. Слова, не вошедшие в списки, обладают, соответственно, значениями *немест, неперех, неупр*<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Вообще говоря, можно построить описание синтагм таким образом, чтобы наречия на -о типа *легко, однозначно* и т. д. относились не к классу {*H*}, а к классу {*Прл-крат-сред*}, где *сред* — это дескриптор признака «род», который в этом случае нужно было бы включить в число синтаксических признаков слов класса {*Прл*}.

<sup>10</sup> Списки, по которым определяется синтаксическая группа слова, были получены следующим образом. Одним и тем же значением по признаку «синтаксическая группа» обладают все слова данного морфологического разряда, которые имеют одну и ту же «синтаксическую валентность», т. е. способность (или неспособность) вступать в синтаксическую связь с некоторым классом слов. Перечисленные группы были выделены, соответственно, по признаку несочетаемости в качестве управляющего со словами класса {*Прл-полн*}; сочетаемости с классом {*C-нетсл<sub>2</sub>-вин*} и сочетаемости с классом {*C-род*}.

Кроме синтаксических признаков слова, при описании синтагм используется один признак словосочетания — расположение компонентов словосочетания («порядок»). Он имеет два значения: «управляющее справа от управляемого» (в таблице обозначается цифрой 1) и «управляющее слева от управляемого» (обозначается цифрой 2).

Характеристика слова по некоторому признаку может в определенном сочетании с другими дескрипторами не иметь смысла. В таком случае слово имеет по этому признаку дескриптор 0. Так, для слов класса *H* значением признаков 2, 3 и 5 является 0. Индекс при нуле (см. табл. 1) соответствует номеру признака. Синтаксические признаки слова как компонента синтагмы представлены на этой же таблице.

Таблица 1

## Синтаксические признаки слова как компонента синтагмы

Морфологический разряд	Морфологическая форма			Служебное слово		Синтаксическая группа
	1	2	3	4	5	
<i>C</i>	<i>им род дат вин твор</i>	<i>глагол неглагол</i>	0 <sub>4</sub>	<i>тире нетсл<sub>1</sub></i>	<i>предл был быть это нетсл<sub>2</sub></i>	<i>мест немест</i>
<i>Прл</i>	<i>крат полн</i>	<i>глагол неглагол</i>	<i>сравни несравни</i>	<i>не нетсл<sub>1</sub></i>	<i>чем был быть запятая нетсл<sub>2</sub></i>	<i>перех неперех</i>
<i>Г</i>	<i>лич деепр инф</i>	<i>пас акт</i>	0 <sub>4</sub>	<i>не тире нетсл<sub>1</sub></i>	<i>значит чтобы нетсл<sub>2</sub></i>	<i>перех неперех</i>
<i>H</i>	0 <sub>2</sub>	0 <sub>3</sub>	<i>сравни несравни</i>	0 <sub>5</sub>	<i>был нетсл<sub>2</sub></i>	<i>упрод неупр</i>

Каждый из признаков является **ф о р м а л ь н ы м** в том смысле, что может быть составлен алгоритм, который будет приписывать слову и словосочетанию все их синтаксические признаки. В частности, такой алгоритм может состоять из словаря основ, где для каждой основы указана принадлежность к части речи и синтаксической группе, правил морфологического анализа, которые на основе анализа окончаний и некоторых синтаксических проверок определяют морфологическую форму слова, и вспомогательных правил синтаксического анализа, которые позволяют установить, с каким однозначным словом связано данное служебное. Предполагается, что в результате работы этого алгоритма слово будет иметь по каждому признаку только одно значение (так, слово *множество* будет иметь по признаку «падеж» только одно значение, например значение *вин*); для слов типа *легко*, *однозначно* и т. д. должно быть определено, являются ли они в данной синтаксической позиции средним родом краткого прилагательного или наречием; иными словами, в значениях признаков не должно оставаться неустранимой омонимии.

## 3

На основе рассмотренных понятий формулируется определение понятия «синтагма», которое было приведено в начале работы: **с и н т а г м а** есть класс словосочетаний с тождественными синтаксическими отношениями. Для получения списка син-

тагм необходимо, однако, решить еще одну задачу: необходимо установить «план выражения» для синтагмы, т. е. выделить синтаксические признаки, общие для данного класса словосочетаний и отличающие его от всех остальных. Установление плана выражения синтагмы производится путем осуществления следующих операций.

**Первая операция.** Располагаем компоненты конкретного словосочетания так, чтобы первым стояло управляющее, а вторым — управляемое, и заменяем словосочетание на цепочку синтаксических признаков. В результате этой операции мы получаем *схемы словосочетаний*, или просто *схемы*. Например, конкретным словосочетаниям *нижняя граница, рациональное число, прямой угол, комплексные числа* соответствует одна схема<sup>11</sup>.

$$(1) C \cdot \text{им} \cdot \text{негглагол} \cdot 0_4 \cdot \text{нетсл}_1 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{немест} \cup \text{Прл} \cdot \text{полн} \cdot \text{негглагол} \cdot \text{несравн} \cdot \text{нетсл}_1 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{неперех} \cup 1$$

**Вторая операция.** Объединяем в один класс схемы, описывающие словосочетания с тождественными синтаксическими отношениями. В частном случае класс будет состоять из одной схемы, тогда вторая операция на этом заканчивается. Однако чаще всего в одном классе будет несколько схем. Сопоставляем друг с другом схемы одного и того же класса. При этом могут представиться следующие возможности:

а) В один класс входит некоторая совокупность схем, тождественных по всем признакам, кроме одного. Рассмотрим, например, схемы (2) и (3) (соответствующие словосочетаниям *рациональное число* и *последовательное увеличение*):

$$(2) C \cdot \text{им} \cdot \text{негглагол} \cdot 0_4 \cdot \text{нетсл}_1 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{немест} \cup \text{Прл} \cdot \text{полн} \cdot \text{негглагол} \cdot \text{несравн} \cdot \text{нетсл}_1 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{неперех} \cup 1$$

$$(3) C \cdot \text{им} \cdot \text{глагол} \cdot 0_4 \cdot \text{нетсл}_1 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{немест} \cup \text{Прл} \cdot \text{полн} \cdot \text{негглагол} \cdot \text{несравн} \cdot \text{нетсл}_1 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{неперех} \cup 1$$

Эти схемы различаются только значением двоичного признака «глагольность» для управляющего. Их нужно объединить в одну, которая будет иметь следующий вид:

$$(4) C \cdot \text{им} \cdot (\text{негглагол} \vee \text{глагол}) \cdot 0_4 \cdot \text{нетсл}_1 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{немест} \cup \text{Прл} \cdot \text{полн} \cdot \text{негглагол} \cdot \text{несравн} \cdot \text{нетсл}_1 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{неперех} \cup 1$$

Символ  $\vee$  означает, что значения признака «глагольность» связаны в этой схеме отношением дизъюнкции, т. е. что признак «глагольность» может иметь либо значение *глагол*, либо значение *неглагол*.

Если в объединенной схеме отношением дизъюнкции связаны все значения данного признака, то запись схемы можно сократить: дескрипторы, связанные отношением дизъюнкции, можно устранить. Тогда вместо схемы (4) мы получим схему (5):

$$(5) C \cdot \text{им} \cdot 0_4 \cdot \text{нетсл}_1 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{немест} \cup \text{Прл} \cdot \text{полн} \cdot \text{негглагол} \cdot \text{несравн} \cdot \text{нетсл}_1 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{неперех} \cup 1$$

Если же отношением дизъюнкции связаны не все дескрипторы некоторого признака, то устранить дизъюнктивные дескрипторы нельзя. Так, при объединении схем:

$$(6) Г \cup Н \cdot 0_2 \cdot 0_3 \cdot \text{несравн} \cdot 0_5 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{неупр} \cup 1$$

$$(7) Прл \cup Н \cdot 0_2 \cdot 0_3 \cdot \text{несравн} \cdot 0_5 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{неупр} \cup 1$$

мы получим схему:

$$(8) Г \vee Прл \cup Н \cdot 0_2 \cdot 0_3 \cdot \text{несравн} \cdot 0_5 \cdot \text{нетсл}_2 \cdot \text{неупр} \cup 1,$$

в которой знак дизъюнкции в левом компоненте уже нельзя заменить никаким более кратким обозначением, так как признак «морфологический разряд» имеет четыре значения, из которых отношением дизъюнкции в схеме (8) связаны только два.

<sup>11</sup> В описании схем и далее в описании синтагм между дескрипторами одного и того же компонента ставится точка; компоненты соединяются друг с другом и с дескриптором признака «шорядок» знаком  $\cup$ .

Таблица 2

## Синтагмы русского языка

№№	Компоненты синтагм		Порядок	Примеры
	Управляющее	Управляемое		
1	а	<i>С·им·нетсл</i>	2	матрица есть таблица; примером является уравнение; сложение — операция, мощность — это то (,что...); это операция;
	б	<i>С·им·негглагол·нетсл·мест</i>		
2	а	<i>С·им·нетсл</i>	2	система несовместная; углы равны; решение проще; коэффициенты будут равны; оно будет однозначным;
	б	<i>С·им·нетсл</i>		
3	а	<i>С·им·нетсл</i>		функция убывает; решения не существуют; не ставится условия;
	б	<i>С·род·нетсл</i>		
4		<i>С·род·нетсл<sub>1</sub>·нетсл<sub>2</sub></i>	2	решений много; значенный будет два;
5		<i>Г·инф·нетсл<sub>2</sub></i>		считать целесообразно; проверить можно;
6		<i>Г·инф·нетсл<sub>2</sub></i>	2	решить—значит найти;
7		<i>С·негглагол·мест</i>		система векторов; ее координаты;
8		<i>С·глагол·мест</i>	2	деление окружности;
9		<i>Н·упрод</i>	2	много решений; два значения;
10		<i>(Г ∨ Прл·глагол·несравн)·неперех</i>		требующий доказательства касается окружности;
11		<i>С·мест ∨ Г ∨ Прл</i>		противоречие условию; сопоставим элементу; равные ему;
12	а	<i>(Г ∨ Прл·глагол·полн·несравн)·перех</i>		получим уравнение; не имеет смысла; не дающий решения;
	б	<i>(Г·акт ∨ Прл·глагол·полн·несравн)·неперех</i>		
13		<i>Г ∨ С·глагол·мест ∨ Прл·глагол·несравн</i>		решение методом; получается заменой; называется функцией; полученный зачеркиванием;

Таблица 2 (продолжение)

№ №	Компоненты синтагм		Порядок	Примеры
	Управляющее	Управляемое		
14	<i>С·мест √ Г √ Прл √ Н</i>	<i>С·а редл</i>		<i>получается в результате подстановки; много-член в кольце; равные по условию; вправо от начала;</i>
15	а <i>Прл·сравн·чем·неглагол·крат·неперех</i> б <i>Прл·сравн·нетсл<sub>2</sub>·неглагол·крат·неперех</i>	<i>С·нетсл<sub>1</sub>·(предл √ нетсл<sub>2</sub>)</i> <i>С·род·нетсл<sub>1</sub>·нетсл<sub>2</sub></i>	2 2	<i>проце, чем вычисление; больше, чем для решения; меньше единицы;</i>
16	<i>С·неглагол·мест</i>	<i>С·им·нетсл·мест</i>	2	<i>знак минус;</i>
17	а <i>С·мест</i> б <i>С·им</i> в <i>С·Г им·нетсл<sub>1</sub>·мест</i>	<i>Прл·полн·несравн·нетсл<sub>2</sub>·неперех</i> <i>Прл·полн·несравн·запятая</i> <i>Прл·полн·несравн·нетсл<sub>2</sub></i>	1 2 3	<i>параллельные прямые; отрезок, отсеченный; прямых параллельных (прямой, но...);</i>
18	<i>Г √ Прл·глагол·несравн</i>	<i>Прл·полн·нетсл<sub>2</sub>·несравн</i>		<i>называется убывающей;</i>
19	<i>С·мест √ Г √ Прл √ Н</i>	<i>Н·нетсл·неупр</i>		<i>весьма простой; хорошо известный; рассмотрим теперь; используется реже; лишь точка; только вправо;</i>
20	<i>Г</i>	<i>Г·инф·чтобы</i>		<i>найти, чтобы знать;</i>
21	<i>Г·Г деепр</i>	<i>Г·деепр·нетсл<sub>2</sub></i>		<i>сохраняя..., получить;</i>
22	а <i>С·мест √ Г √ Прл·глагол·несравн</i> б <i>Н·неупр</i>	<i>Г·инф·нетсл<sub>2</sub></i> <i>Г·инф·нетсл<sub>1</sub></i>	2	<i>необходимость вычислить; может дать; легко проверить; позволяющий вычислить; вправе считать; легко проверить;</i>
23	<i>С·мест √ Г √ Прл·глагол·несравн √ Н</i>	<i>С·твор·нетсл<sub>1</sub>·быть</i>		<i>может быть решением; должен быть решением; право быть руководителем;</i>
24	а <i>С·мест √ Г √ Прл·глагол·несравн·нетсл<sub>2</sub></i> б <i>Г √ Н·неупр</i>	<i>Прл·полн·несравн·быть</i> <i>Прл·крат·быть</i>		<i>опасность быть замеченным; перестают быть равными; можно быть кратким.</i>

Если отношением дизъюнкции связаны все дескрипторы данного признака, кроме одного, то дизъюнкцию можно заменить на отрицание; например, вместо цепочки  $\{лич \vee инф\}$  можно писать  $\{\neg деепр\}$  ( $\neg$  — знак отрицания).

Объединенные схемы попадают в тот же класс, к которому принадлежали исходные, и могут быть подвергнуты тому же преобразованию относительно других признаков. Так, в схеме (4), в результате сопоставления с другими схемами того же класса, можно будет сократить признаки 5 и 6 управляющего компонента (см. табл. 1) и признаки 3, 5 и 7 управляемого компонента; в результате мы получим следующую схему:

$$(9) C \cdot им \cdot 0_4 \cdot немест \cup Пря \cdot полн \cdot несправ \cdot нетсл_2 \cup 1$$

б) В один класс входит некоторая совокупность схем, у которых признаки одного компонента тождественны, а вторые компоненты различаются сразу по двум или нескольким признакам. Таковы, например, схемы:

$$(10) C \cdot род \cdot 0_4 \cdot нетсл_1 \cdot нетсл_2 \cup Г \cdot лич \cdot пас \cdot 0_4 \cdot не \cdot нетсл_2 \cdot перех$$

$$(11) C \cdot род \cdot 0_4 \cdot нетсл_1 \cdot нетсл_2 \cup Г \cdot лич \cdot акт \cdot 0_4 \cdot не \cdot нетсл_2 \cdot неперех$$

(словосочетания *не ставится условия и решения не существует*). Схема, полученная в результате объединения этих двух схем, имеет следующий вид:

$$(12)^a C \cdot род \cdot 0_4 \cdot нетсл_1 \cdot нетсл_2 \cup Г \cdot лич \cdot 0_4 \cdot не \cdot нетсл_2 \cdot (пас \cdot перех \vee акт \cdot неперех)$$

Отношением дизъюнкции в этой схеме связаны не отдельные дескрипторы, как в случае 2а, а цепочки дескрипторов. Операция 2б должна совершаться только после того, как операция 2а произведена во всех случаях, где это возможно.

Третья операция. Из схемы устраняем избыточные дескрипторы. Дескриптор называется избыточным, если он может быть предсказан на основе одного или нескольких других дескрипторов той же схемы. Если применить эту операцию к схеме (12), то эта схема примет вид:

$$(13) C \cdot род \cdot нетсл_2 \cup Г \cdot лич \cdot не \cdot (пас \vee неперех)$$

Дескриптор *нетсл<sub>1</sub>* у управляющего является избыточным, так как существительное, имеющее при себе тире, не может быть связано с глаголом в личной форме; дескриптор *нетсл<sub>2</sub>* у управляемого является избыточным, так как служебные слова *значит* и *чтобы* могут присоединяться только к глаголу в форме инфинитива; дескриптор *перех* является избыточным, так как только переходные глаголы могут иметь дескриптор *пас*; дескриптор *акт* является избыточным, так как непереходные глаголы не могут иметь прогнвооставления залогов. Естественно, избыточными являются все нулевые дескрипторы, поскольку они ничему не противопоставляются. Третья операция является факультативной: ее осуществление способствует только сокращению записи синтагмы, которое можно и не производить. В таблице синтагм избыточные дескрипторы не устраняются, а печатаются светлым шрифтом в противоположность неизбыточным, которые даны полужирным<sup>12</sup>.

В результате осуществления всех описанных операций в каждом классе остается либо одна, либо несколько схем. Если схема одна, то она и является описанием плана выражения для синтагмы. Если же класс словосочетаний остается представленным несколькими схемами, эти схемы называются вариантами синтагмы (синтагмы, представленные несколькими вариантами, см., например, под номерами 1, 2, 12). Дескрипторы, из которых состоит окончательная схема, называются *различительными* дескрипторами (или различительными признаками) синтагмы (см. табл. 2).

Окончательный список содержит 24 синтагмы. Заметим, что в списке

<sup>12</sup> Устраняются только «абсолютно избыточные» — нулевые дескрипторы.

не отражено многообразие таких синтагм, где различие синтаксических отношений выражается различием предлогов. Проще всего было бы, по-видимому, считать, что различие предлогов всегда выражает различие синтаксических отношений, и для каждого предлога строить новую синтагму. Однако в действительности разные предлоги могут выражать одинаковые синтаксические отношения (в случае синонимии предлогов), а один предлог может выражать различные синтаксические отношения (омонимия предлогов). Этот вопрос требует самостоятельного изучения, а пока мы условно приняли, что различие предлога не вносит никаких изменений в характер синтаксических отношений, и в списке имеется всего одна синтагма с предлогами.

Расположение синтагм в списке является произвольным. Насколько это было возможно, мы старались помещать рядом синтагмы, близкие с точки зрения формы второго компонента (управляемого); см. синтагмы 7—16, где вторым компонентом является падежная форма существительного или предложная группа; синтагмы 17—19, где управляемым является прилагательное или наречие; синтагмы 20—24, где управляемым являются глагольные формы — деепричастие, инфинитив и «эквиваленты инфинитива» (т. е. существительные и прилагательные со связкой в инфинитиве). Исключение было сделано для предикативных синтагм, которые представлялось целесообразным поместить рядом независимо от формы компонентов (из предикативных синтагм особый интерес представляют синтагмы 36 и 4, где управляющим компонентом является существительное в родительном падеже; ср. словосочетания *решения не существует* и *решений много*).

Различительных дескрипторов синтагмы достаточно для того, чтобы определить характер синтаксического отношения в словосочетании, для которого известны управляемое и управляющее; иными словами, на основе этих признаков можно каждое словосочетание однозначно отнести к какой-либо одной синтагме, и нет такого словосочетания, которое можно было бы отнести сразу к двум синтагмам. Однако различительных признаков синтагмы недостаточно для того, чтобы утверждать наличие данного синтаксического отношения между двумя произвольными словами предложения, обладающими этими признаками. Для этого к различительным признакам синтагмы должны быть добавлены так называемые *п р и з н а к и с в я з н о с т и*. Таковыми являются: относительное расположение компонентов словосочетания, характеристика слов, которые могут отделять один член словосочетания от другого в предложении, признаки рода и числа существительного, в которых проявляется согласование существительного с прилагательным и глаголом, и т. д. Поэтому помимо понятия синтагмы удобно пользоваться понятием *к о н ф и г у р а ц и и*. Если к одной синтагме относятся словосочетания с одинаковыми синтаксическими отношениями, то для отнесения словосочетаний к одной конфигурации необходимо также тождество признаков связности. Таким образом, одной синтагме соответствует обычно несколько конфигураций. Описание конфигураций русского языка выходит, однако, за рамки данной работы<sup>13</sup>.

Описание формальных операций, которые позволяют переходить от классов словосочетаний с тождественными синтаксическими отношениями к списку синтагм, может быть представлено в виде алгоритма. Таким образом, если в некотором тексте выявить словосочетания, установить классы словосочетаний с тождественными синтаксическими отношениями и задать синтаксические признаки, то получение списка синтагм для этого текста можно будет поручить машине.

<sup>13</sup> Понятие конфигурации используется при синтаксическом анализе английского языка в работе Т. Н. Молошной (см. Т. Н. М о л о ш н а я, Некоторые вопросы синтаксиса в связи с машинным переводом с английского языка на русский, ВЯ, 1957, 4).



ное) тождество систем ассоциаций между внеязыковыми представлениями и их произносительно-слуховыми символами, принадлежащих всем индивидуальным языковым мышлениям некоего коллектива, экономическими условиями предопределенного к регулярному перекрестному общению» (там же). Наконец, у Поливанова мы находим указание на «единообразие индивидуальных систем речевых символов (или, иными словами, единообразие индивидуальных речевых мышлений, каковое и составляет языковую систему)<sup>2</sup>. Л. П. Якубинский указывает, что язык — это «не свод различных у с т а н о в и в ш и х с я, з а с т ы в ш и х п р а в и л . . . , а непрерывный процесс, непрерывное движение» (Очерки, стр. 41).

Е. Д. Поливанов вслед за И. А. Бодуэном де Куртенэ считает язык функцией индивидуального языкового мышления; факт существования «общего языка», по его мнению, обусловлен общностью социально-экономических условий. Сходную позицию занимает Л. П. Якубинский: для него «язык есть разновидность человеческого поведения», а «человеческое поведение есть факт психологический (биологический), как проявление человеческого организма, и факт социологический, как такое проявление, которое зависит от совместной жизни этого организма с другими организмами в условиях взаимодействия» (О диал. речи, стр. 96—97). Но если для Якубинского, по-видимому, испытывавшего здесь влияние рефлексологии, все факторы, обуславливающие речевой процесс, равнозначны, то Поливанов считает социальный фактор определяющим и — что самое главное — не ограничивает его «общностью апперцепирующих масс в пределах данной среды» (О диал. речи, стр. 163); он рассматривает речь как «трудовую деятельность (притом имеющую серьезнейшие социально-экономические функции)» (За маркс. яз., стр. 44), т. е. деятельность, общественную по своей природе.

Особый интерес представляют взгляды Л. В. Щербы по этому вопросу, и на них мы остановимся подробнее. В ранний период своей деятельности Л. В. Щерба, по существу, игнорирует в своей исследовательской практике социальную природу языка, точнее — сводит социальный аспект к объективно-психологическому, неустанно подчеркивая при этом необходимость обращения к психологии языка для объяснения языковой причинности. Даже в 1918—1919 гг. (в программе лекций по курсу «Общее введение в теорию живого слова») мы встречаем следующие характерные положения: «Язык как явление индивидуально-психологическое. Язык как явление социальное. Филологическое<sup>3</sup> изучение языка как изучение данной системы символов в их значимости. Фонетическое изучение языка как изучение возможных символов вне их значимости» (Инст. жив. сл., стр. 69). Изучение «системы символов в их значимости», по-видимому, прямо не соотносено здесь с понятием «языка как явления социального»; оно располагается в другой плоскости и сводится к изучению человека, обнаруживающего свои переживания посредством языка. Указание же на «язык как явление социальное» имеет, по выражению Е. Д. Поливанова, «платонический» характер; то, что мы называем фонологией, здесь еще остается психофонетикой в полном смысле слова.

Это видно и из сохранившихся стенограмм данного курса. Вот как рассуждает Л. В. Щерба в одной из лекций<sup>4</sup>: «...представьте себе, что я произнес стихотворение, и идеальный фонограф великолепно, в точности, вполне адекватно запишет звуки моего голоса. Он... [эти] звуки... представит в виде некоторой кривой... Представьте, что мы эту кривую отправим на Марс, который ничего не знает о нашем языке, и предложим проанализировать... Марсиане, тончайшие акустики, разделят [ее на участки] не так, как мы разделим. Теперь, дальше, представьте себе, что глухонемой человек, но замечательный физиолог-наблюдатель, стал бы нас наблюдать в процессе речи... Он тоже разделил бы на части, но его деление не совпало бы ни с делением марсианского акустика, ни с нашим делением — когда совпало бы, а когда и нет... Тут вся соль и лежит, что мы рассматриваем [звуки] в фонетике хотя в отвлечении от смысла, но все-таки рассматриваем [их] как возможные символы, под углом зрения, что это — звуки человеческой речи, следовательно, ... в области психологической... Фонетика есть, прежде всего, наука психологическая, ибо она имеет дело с анализом, основанным на психологии...» (Фонет. методы, стр. 10—11).

языка, «Сборники по теории поэтического языка», I, Пг., 1916; Скопл. один. пл. — е г о ж е, Скопление одинаковых плавных в практическом и поэтическом языках, там же, II, 1917; Соссюр — е г о ж е, Ф. де Соссюр о невозможности языковой политики, сб. «Языковедение и материализм», II, М.—Л., 1931; Очерки — Ан. М. И в а н о в и Л. П. Я к у б и н с к и й, Очерки по языку, Л.—М., 1932. Пользуемся случаем выразить благодарность М. И. Матусевич, предоставившей в наше распоряжение некоторые неизданные работы Л. В. Щербы.

<sup>2</sup> Е. Д. П о л и в а н о в, Материалы по грамматике узбекского языка, 1, Ташкент, 1935, стр. 5.

<sup>3</sup> Это — не опечатка! Словом «филология», «филологический» Л. В. Щерба придавал особый смысл (см. Архив АН СССР, фонд 770, опись 1, № 36). Термина же «фонология» в современном значении в 1919 г. еще не существовало.

<sup>4</sup> Стенограммы, хранящиеся в Лаборатории экспериментальной фонетики ЛГУ, остались невыправленными. Здесь и ниже они цитируются в отредактированном виде: исправлены явные опечатки и опечатки, упорядочена расстановка знаков препинания. Все дополнения, внесенные в текст, обозначены квадратными скобками, все купюры — отточиями.

«Психологизм» Л. В. Щербы носит, впрочем, довольно условный характер. Уже в его дипломном сочинении «Психический элемент в фонетике» (1904), написанном под непосредственным руководством Бодуэна, мы находим указание на то, что «критерием психического существования или несуществования данного [словообразовательного] типа... является способность его давать новообразования» (Архив АН СССР, фонд 770, опись 1, № 75, л. 26). «Психический элемент» в психофонетике, по-видимому, практически сводится к тому, что она «изучает звуки в связи с морфологическими категориями как составные части морфем» (там же, л. 8). Тенденция к подобному истолкованию психофонетических явлений становится особенно заметной в середине второго десятилетия XX в. Но окончательный перелом во взглядах Л. В. Щербы на социальный характер языка наступает только в конце 20-х гг. (ср. известную статью «О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании»).

До сих пор, по мнению Л. В. Щербы, языковая система обыкновенно отождествляется «с психо-физиологической организацией человека, которая рассматривалась как система потенциальных языковых представлений» (О тр. асп., стр. 253). Это относится, как мы видели, и ко взглядам самого Л. В. Щербы. Между тем, хотя «сама эта психофизиологическая речевая организация индивида вместе с обусловленной ею речевой деятельностью является социальным продуктом» (там же), она, с одной стороны, «никак не может просто равняться сумме речевого опыта... данного индивида, а должна быть какой-то своеобразной переработкой этого опыта» (там же), с другой же стороны, «система языковых представлений... уже по самому определению своему является чем-то индивидуальным, тогда как в языковой системе мы... имеем... нечто единое и общеобязательное для всех членов данной общественной группы, объективно данное в условиях жизни этой группы» (там же, стр. 254). Единство речевой организации и языковой системы, т. е. единство социального и индивидуального, — в языковом материале.

Следует обратить внимание на толкование, даваемое Л. В. Щербой этому термину. Для него «языковой материал» — это «не деятельность отдельных индивидов», т. е. не parole Ф. де Соссюра и тем более не «текст» (в понимании Л. Ельмслева), но совокупность «процессов говорения и понимания», «совокупность всего говорящего и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы» (там же, стр. 254); здесь мы снова находим понимание языка как динамического процесса, как «пространственно-временного континуума», восходящее к Бодуэну де Куртене, а через него — к Штейнталу и Гумбольдту.

Сравнивая высказывания трех основных представителей бодуэновской школы, легко видеть, что Л. П. Якубинский в своих статьях начала 20-х годов стоит ближе всего к преобладающей у Бодуэна точке зрения на язык как на арену борьбы равно существенных, но имеющих разную природу психических и социальных факторов. Е. Д. Поливанов заимствовал у своего учителя учение о «социальном аспекте» языка, чуждое на первых порах Якубинскому, и развил это учение, сохранив, однако, свойственное Бодуэну отождествление системы языка и психофизиологической речевой организации индивида. Наконец, Л. В. Щерба последовательно различает языковую систему, языковой опыт и языковой материал (языковую деятельность).

В работах всех лингвистов бодуэновской школы (особенно у Л. П. Якубинского) мы находим учение о двух основных функциях языка — «1) язык как средство общения и 2) язык как идеология... Во всяком своем проявлении язык выступает сразу в обеих этих функциях... на разных этапах развития общества эти две стороны языка... вступают в противоречие между собой и... это противоречие, определяемое социально-экономической обстановкой, выступает внутренним двигателем в развитии языка» (Очерки, стр. 62)<sup>5</sup>.

Сходное представление о механизме языковой эволюции было у Е. Д. Поливанова. В основе его концепции лежит различие «технических законов языкового развития» и внеязыковых (социально-экономических) факторов. Взаимотношение этих факторов сводится к следующему: «Общественный сдвиг не изменяет направления (т. е. конечного результата) какого-нибудь отдельного историко-фонетического процесса... Для факторов общественного (экономико-политического) характера есть гораздо более широкая арена действий: от них может зависеть коренной вопрос: быть или не быть данной эволюции в языке данного коллектива» (За маркс. яз., стр. 141). Таким образом, и для Е. Д. Поливанова социальный фактор выступает как внутренний двигатель языка. Он не исключает и других факторов, важнейшим из которых является «тепидность к экономии произносительных работ». Так же рассуждает и Л. В. Щерба. Указывая на определяющую роль социального фактора («содержания речевой деятельности»), он вместе с тем считает, что в языковой системе данной группы объективно заложены в определенных местах ее... возможности ассимиляции (в фонетике, морфологии, синтаксисе, словаре). Поэтому в силу присущей... людям тенденции к экономии труда... эти возможности реализуются одинаковым образом у всех членов группы...» (О тр. асп., стр. 257)<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Еще раз напомним, что в течение 20-х гг. взгляды Якубинского претерпели серьезную эволюцию.

<sup>6</sup> Учение об «экономии произносительных средств» непосредственно восходит к Бодуэну де Куртене.

Главное различие между Л. В. Щербой и Е. Д. Поливановым в трактовке вопроса об эволюции определяется, следовательно, отмеченным выше противопоставлением у Щербы объективной системы языка и психофизиологической организации индивида. Другое различие касается вопроса о роли смены поколений в эволюции языка. Если Поливанов велел за Бодуэном придает смене поколений исключительное значение, считая ее одним из основных звеньев эволюции, то Щерба, наоборот, подчеркивает, что это лишь «отчасти так», и «правильнее будет сказать, что языковая система находится все время в непрерывном изменении» (О тр. асп., стр. 256). Чтобы увидеть отличия концепции языковой эволюции, выдвинутой петербургской школой, от традиционных воззрений, достаточно обратиться к книге В. А. Богородицкого «Лекции по общему языковедению»<sup>7</sup>. Факторы «культурно-социальные и географические» стоят у Богородицкого на последнем месте; из них «первым и важнейшим» является «смена поколений», а затем следуют «фактор увеличения населения», «влияние образованности» и т. д.

Для всех лингвистов бодуэновского направления характерно последовательное различение сознательного и бессознательного в языковом мышлении, связанное с пониманием языка как функции индивида и обусловленное этим пониманием. Ср. в этой связи хотя бы статью Л. В. Щербы «О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов». Особенно интересно для нас следующее его высказывание, относящееся, правда, к более позднему времени: «...можно сказать, что выучиться правильно произносить по-французски — это все равно, что усвоить себе ряд новых непривычных движений, причем так усвоить их себе, чтобы они стали как бы рефлекторными, т. е. привычными, чтобы они совершались при минимуме контроля сознания. Таким образом, изучение того или иного произношения можно уподобить обучению танцам, пению, игре на музыкальных инструментах и т. п.»<sup>8</sup>.

В ранних работах Л. П. Якубинского это различие, идущее от Бодуэна, переплетается с учением об автоматизме, заимствованным, как свидетельствует сам Якубинский, у А. Бергсона<sup>9</sup>. Якубинский констатирует, что «в практическом языковом мышлении внимание говорящего не сосредоточивается на звуках; звуки не всплывают в светлое поле сознания» (О зв. стих. яз., стр. 16). Такой «автоматизм присущ не только звуковым процессам, но и практическому языковому мышлению в целом» (Скопл. один. пл., стр. 17, примеч. 2). Поэтическая речь, по Якубинскому, отличается от «практической» именно отсутствием автоматизма. В противоположность практической речи, где, как уже было отмечено, «языковые представления (звуки, морфологические части и пр.) самостоятельной ценности не имеют и являются лишь средством общения», в поэтической речи мыслимы случаи «сосредоточения внимания на звуках речи», которое «влечет за собой эмоциональное к ним отношение» (О зв. стих. яз., 21).

Коснувшись вопросов психологии языка, мы должны отметить еще некоторые особенности, присущие работам лингвистов петербургской школы. В их числе — различие аспекта описания и аспекта функционирования. Это различие, лежащее, между прочим, в основе учения Бодуэна о «динамической» и «исторической» фонетике, мы находим в особенно явном виде у Л. В. Щербы и Л. П. Якубинского. Так, Якубинский видит один из основных недостатков концепции де Соссюра в том, что тот «мыслит возможность познания языка лишь путем рефлексии, созерцания со стороны, забывая о субъекте языка, коллективе» (Соссюр, стр. 104). У Щербы мы видим противопоставление «этимологического чутья лингвиста» и «чутья говорящих на данном языке людей» [ср. также его мысли о «языке как системе лексики и грамматики», образующей «сборник правил речевого поведения» (Оч. пробл. яз., стр. 13), — в его противопоставленности потоку «речи — мысли», который может быть подвергнут «пассивному», описательному грамматическому анализу].

Определение грамматики как «сборника правил речевого поведения» связано со взглядами лингвистов-бодуэновцев на методику лингвистического исследования и, в первую очередь, с обращением их к «чутью языка». Как известно, Бодуэн сформулировал это понятие уже в работе «Некоторые общие замечания о языковедении и языке». У него объективно-психологическая сторона языка противопоставляется, таким образом, объективно-физиологической стороне. Сходное понимание мы встречаем в ранних работах лингвистов бодуэновской школы, особенно у Л. В. Щербы, у которого это противопоставление выступает в виде противопоставления «субъективного» и «объективного» методов. Вот выдвинутая им в 1918 г. программа фонологического исследования: «Нужно посмотреть, как данный народ относится к тем звукам, которые он употребляет, как он их понимает, как он их разлагает, на какие элементы разлагает, что для него является существенным и что является несущественным» (Фон. методы, стр. 3). Интересно, кстати, что в той же лекции Щерба определяет язык не как с о в о к у п л о с т ь представлений, а как «координацию... смысловых представлений, ассоциируемых с представлениями речевыми и с представлениями звуковыми» (стр. 2), т. е. реляционно.

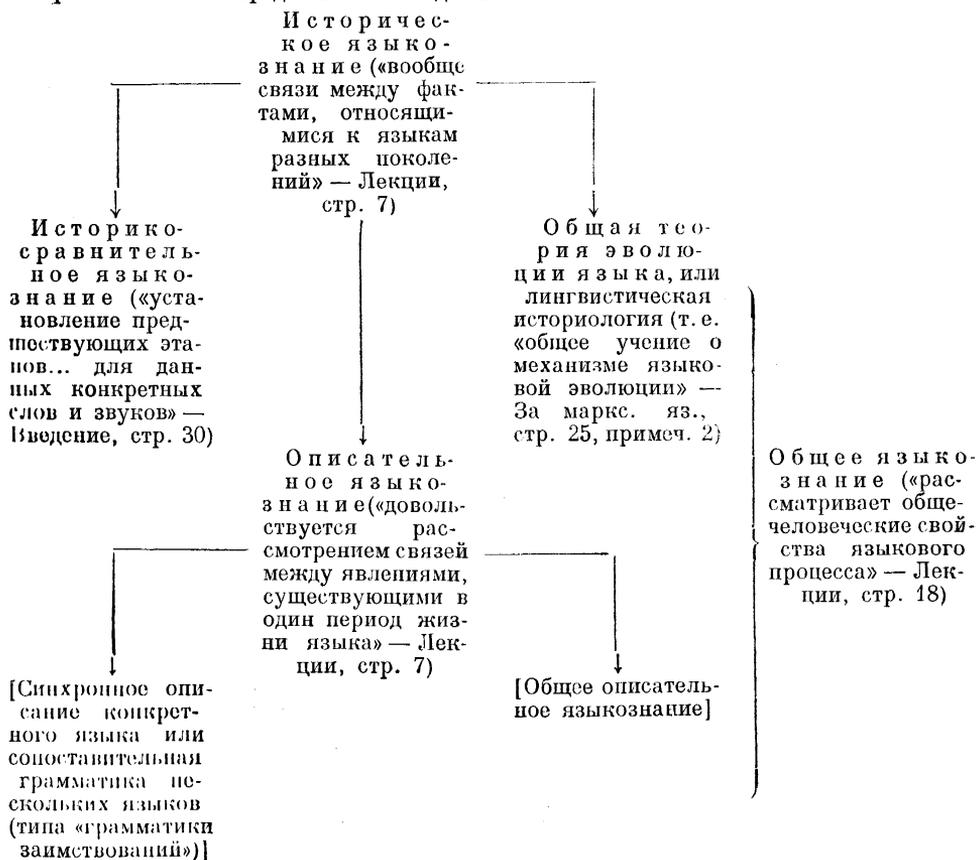
<sup>7</sup> В. А. Богородицкий, Лекции по общему языковедению, 2-е изд., Казань, 1915.

<sup>8</sup> Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, 4-е изд., М., 1953, стр. 15.

<sup>9</sup> А. Бергсону принадлежат и некоторые другие идеи, встречающиеся у Якубинского, например понятие «предвосприятия». Надо, впрочем, сказать, что Якубинский по-своему переосмысливал мысли Бергсона, пытаясь установить связь «предвосприятия» с социальным характером языка.

Обращение к категории «языкового чутья» связано у Щербы, с подчеркиванием ее объективного характера и прямой обусловленности ее системой языка. В цитированной выше лекции он рассуждает следующим образом: «Если бы существовал такой язык, в котором не было бы комбинации согласных и в котором были бы... такие слова: *razaka, tataba, gana* и все бы на -а оканчивались, каждый слог имел бы *a* и какую-нибудь согласную, — ... люди, которые говорили бы на таком языке, не дошли бы до того, чтобы разделить гласные от согласных... Для них звуками речи были бы: *pa, ka, ta, [a]* не как наши — *б, а, д, у* и т. д.» (стр. 2—3). Позже Щерба прямо говорит о «методе эксперимента», основанном на объективном характере «чувства языка». «... Чувство это у н о р м а л ь н о г о ч л е н а о б щ е с т в а социальное обосновано, являясь функцией языковой системы (величина социальная), а потому и может служить для исследования этой последней» (О тр. асп., стр. 260). Метод эксперимента, по указанию самого Щербы, соответствует «субъективному методу» ранних его работ (там же). Ср. также следующее указание Е. Д. Поливанова, касающееся метода эксперимента: это — «приемы фонетического наблюдения..., для которого намеренно подготовлены соответствующие условия...; в этой намеренной подготовке надлежащих условий и состоит момент эксперимента (опыта) — в отличие от простого наблюдения речи в естественно сложившихся условиях» (Введение, стр. 218, примеч. 1).

Широкое освещение в трудах языковедов петербургской школы получил вопрос о соотношении исторического и описательного языкознания и месте их в системе языковедческих дисциплин. Лучше всего — в яркой, афористичной форме — точка зрения лингвистов бодуэповского направления высказана во вступительном слове Л. В. Щербы на защите его диссертации «Восточнолужицкое наречие» (1915). Там говорится: «Если подходить к науке безо всяких посторонних интересов, ... то логически главное место должно занять общее языкознание, а история языков будет лишь доставлять материал для его построений... Этой логической точки зрения не следует упускать из виду, потому что она в значительной степени должна бы определять выбор материала для обработки» (Архив АН СССР, фонд 770, опись 1, № 36). Убеждение в том, что общее языкознание должно стоять в центре внимания языковеда и определять его отношение к фактам конкретных языков, разделяют и другие ученики Бодуэна: «Здесь — в „общей лингвистике“ и лежит философское значение нашей науки» (За маркс. яз., стр. 26). Однако, если для раннего Щербы основной является дилемма: общее языкознание — история конкретного языка, то Поливанову вопрос с самого начала представляется более сложным. У него мы находим довольно стройную систему понятий, которая может быть представлена в виде схемы:



Следует обратить внимание на то, что различие описательного и исторического языкознания связано с теорией «смены поколений». Описательное языкознание не занимается «моментальными снимками», синхронными срезами и т. п.: оно изучает реальные связи, существующие между языковыми явлениями в мозгу носителей языка. Наоборот, историческое языкознание занимается тем в языке, что переходит из поколения в поколение, т. е. тем, что усваивается каждым новым поколением в качестве объективно существующей языковой системы. И там, и здесь мы имеем дело с «явлениями человеческого языка в их причинной связи» (Введение, стр. 1); но природа этой связи — разная. Такое понимание соответствует бодуэновскому различию статике и динамики. Но если Бодуэн отчетливо различал «динамическую» и «историческую» лингвистики, то Поливанов делает некоторую уступку традиционной точке зрения.

Следует помнить, однако, что термины «статика» и «динамика» даже самим Бодуэном, не говоря о его учениках, употреблялись в различных значениях. Так, в неопубликованной работе Щербы «О дальние неделимых единицах языка» говорится о «динамике» применительно к протекающим во времени психическим процессам, в противоположность «статике» языка как системы ассоциаций в каждый данный момент.

\*

О фонологической концепции Л. В. Щербы написано очень много как его учениками, так и «сторонними» лингвистами. Тем не менее некоторые особенности этой концепции не получили достаточного освещения и остались вне рассмотрения. Это и понятно: считается плодотворным и разрабатывается всегда лишь то, что находит отклик в идеях современности; такова логика развития науки. Попытаемся вкратце осветить именно эти полузабытые моменты фонологической концепции Л. В. Щербы, сопоставив их с фонологическими взглядами Е. Д. Поливанова. К их числу относятся: а) понятие фонемы как *п о т е н ц и а л ь н о й* единицы речи; б) противопоставление «активной» и «пассивной» фонетики.

Понятие фонемы как потенциальной единицы речи свойственно как Л. В. Щербе, так и Е. Д. Поливанову. По Щербе, фонема лишь постольку является минимальным сегментом потока речи, постольку мы имеем дело с идеальным фонетическим составом слов. Иными словами, самостоятельность фонемы как языковой единицы не обязательно проявляется в процессе «речи-мысли» (Оч. пробл. яз., стр. 22). В этой связи нельзя не вспомнить раннюю работу Щербы «О дальние неделимых единицах речи». Если там фонема и морфема рассматриваются как основные единицы языка, слово же — как вторичная единица, то, например, в статье «Очередные проблемы языковедения» Щерба подходит к вопросу с другой стороны, исходя из слова. (При этом он функционально отождествляет слово и морфему, что, по-видимому, не соответствует действительности). Для Е. Д. Поливанова объектом психофонетики служит «система постоянных (хотя и находящихся под порогом сознания) представлений звуков как потенциальных элементов звукового состава слов» (Словарь, стр. 107), и вообще «звук языка... мыслится как потенциальная часть слова» (там же, стр. 34).

Итак, для лингвистов петербургской школы существует, по-видимому, два уровня анализа. Один из них (языковой) соответствует «находящимся под порогом сознания» звукопредставлениям, которые не обязательно должны выступать в процессе «речи-мысли» как минимальные единицы; другой (функционально-речевой) трактует с л о в о как минимальную константную единицу речевой деятельности или «речи-мысли». Эта единица факультативно может распадаться на «фонемы» или «звуки языка» (с переключением на другой уровень); в таком смысле Щерба говорил о «звуковом слове-типе», «которому может соответствовать колеблющееся произношение, причем размах этих колебаний бывает очень значителен»<sup>10</sup>.

«Активная» и «пассивная» фонетика противопоставляются Щербой на психофонетической основе. «Пассивная» фонетика «выясняет среди пестрого разнообразия произносимого смыслоразличающие звуковые противоположения данного языка» (Оч. пробл. яз., стр. 22). Это, так сказать, «фонология-минимум», ограничивающаяся лишь теми данными, которые необходимы для различения, для адекватного восприятия речи. «Активная» фонетика «изучает правила произношения фонем в разных фонетических условиях» (там же). Это — «фонология-максимум», интересующаяся всеми потенциальными вариантами реализации фонологической системы.

Л. В. Щерба выделяет подобные аспекты не только в фонологии, но и в грамматике. Не останавливаясь на этом вопросе подробно, отметим то, что кажется нам главным в этом противопоставлении: возможность построения *д в у х* грамматик и *д в у х* фонетик — одной для говорящего, другой — для слушающего. Эта мысль Щербы совершенно закономерна. Ведь не следует забывать, что речь идет не об исторически развивающейся объективной системе языка, а о констатации существующих в каждый момент в психике носителей языка связей языковых явлений. Она находит обоснование, между прочим, и в данных психофизиологии речи<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Л. В. Щ е р б а, Русские гласные в качественном и количественном отношении, СПб., 1912, стр. 3. Ср. в этой связи учение Бодуэна о несовпадении «звукового намерения» с произношением.

<sup>11</sup> В современном языкознании есть ряд прямых параллелей учению Щербы об «активном» и «пассивном» аспектах грамматики. Ср., например: E. C o s e r i u, Sistema, norma u habla, Montevideo. 1952.

У Е. Д. Поливанова различие «активного» и «пассивного» аспектов не столь очевидно; у него мы находим, впрочем, не менее интересные соображения, связанные с его теорией эволюции и дополняющие изложенную выше концепцию Л. В. Щербы: «Языковое (и, в частности, звуковое или фонетическое) мышление... вовсе не котел, обязанный переварить... все физические мелочи служащей для него материалом фонации старшего поколения. Совершенно невероятно представлять себе, что каждое слово, нуленное в этот котел, переваривается (видоизменяется) в нем по законам химических реакций, происходящих внутри каждого из звуков этого слова... на самом деле новый состав слова (в языке молодого поколения)... складается из тех элементарных фонетических единиц..., которые вообще наличны в системе языкового мышления младшего поколения... Иначе говоря, в исторической фонетике мы имеем не эволюцию слов, а эволюцию системы фонетических представлений. Каждое же отдельное слово не перерабатывается, а создается заново» (Мут. изм., стр. 8а—8б). Действительно, овладение языком есть, по всей вероятности, построение языковой нормы на основе языковой системы, накладывающейся в процессе усвоения языка на сложившуюся в ходе филогенетического развития человечества иерархию функциональных уровней речевой деятельности.

\*:

Переходя к следующему из традиционных «уровней» языковой системы, отметим, прежде всего, что само понимание взаимного отношения этих «уровней» было у лингвистов бодуэновской школы весьма своеобразным. Во всяком случае, как мы уже отмечали, в работе «О дальние неделимых единицах языка» содержится попытка противопоставить фонему и морфему как основные единицы языка слову как единице вторичной. Речь здесь идет не о слове как грамматической единице (синтагме), но о слове-лексеме. Это различие восходит к Бодуэну<sup>12</sup> и проводится его учениками, хотя, быть может, не всегда последовательно. С ним связана и известная теория синтагмы, выдвинутая Л. В. Щербой в 30-х годах. Однако в этот период у Щербы понятие синтагмы значительно расширено и — что самое главное — в основу его выделения положены разнохарактерные критерии (фонетический и семантический). Все же основная мысль Бодуэна (синтагма как морфологическая единица, т. е. единица того же уровня, что и морфема) сохранилась и здесь<sup>13</sup>. Достаточно сослаться на тезисы «Что такое словообразование?» (Архив АН СССР, фонд 770, опись 1, № 93), где словообразование как учение о построении синтагмы соотносится, между прочим, с «морфологией» в узком понимании слова как с учением об «отношении понятий».

Но Л. В. Щербе, существует «формальная возможность» соединить эти две дисциплины в «морфологию в широком смысле», хотя, с другой стороны, очевидна «семантическая несостоятельность этого слияния». Иначе говоря, с формально-описательной точки зрения возможно построение «морфологии в широком смысле», которая занималась бы отношениями морфем внутри синтагматического целого, не обязательно равного слову-лексеме. Другое дело, что с семантической точки зрения (если исходить из слова-лексема) это невозможно. Но ведь мы имеем право на время абстрагироваться от слова-лексема и ограничиться «чистой морфологией»<sup>14</sup>. Эта мысль в имплицитном виде встречается и у Е. Д. Поливанова<sup>15</sup>. Заметим, что, по Поливанову название морфологической единицы таковой (в нашем понимании) не является. Это — эквивалент словообразования: «морфология... рассматривает конструкцию слова с точки зрения зависимости его значения от этой конструкции... морфология... занята изучением т и п о в словесной конструкции» (Введение, стр. 43—44). Что же тогда у Поливанова соответствует нашей морфологии, т. е. учению о словоизменении? Конечно, не синтаксис: ведь в синтаксисе единицей-минимум является уже синтагма, а единицей-максимум — фраза [в морфологии единица-максимум — синтагма, единица-минимум — морфема (Словарь, стр. 65)]. Дело в том, что для Поливанова словоизменение — то, что мы называем морфологией, — сводится к теории синтагмы, учению о структуре синтагмы и ее

<sup>12</sup> См. А. А. Леонтьев, Творческий путь и основные черты лингвистической концепции И. А. Бодуэна де Куртэна, в сб.: И. А. Бодуэн де Куртэна (К 30-летию со дня смерти), М., 1960, стр. 19.

<sup>13</sup> В ряде мест Л. В. Щерба определяет синтагму и через отношение «системы» и «речи-мысли». Это понимание не противоречит рассматриваемому; действительно, Щерба говорит здесь о «системе», имея в виду не объективно существующую систему языка, а «сборник правил речевого поведения», «организованный лингвистический опыт индивидуума. С другой стороны, формально-грамматический подход для Щербы — это подход к языковому, расчленяющему поток «речи-мысли».

<sup>14</sup> Отсюда становится ясным, почему Л. В. Щерба уделял такое внимание различию словообразования (лексемообразования) и формообразования (синтагмообразования).

<sup>15</sup> Е. Д. Поливанов объясняет необязательность совпадения синтагмы и лексема динамически [каждое „статическое“ явление языка на самом деле вовсе не является статическим, т. е. поставленным вне хода эволюции] (Архив АН СССР, фонд 770, опись 3, № 25, л. 73); мы склонны объяснять это явление функционально. Впрочем, оба объяснения не противоречат друг другу.

функции в словосочетании<sup>16</sup>. Семантический критерий хотя и привлекается Поливановым, но не обязателен здесь, и без него вполне можно обойтись при построении грамматики<sup>17</sup>.

Таким образом, и у Щербы, и у Поливанова мы находим указание на двойственный характер слова и на возможность построения формальной грамматики без привлечения семантического (точнее — лексического) критерия. Такое понимание соответствует, по-видимому, реальному соотношению единиц «формального» и «функционального» планов<sup>18</sup>. Что касается слова-лексема, то основным критерием его выделения для всех лингвистов петербургской школы является функциональный критерий изолируемости.

В заключение приведем еще несколько замечаний, касающихся проблемы слова. В о - п е р в ы х, прямое отношение к рассмотренному выше вопросу о словесинтагме и слово-лексема имеет противопоставление Поливановым лексики и семантики. В лексике «слово рассматривается... как знак (символ) вещи или идеи» (Введение, стр. 13). Семантика ведает «взаимотношениями между различными смыслами представлениями» (Введение, стр. 25). Такое противопоставление, в свою очередь, перекликается с концепцией «слова-знака», принадлежащей Л. П. Якубинскому. Эта последняя сводится к тому, что языковой знак «и произволен, «случаен», безразличен, рассматриваемый с точки зрения своей обособленной внутренней структуры, но он и не произволен, «не случаен», «не безразличен в развивающейся системе языка и общества в целом» (Сосюра, стр. 99)<sup>19</sup>. Не закономерно ли будет в свете вышесказанного определить поливановскую «лексику» как учение о знаковой функции отдельного слова-лексема, а «семантику» — как учение о языке как системе знаков?

В о - в т о р ы х, заметим, что Поливанов считал возможным говорить о «фразеологии», «занимающей по отношению к лексике то же положение, какое синтаксис занимает по отношению к морфологии», т. е. изучающей «не общие типы, а индивидуальные значения данных конкретных словосочетаний» (За марк. яз., стр. 119, примеч. 1). Этим предполагается существование языковых единиц того же ряда (уровня), что и лексема, но больших, чем последняя; существование подобных единиц, функционально односторонних со словом, неоднократно отмечалось лингвистами бодуэновской школы, говорившими в этом случае о «шаблонах». Л. П. Якубинский противопоставил эти функциональные «шаблоны» грамматическим конструкциям: «Говорение в связи с определенными шаблонами быта влечет образование целых шаблонных фраз... Эти фразы... превращаются в своего рода сложные синтаксические шаблоны, членение фразы в значительной мере стирается и говорящий почти не разлагает ее на элементы... Совершенно очевидно, что такой тип фразы должен быть определенно противопоставлен другому, где налицо известное комбинирование, сопровождающееся отчетливым членением, соответствующим и расчлененности мысли» (О диал. речи, стр. 174—175, 176). Такое же противопоставление находим у Л. В. Щербы: у него различается «все индивидуальное, существующее в памяти как таковое и по форме никогда не творимое в момент речи», т. е. лексика в широком смысле, и «все правила образования слов, форм слов, групп слов и других языковых единиц высшего порядка» (Оч. пробл. яз., стр. 16). Ср. также учение Щербы (в меньшей степени оно характерно для Поливанова) о живых и мертвых словообразовательных типах.

Наряду с фразой, т. е. единцей формально-грамматической<sup>20</sup>, бодуэновская школа выделяет предложение — функциональную единицу, к которой тяготеет слово-лексема. В основу выделения предложения положен семантический критерий: в работе Щербы «О дальние неделимых единицах языка» оно, например, определяется как «представление некоторого звукового комплекса, ассоциированное с известным динамическим мыслительным актом». «Динамический признак для понятия о предложении... является наиболее существенным».

Попытаемся реконструировать систему языковых единиц, которая логически следует из теоретических воззрений петербургской школы (схема на 124 стр.).

<sup>16</sup> Имеется в виду словосочетание в грамматическом смысле этого слова (ср. замечание В. И. Ярцевой).

<sup>17</sup> Ср. теорию Э. М. Шубина, изложенную в его статье «Некоторые структурные характеристики языка» («Уч. зап. [Няттигорск. пед. ин-та], XVIII. Вопросы английской филологии, 1959).

<sup>18</sup> См. об этом: А. А. Лео п т ъ е в, Психоллингвистика и проблема функциональных единиц речи, в сб.: «Вопросы теории языка в трудах современных зарубежных лингвистов», М., 1961.

<sup>19</sup> Ср. в программе работ Института живого слова тему доклада «Слово и знак» (Ист. жив. сл., стр. 97). Докладчик не указал (это, без сомнения, Л. П. Якубинский). Интересно, что программа относится к 1918—1919 академическому году, когда книга де Сосюра еще не была известна советским языковедам.

<sup>20</sup> У раннего Щербы термин «фраза» имеет иное значение. См. об этом: В. В. Вино г р а д о в, Общелингвистические и грамматические взгляды акад. Л. В. Щербы, сб. «Памяти академика Л. В. Щербы», [Л.], 1951, стр. 55—56. О специфике предложения по сравнению со словосочетанием и «словосочетательной цепью» (фразой) см. также: А. Б. Ша п и р о, О предмете синтаксиса, «Тезисы на совещании языковедов вузовских и академических учреждений по теоретическим вопросам синтаксиса», М., 1960.

	Морфология (Поливанов)			«Конструкции» (Якубинский), или синтаксис (Поливанов)	
	Фонема	Морфема	Слово-синтагма (Поливанов)	Синтагма (Щерба), или словосочетание (Поливанов)	Фраза
Формально-грамматический ряд (≈ грамматика — Щерба)					
Функционально-лексический ряд (≈ лексика — Щерба)	—	—	Слово-лексема	Словосочетание (Щерба)	Предложение
			Лексика (Поливанов)	Фразеология (Поливанов), или «паблоны» (Якубинский)	

Во времена, когда начинал свою научную деятельность Бодуэн де Куртене, наверное, столь же необычным было «двойное разделение» человеческой речи — психическое и антропофоническое. Бодуэн пришел к нему не сразу и сначала смешивал соответствующие единицы. У самого Бодуэна в ранний период его деятельности и особенно у его учеников (например, Крушевского) мы не всегда и не везде находим ясное представление об этих уровнях. То же и в нашем случае. Учение о «третьем разделении» человеческой речи только начало выкристаллизовываться в работах лингвистов петербургской школы<sup>21</sup>. Поэтому неудивительно, что единицы формально-грамматические и функциональные нередко смешивались как у Щербы, так и у Поливанова. Думается, однако, что это разделение станет в недалеком будущем столь же привычным для языковедов, как и «двойное разделение» Бодуэна.

А. А. Леонтьев

<sup>21</sup> Вопрос о связи этого учения с предложенным Пражским лингвистическим кругом различием «актуального» и «формального» членения в настоящей статье не рассматривается.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## ОБЗОРЫ

## НОВОЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ФРИЗСКОГО ЯЗЫКА

Долгое время фризский язык не без основания называли «пасынком» германистики. Однако за последние тридцать лет интерес к его научному изучению заметно возрос; им занимаются многие филологи, прежде всего в Нидерландах, а также в Германии, Дании и других странах. Общее число публикаций за послевоенные годы возросло в несколько раз: в новых изданиях вышли древнефризские рукописи, опубликованы «Фризский атлас диалектов», свыше десятка выпусков по топонимике, готовится капитальные словари и пр.

В нидерландской провинции Фрисландии, где живет основная масса фризов и где на родном языке запрещены преподавание в школах, богослужение, выступление адвокатов в судах и т. д., расцвет фризской филологии своеобразно отражает обострение борьбы против унижительного национального гнета, за культурную автономию. Эта борьба встречает сочувствие у передовой части нидерландской общности, которая в условиях господствующего сейчас на Западе крайнего нивелирования национальных культур проявляет все больший интерес к фризам и их вкладу в цивилизацию страны. За пределами Нидерландов обращение к фризской проблематике часто связано с классификацией древнегерманских племен и диалектов.

Среди западногерманских языков континента фризский занимает необычное место: многие из особенностей, резко отличающих этот язык от соседних — голландского и немецкого, сближают его с островными английским. Для школы младограмматиков происхождение фризского языка не казалось загадкой. Исходя из предшественки о «родословном дереве», выдающийся исследователь Т. Зибс полагал, что фризский и английский — потомки некоей англо-фризской ветви западногерманского, и даже написал историю «англо-фризского языка»<sup>1</sup>, на котором должны были говорить родственные племена англов и фризов до того, как представители первых переселились в Британию. Но уже О. Бремер<sup>2</sup> не допускал англо-фризского единства и объяснял близость обоих языков древним соседством в Гольштинии —

на юге Ютландского полуострова. Исследователи наших дней сходятся в мнении, что происхождение фризского спорно<sup>3</sup>, а его ранняя история скрыта в глубине веков<sup>4</sup>. Добавим еще, что письменные памятники на фризском появляются лишь с XIII в., и тогда сложность и вместе с тем привлекательность задачи станут понятными.

\*

Эпоха V—VII вв. — самая туманная в фризской истории: с уходом римлян из области нижнего Рейна исторические сообщения о фризах полностью прекращаются. Вот почему толчок новым идеям дала археология, представившая за последние полвека обильные материалы раскопок на территории Фрисландии и Гровингена. На основании этих материалов П. Булес уже много лет выдвигает идею о том, что с 400 до 750 г. на территорию Фрисландии насильственно вторглись англо-саксы из Гольштинии и побережья между Везером и Эльбой. Покорив, изгнав или уничтожив протофризов, они частично перебрались в Англию, но большинство должно было смешаться с местным населением, передав ему свою культуру. Насколько мы можем судить, работы Булеса хорошо аргументированы<sup>5</sup>; во всяком случае пока он ограничивался материальной культурой, эти взгляды не вызвали серьезно критики. Но когда Булес попытался англо-саксонским вторжением объяснить также близость фризского и английского языков, большинство лингвистов с ним не согласилось. На симпозиуме при Фризской академии в Леевардене против П. Булеса выступил П. Сипма, который пришел тогда к выводу, что нет оснований допускать широкое насильственное вторжение<sup>6</sup>. Очень

<sup>3</sup> См. E. Schwarz, *Deutsche und germanische Philologie*, Bern — München, 1951, стр. 99.

<sup>4</sup> См. H. Kuhn, *Friesisch und Nordseegermanisch* — «Us Wurk. Meidielingen fan it Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit yn Grins», IV, 3/4, 1955, стр. 43.

<sup>5</sup> P. C. J. A. Boeles, *Friesland tot de elfde eeuw*, 2-de druk 's-Gravenhage, 1951.

<sup>6</sup> P. Sipma, *Een Angelsaksische invasie in Friesland?* — «It Beaken. Tydskrift fan de Fryske akademij», XV, 6, 1953. Здесь же сообщается полная библиография работ Булеса.

<sup>1</sup> T. Siebs, *Geschichte der englisch-friesischen Sprache*, Halle, 1889.

<sup>2</sup> O. Bremer, *Ethnographie der germanischen Stämme*, III, 2-e Aufl., Strassburg, 1900, стр. 760—950.

возможно, что в бурную эпоху переселения народов на территории Фрисландии поселились небольшие группы англосаксов и хавков, однако это не могло заметно повлиять на местный язык и цивилизацию. В соответствии с классической «ингвеонской» теорией (Ф. Вреде, Т. Фринге, Э. Шварц) П. Сима выделяет в числе западногерманских языков так называемые «ингвеонские» — древнеанглийский, древнефризский и древнесаксонский — и считает, что в V в. различия в пределах «ингвеонского» могли быть незначительными; что касается родства фризского и английского, то оно объясняется их былым соседством, хотя многое и остается неясным. Сима прав, когда говорит, что данные археологии сами по себе еще не имеют никакой доказательности для языковедов, однако его позитивная аргументация против Булеса строится, в основном, на ... внелингвистических фактах. Он оспаривает данные раскопок, приводит исторические свидетельства из хроник, обращается к древнегерманскому эпосу. Аргументы же в области языка крайне отрывочны: отсутствие общего слоя в лексике англосаксов и фризов, сохранение фризского звучания у имен собственных и названий местности — материал, который, по мнению И. Броуэра, может истолковываться по-разному и который не дает надежных доводов ни за, ни против вторжения<sup>7</sup>. Сима полагает также, что об отсутствии глубокого скрепления говорят замедленные темпы развития фризского. Но вряд ли древнеанглийские повествования (например, дифтонгизация кратких гласных) были отчетливо выражены еще на континенте, ведь и Сима не допускает для V в. заметных различий в пределах «ингвеонского». Пожалуй, ускорение темпов только началось в бурные годы переселения.

Между тем новая теория нашла сочувствие у представителей лингво-географической школы и обрела законченный вид в работах К. Хеерома. Развивая идеи Ф. Вреде об «ингвеонских» языках<sup>8</sup>, К. Хеерома высказал мнение, что уже в первые века нашей эры в нем различались западная часть (от Шельды до Везера) и восточная (от Везера до Эйдера). То обстоятельство, что фризский язык (по своему характеру — восточноингвеонский) оказывался при этом в пределах западноингвеонского, Хеерома объяснил следующим образом: в эпоху переселения восточных ингвеонов — англов и саксов — с их родины на запад, в Британию, часть саксов осела на территории Фрисландии и Гроппингена, и со временем туземный фризский уступил место саксонскому, который, однако, получил здесь название фризского<sup>9</sup>.

Так идея племенных и языковых смешений на территории Фрисландии впервые получила лингвистическое обоснование.

Хотя теория К. Хеерома встретила отпор как во Фрисландии, так и у специалистов нидерландского языкознания<sup>10</sup>, жаркие споры вокруг нее не были бесплодными. Во время дискуссии в Нидерландской Академии наук<sup>11</sup> противники К. Хеерома Г. Госсес и К. Карстен показали, что для первых веков нашей эры нет оснований различать западную и восточную части «ингвеонского». По их мнению, карты, которые представил Хеерома, отражают скорее эпоху после переселения англо-саксов на остров, в ранний же период племенные языки этого района характеризовались значительной общностью, и уже это исключает выделение одного языка другим. Зато после переселения народов, т. е. с V—VI вв., дифференциация «ингвеонского» действительно началась, в результате чего собственным путем развивался язык переселенцев на остров Британию, континентальный древнесаксонский и фризско-севернонидерландский. Этот принципиально новый тезис, высказанный Г. Госсесом и оставшийся сначала незамеченным, получил затем развитие в работах Г. Куна.

Предположение о впадении англо-саксов было косвенно затронуто в недавней полемике о рунических памятниках из Фрисландии (их число уже равно 11 из 14 найденных на континенте Западной Европы, не считая Скандинавии, и они привлекают все большее внимание). Когда в 1953 г. немецкий лингвист В. Кромман высказал сомнение в подлинности части находок<sup>12</sup>, его точка зрения сразу же была отвергнута Булесом<sup>13</sup>. Однако, признавая 7 из 9 рассматриваемых надписей местными фризскими, Булес в то же время нищет о заимствованиях фризами рунических знаков от англо-саксов и видит здесь подтверждение своей теории. В. Бюма<sup>14</sup>

schrift voor nederlandse taal- en letterkunde», LVIII, 3—4, 1939.

<sup>10</sup> M. Schönfeld, *Ingwäoons. (De nieuwe taalgids)*, 39, 1946.

<sup>11</sup> Cm. G. Gosses, K. Karsten, K. Heeroma, *Ben Friesch substraat in Noord-Holland?*, «Bijdragen en mededelingen der Dialecten-commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam», II, 1942.

<sup>12</sup> W. Krogmann, *Zur Frage der friesischen Runenschriften*, «Rige lytse teksten en stúdzjes op it gebiet fan de fryske filology, formannichfaldige op it Frysk Ynstitút oan de Rijksuniversiteit te Grins», II, 1953.

<sup>13</sup> P. C. J. A. Boeles, *De inheemse runen-inscripties uit Friesland en Groningen*, «Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum van oudheden te Leiden», Nieuwe Reeks., XXXV, 1954, стр. 18—32.

<sup>14</sup> W. J. Buma, *Frielandts runen-inscripties*, Groningen — Djakarta, 1957, стр. 30.

<sup>7</sup> См. «H. Beaken...», XV, 6, 1953, стр. 190—191.

<sup>8</sup> F. Wrede, *Ingwäonisch und westgermanisch*, «Zeitschr. für deutsche Mundarten», XIX, 1924, стр. 270—283.

<sup>9</sup> K. Heeroma, *Ingwäoons. «Tijd-*

не без основания упрекает Булеса в предвзятости, но и его доводы в пользу знакомства фризов с рунами до появления англо-саксов тоже не выглядят убедительными. Так, трудно понять, почему наличие в фризских и английских надписях алфавита из 28 знаков вместо общегерманских 24 непременно свидетельствует о расширении алфавита еще во время соседства племен вблизи Гольштинии. Более древняя англо-фризская форма *h* с двумя поперечными черточками, действительно, может свидетельствовать о том, что готы и скандинавы познакомились с рунами позже западных германцев, но и этот факт не исключает возможности заимствования: ведь фризские руны найдены археологами в слоях почвы, относящихся уже к VI—VIII вв.

В последнее время теории П. Булеса и К. Хеерома о языковых смешениях на территории Фрисландии получили более широкую перспективу в работах немецкого лингвиста Г. Куна<sup>15</sup>. Эти работы во многом полемичны и прежде всего направлены против Э. Шварца<sup>16</sup>, который считает, что «ингвеонские» языковые особенности (он называет их севморгерманскими — Nordseegermanische) оформились по меньшей мере в I в. до н. э. По Куно, во времена Плиния и Тацита у германцев были культовые племенные союзы и среди них союз ингвеонов, однако языки отдельных племен тогда еще почти не различались. Когда же в эпоху переселения народов был оставлен старый центр германской территории в районе Гольштинии, то связь между северными и западными германцами порвалась, а в среде последних стали оформляться диалекты: верхнегерманский и севморгерманский. На основе изучения географии важнейших языковых новшеств (отдельные ряды умлаута, выпадение *n* перед *f*, особое развитие западногерманских краткого и долгого *a*, превращение *k*, *g* в шипящие перед переднеязычными гласными, поглощение форм вин. падежа *mik*, *fik* формами дат. падежа *mi*, *fi* и др.) Кун заключает, что очагом севморгерманской языковой общности была южная Англия (или Англия и Фрисландия), хотя воздействие ее распространялось также на нижнесаксонский и нижефранкский. В ходе сложного процесса племенных и языковых взаимодействий из одной части ингвеонов образовались немцы, из другой — англичане, из третьей — датчане. Старое слабое деление прибрежных диалектов перекрыто, и его невозможно обнаружить. Что же касается фризов, то

их принадлежность к ингвеонам не доказана: язык Фрисландии развился в V в., причем особая роль принадлежит скрещению с диалектами англо-саксов.

Принципиально важное значение имеет развитие Г. Куном мысли Г. Госсеса о том, что подлинное расщепление германского единства началось в эпоху переселения народов, следовательно, образование узкой англо-фризской общности относится уже к тому времени, когда английские саксы покинули континентальную родину. Именно переселение в Британию создало основной очаг севморгерманских новшеств и определило развитие фризского: окруженные болотами прибрежные территории оторвались от внутренних районов и, благодаря могуществу колонии в Британии и оживленному фризскому судоходству, оказались втянутыми в новый языковой круг. Какой вклад внесли сами фризы в севморгерманский, непонятно; возможно, что именно у них находился очаг палатализации западногерманского *a* (из герм.  $\bar{a}$ )<sup>17</sup>.

Нам неизвестна какая-либо серьезная полемика с Куном. В дни конгресса филологов, занимающихся фризским языком, П. Йергенсен и Г. Клуке заявили о своем согласии в основных чертах с идеями этого ученого<sup>18</sup>. К. Фоккема полагает, что теория Куна заслуживает самого серьезного внимания и что с учетом ее нужно заново исследовать англо-фризские словарные и фонетические соответствия<sup>19</sup>. По, пожалуй, особенно показательным для эволюции взглядов за последние десятилетия было выступление П. Сипма — одного из старейших и авторитетнейших фризистов. Еще десять лет назад Сипма допускал англо-фризское единство и во всяком случае полагал, что родство английского и фризского восходит к эпохе до переселения англо-саксов на остров, когда фризы были их соседями<sup>20</sup>. Теперь его

<sup>17</sup> Ср. об этом у К. Хеерома (G. Gosses, K. Karsten en K. Heeroma а, указ. соч., стр. 32—33).

<sup>18</sup> См. «Philologia frisca anno 1956», стр. 21—22.

Хотя П. Йергенсен признал, что его расхождения с Г. Куном касаются второстепенных пунктов, нам они представляются в одном вопросе существенными. Дело в том, что в отношении особенностей нижнегерманского и нижефранкского языков Г. Кун по сути дела возвращается на позицию Г. Зибса и Ф. Хольтхаузена, считая «ингвеонизмы» здесь, в основном, вторичными, принесенными элементами. Йергенсен же заявляет о своей близости к Ф. Вреде и Э. Руту, рассматривающим область распространения этих языков как «чисто ингвеонскую» (стр. 14).

<sup>19</sup> K. Fokkema, De fryske taalkunde. Stân fan saken en opjeften foar de takomst, «Philologia frisca anno 1956», стр. 48.

<sup>20</sup> P. Sipma, Fon alra fresena fridome. In ynlieding yn it Aldfrysk, Snits, 1947, стр. 50.

<sup>15</sup> Кроме уже указанной статьи, см.: Н. Кун, Zur Gliederung der germanischen Sprachen, «Zeitschr. für deutsches Altertum und deutsche Literatur», LXXXVI, 1, стр. 1—40; его же, Das Problem der Ingwäonen, «Philologia frisca anno 1956», Grins, 1957, стр. 15—20.

<sup>16</sup> E. Schwarz, Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Studien zur Ausgliederung der germanischen Sprachen, Bern — München, 1951.

слова о том, что теория Зибса больше неверна, что необходима новая теория с новой проблематикой<sup>21</sup>, как бы подвели итог многолетним дискуссиям. Англо-фризские новшества, заключает он, «относятся, примерно, к эпохе обоснования англо-саксов в Англии. Возможно, что часть из них возникла в конце континентального периода, но и они могли хорошо развиться уже на острове». Не высказываясь на этот раз прямо о влиянии языка англо-саксонских переселенцев во Фрисландии, Сипма призывает тщательно обследовать «ингвеонскую область общения», населенную прибрежными племенами, где миграции и связи были обусловлены не только культурными целями, но и судоходством, торговлей, рядом с которыми шел культурный и языковой обмен. Море не разъединяло, а связывало, поэтому англо-саксы и после переселения оставались в зоне общения. До 450 г. и сразу после этого времени здесь отсутствовали заметные диалектные различия. Появившиеся в разных местах повнества расходились более или менее далеко, и если удастся установить все возможное из этих новшеств, их очаги, направление и степень распространения, абсолютную и относительную хронологию, то многие трудности будут преодолены.

\*

Итак, существует три объяснения близости фризского языка к английскому: а) эта близость объединяла их издревле, благодаря соседству на рубеже нашей эры; б) она должна быть связана с нашествием англо-саксов; в) она отражает созданную в эпоху переселения народов северогерманскую языковую общность. Под напором фактов первое объяснение все чаще отвергается, причем важным обстоятельством является расхождение в хронологии: фризы должны были бы оставить предпологаемую родину в Гольштинии не ранее II—III вв. (до этого времени отсутствовали какие-либо заметные диалектные различия), а между тем ядро Фрисландии называлось *Fresia* намного раньше. Второе и третье объяснения не исключают друг друга и должны, видимо, учитываться оба. Многие детали, однако, еще требуют уточнения, например, характер взаимоотношений англо-саксонских диалектов с местными фризскими, роль моря в создании новой языковой общности и т. д. Противники Хеерома и Булеса ука-

зывали на сохранение племенного названия фризов. Но ведь и в наши дни название «восточнофризский» часто употребляется в отношении нижнепемецкого диалекта в Западной Германии, вытеснившего здесь язык фризюв. В условиях, когда различия в языке были весьма слабыми, а сами переселенцы в значительной степени смешанными, название народа и названия местности могли остаться фризскими. Совершенно иное положение с английской топонимикой, возможно, объясняется тем, что в Англии германцы столкнулись с кельтами и расселились строго по племенам.

В заключение следует отметить, что в обстановке острых схваток с шовинистическими элементами полемика о происхождении фризского языка всегда воспринималась как эпизод национальной борьбы. Как и во всякой серьезной борьбе, здесь были, видимо, и свои потери. Критика традиционных взглядов нередко оценивалась как попытка поставить под сомнение былую значимость фризюв, их видную роль в истории средневековой Европы, их самобытность. «Быть или не быть» — эту проблему, стоящую во всей суровости перед фризями и их культурой, иногда неправомерно переносили на совершенно другую область. И вышло так, что, отбивая «нападку», уточняли и дополняли гипотезы, устаревшие в самой основе. Дискуссии, о которых говорилось выше, лишь раз показали, как важно при исторических исследованиях не замыкаться в рамках одного языка, а иметь перед глазами широкую перспективу. Мы видели, что в самые последние годы эти недостатки постепенно преодолеваются, аргументация идеалистического толка все чаще оказывается на заднем плане, а материалистический подход, пусть еще далеко не последовательный, прокладывает себе дорогу, не желая принимать на веру старые догмы. Фризских лингвистов характеризует завидная разносторонность старой школы; многие из них занимаются также литературой, историей, правом. Но дальнейшие успехи фризского языкознания будут во многом зависеть и от того, какое применение найдет здесь строгая лингвистическая методика наших дней.

Автор выражает искреннюю признательность проф. д-ру Й. Броуэру (Лезварден), проф. д-ру К. Фоккема (Амстельвеен), слависту проф. д-ру К. Схонсфельду (Лейден), любезно снабдившим его многочисленными изданиями, и проф. В. М. Жирновскому, который во многом определил характер статьи.

Я. Б. Крупаткин

<sup>21</sup> См. «*Philologia frisia anno 1956*», стр. 23—24.

## РЕЦЕНЗИИ

*E. Riesel. Stilistik der deutschen Sprache. — Moskau, Verlag für fremdsprachige Literatur, 1959. 468 стр.*

В отличие от авторов, разрабатывающих отдельные проблемы стилистики немецкого языка<sup>1</sup> или анализирующих преимущественно стиль художественной речи, Э. Г. Ризель в своем труде на большом иллюстративном материале рассматривает все стили речи и дает законченную систему стилистических средств современного немецкого языка, ее анализ и оценку. Книга Э. Г. Ризель — прежде всего лингвостилистическое исследование. Структура этой работы четкая: обширное введение, посвященное определению основных стилистических понятий, и пять частей, из которых в первых трех анализируются вопросы стиля, отдельно в лексическом, грамматическом и фонетическом аспектах, четвертая посвящена стилистическим вопросам «большого целого» (Stilfragen des Großzusammenhanges), в пятой же части рассматриваются вкратце отдельные стили современного немецкого языка.

В своей книге Э. Г. Ризель творчески преломляет концепцию акад. В. В. Виноградова о функциональных стилях речи применительно к немецкому языку. Автор выделяет следующие функциональные стили: 1) официальный стиль, 2) научный стиль, 3) стиль публицистики и прессы, 4) обиходно-бытовой стиль, 5) стиль художественной литературы. По мнению Э. Г. Ризель, функциональные стили реализуются в определенных условиях и формах общения: письменный или устный способ общения выступает в пределах каждого стиля в различных сочетаниях с монологической или диалогической формами общения. Так, например, официальный стиль реализуется в письменно-монологической форме (в документах, протоколах, актах и т. д.), в устно-монологической (в речи официальных и должностных лиц), в устно-диалогической (в деловых и официальных переговорах и т. д.).

Как известно, по поводу характера стиля художественной литературы и даже его самого существования нет единого мнения<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См., например: E. K o e l w e i, Wegweiser zu einem guten deutschen Stil, Leipzig, 1954; G. M ö l l e r, Guter Stil im Alltag, Leipzig, 1958.

<sup>2</sup> Ср., например: М. К. Морси, Н. Н. Тетеревникова, Стилистика современного французского языка, М., 1960; Р. Г. П и о т р о в с к и й, Очерки по стилистике французского языка, М.—Л., 1960.

Э. Г. Ризель считает возможным существование этого стиля для современной немецкой прогрессивной литературы. По ее мнению, специфика стиля художественной литературы заключается в том, что для достижения наибольшей художественности и образности он может использовать также и элементы других, не художественных функциональных стилей. Последнее зависит как от индивидуальной манеры писателя, так и от его связи с определенным литературным течением, а также с литературными воззрениями его времени. К сожалению, автор касается этой проблемы только во введении и не останавливается так же подробно на анализе стиля художественной литературы, как на анализе других функциональных стилей. Э. Г. Ризель не рассматривает в связи со стилем художественной литературы жанровых стилей, мотивируя это как тем, что вопрос мало разработан, так и тем, что границы между отдельными жанрами в современной литературе в значительной степени стерлись.

Достоинством стилистической концепции автора является четкое разграничение понятий «стиль» и «стилевая окраска» и устранение, таким образом, терминологической путаницы, возникающей при словопотреблении «торжественный стиль», «иронический стиль» и т. п. Э. Г. Ризель убедительно показывает, что в этих случаях как раз отсутствует основной момент, определяющий стиль, — его функциональная база, и речь идет лишь о стилевой окраске. К сожалению, сам автор в ряде случаев употребляет такие «неопределенные» термины, как, например, «Tatsachenstil». Далее говорится о двух основных категориях стилевой окраски, тесно связанных между собой в условиях языковой действительности: функциональной и семантико-экспрессивной. Первая из них указывает на традиционную принадлежность к определенному функциональному стилю, вторая, семантико-экспрессивная, — на выразительные оттенки в пределах какого-либо функционального стиля.

Э. Г. Ризель различает два вида (компонента) семантико-экспрессивной окраски: первый компонент включает всю шкалу оттенков — от «нулевой» (т. е. «простой литературной») до высокой и напыщенной, с одной стороны, и от «нулевой» до грубой и фамильярной, с другой. Этот компонент автор называет «стилевой окраской» в зависимости от литературного качества речи

(т. е. в зависимости от ее отношения к литературной норме)» (стр. 25). Такое определение представляется неудачным, так как, очевидно, предполагает полное соответствие литературной норме лишь у наименее выразительного в художественном отношении слоя явлений, имеющих «нейтральную», «нулевую» или «простую литературную окраску». Второй компонент семантико-экспрессивной стилиевой окраски составляет степень и характер экспрессивности, свойственные тому или иному конкретному высказыванию.

Таким образом, «Введение» знакомит читателя с основными положениями концепции автора. В заключение Э. Г. Ризель рассматривает один из наиболее важных теоретических вопросов стилистики — вопрос о языковых и стилистических нормах и об их изменчивости (Umpogung). Автор справедливо отмечает пояляющиеся в языке новые «отклонения» от нормы: они должны рассматриваться как равноправные параллели давно известных явлений, а не клеймиться немедленно как языковые или стилистические ошибки. Критерием должна служить языковая действительность, которая может быть подтверждена стилистическим исследованием.

\*

Частности первой части работы («Вопросы стилистики, связанные со словарным составом современного немецкого языка») представляется не совсем удачным: глава о фразеологических выразительных средствах неравномерно отделена от глав, посвященных стилистической характеристике словаря. Думается также, что раздел о семантико-экспрессивной окрашенности словаря должен освещать и вопрос об экспрессивной окраске фразеологии. Э. Г. Ризель справедливо считает правильным выбор слова материальной предпосылкой для действительного языкового оформления наших мыслей. В связи с этим особое значение приобретают разделы, в которых освещаются проблемы, связанные с синонимикой. Критикуя часто встречающиеся смешения понятий «тематическая группа» и «синонимический ряд»<sup>3</sup>, автор на убедительном языковом материале показывает, что тематическая группа может содержать несколько тематических и синонимических рядов. Правильный выбор слова, краткость и выразительность языкового выражения достигаются целенаправленным использованием соответствующих тематических групп и синонимических рядов. Исходная лексикологическая позиция не вызывает сомнений, но автору не следовало бы ограничиваться анализом смысловых и экспрессивных различий синонимов и наблюдениями над их взаимозаменяемостью. Исходя из учения о функциональных разновидностях речи, не отделимого от стилистической концепции автора, необходимо показать связь

отдельных синонимических вариантов или групп слов с функциональными стилями речи, рассмотрев понятия тематическая группа, тематический и синонимический ряды применительно к задачам стилистики.

Анализируя словарный состав современного немецкого языка с точки зрения его стилистического использования, Э. Г. Ризель отделяет функционально-стилистикачески недифференцированную лексику, одинаково употребляющуюся во всех стилях речи, от слов и выражений, применение которых ограничено определенными временными, территориальными, социальными и другими условиями, т. е. от функционально-стилистикачески дифференцированного словаря.

Рассматривая первую группу как стабильный лексический фундамент языка, являющийся основой для всех без исключения стилей речи, автор подчеркивает, что слова и словосочетания этой группы и составляют тот стилистикачески нейтральный фон, на котором особенно выделяется функциональная и экспрессивная окрашенность других слов лексики<sup>4</sup>. Интересны и наблюдения над постоянным взаимопроникновением лексического материала обеих групп (ср. *Lok* — первоначально профессиональный жаргонизм, в современном языке — слово функционально и стилистикачески недифференцированное). Но и Э. Г. Ризель не удалось окончательно преодолеть тот традиционный подход, следуя которому изучению общеупотребительных слов предпочитается изучение «измов»<sup>5</sup>. Хотя методы изучения и классификации общеупотребительной лексики все еще недостаточно разработаны, автору следовало бы указать на стилистические функции общеупотребительных слов в их переносно-фигуральном употреблении, а не ограничиваться замечанием о сплошной нейтральной стилистикаческой окрашенности общеупотребительной лексики.

Полезными, очевидно, были бы наблюдения, аналогичные замечанию акад. В. В. Виноградова о том, что истолкование и понимание самых простых слов, имеющих длинную историю употребления, вызывает много недоразумений<sup>6</sup>. В. В. Виноградов показывает, что слово *рецистый* в конце XVIII в. и в первой половине XIX в. имело значение «имеющий ясное, чистое произношение» и служило антонимом к слову *косноязычный*, т. е. в произведениях Грибоедова и Тургенева употреблялось в совершенно ином значении, чем в современном русском языке. Подобные явления имеют место и в немецком языке; ср. упот-

<sup>4</sup> См. об этом также: М. Н. Петерсон, К вопросу о построении лексикологии, «Р. яз. в шк.», 1940, 6.

<sup>5</sup> Ср. также: А. И. Ефимов, О языке художественных произведений, М., 1954 (ч. IV, раздел «Вопросы изучения смысловой и стилистической многогранности общеупотребительных слов...»).

<sup>6</sup> В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, М., 1959, стр. 172 и далее.

<sup>3</sup> См. F. Dornseiff, Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, Berlin, 1959.

ребление глагола *weben* в значении «ткать» в современном немецком языке и в значении «передвигаться» в первом варианте «Фауста» Гете.

Э. Г. Ризель указывает на принципиальное различие подхода лексикологии и стилистики к таким слоям словаря, как архаизмы, неологизмы, диалектизмы, арготизмы и т. д. Для дальнейшего анализа подготовлены и следующие положения автора: слова, принадлежащие в лексикологическом плане к одному и тому же слою, могут различаться по своему употреблению, т. е. стилистически. На количественно значительном и актуальном языковом материале автор строит тезис: стилистическая выразительность и окрашенность слов этой большой группы зависит от стиля, в котором они употребляются, и их функции применительно к конкретной речевой ситуации. В этих убедительно напечатанных разделах хотелось бы выделить положения о так называемых «австриацизмах» (стр. 86) — автор противопоставляет их обычным диалектизмам и рассматривает как национальные, вполне оправданные варианты немецкого литературного языка. Привлекает внимание раздел о реалиях, отсутствующий в известных нам пособиях по стилистике.

Важны замечания Э. Г. Ризель об усиленной стилистической функции слов-реалий, которые вне контекста имеют однозначное номинативное значение и лишены всякой экспрессивности. Однако нельзя согласиться с утверждением о том, что слова-реалии, в отличие от профессиональной лексики, являются не лексикологическим явлением, а стилистической категорией (стр. 106). Здесь автор отрывает функционально-экспрессивную характеристику явления от его материальной лексической основы. В главе о фразеологических выразительных средствах предпринята попытка противопоставить стилистическую классификацию фразеологии лексикологической. Автор подразделяет фразеологизмы на две большие группы в зависимости от наличия или отсутствия семантико-экспрессивной стилистической окрашенности и соотношения коммуникативной и выразительной функций. Принимаются во внимание также грамматические и структурные моменты. Нечеткость исходных позиций (смешение лексикологических и стилистических моментов) приводит к сложному и громоздкому описанию фразеологических единиц, причем стилистические моменты зачастую отодвигаются на второй план описанием лексико-фонетических признаков (например, разделы об идиомах и так называемых «шарных срочниках») или историей возникновения данных фразеологизмов (раздел о «крылатых словах»). Разделы о классификации фразеологии занимают в книге больше места, чем части, посвященные стилистической выразительности экспрессивной фразеологии. Между тем именно они представляют значительный интерес, так как здесь на обширном языковом материале разбираются не только экспрессивные оттенки фразеоло-

логических единиц, но и определяются условия их употребления в различных речевых сферах и литературных жанрах<sup>7</sup>.

Вопрос о тропах и перифразах Э. Г. Ризель разрешает в плане традиционной стилистики; выгодно отличает этот раздел отсутствие скрупулезной классификации тропов и богатый подбор примеров из разных функциональных стилей. В своих вводных замечаниях ко второй части («Вопросы стиля, связанные с грамматическим строем современного немецкого языка») автор указывает, что из-за отсутствия исследований в этой области не представляется возможным систематизировать морфологические языковые выразительные средства. Таким образом, в поле зрения автора попадают проблемы синтаксических выразительных средств, которые он намеревается рассмотреть в плане грамматической синонимии. Действительно, синтаксис открывает более широкие возможности для исследования синонимических, а вместе с тем и стилистических вариантов, чем морфология, где порядок следования языковых единиц не может быть нарушен, но вопросы стилистического использования артикля, местоимений, глагольных категорий лица и числа и т. д. достаточно освещены в литературе.

В рецензируемой работе рассеяно множество интересных замечаний о стилистическом использовании морфологических явлений. Вторая часть книги более соответствовала бы своему названию («Вопросы стиля, связанные с грамматическим строем»), если бы эти замечания были собраны воедино и, в виде отдельной главы, предшествовали главам о синтаксических выразительных средствах. Противопоставляя понятия «порядок слов в грамматике» и «стилистический порядок слов», Э. Г. Ризель подчеркивает, что нарушение последнего является индивидуальным приемом, а не отклонением от языковых норм. Автор доказывает, что такое нарушение порядка слов, выражающее функциональные и семантико-экспрессивные оттенки, выступает в качестве синтаксического синонима как к стилистическому, так и к обычному порядку слов. Э. Г. Ризель вслед за В. Шнейдером<sup>8</sup>, но более последовательно, чем он, выделяет в особую группу «короткие предложения» (*Kurzätze*). Они представляют определенную стилистико-синтаксическую группу, объединяющую односоставные, назывные, эллиптические и другие виды предложений. Использование «коротких предложений» (*Kurzätze*) связывается автором со стилиевой чертой — лаконичностью выражения (*Knappheit des Ausdrucks*).

\*

Часть третья, озаглавленная «Вопросы стиля, связанные с фонетической струк-

<sup>7</sup> См. об этом: В. В. Виноградов, Итоги обсуждения вопросов стилистики, ВЯ, 1955, 1.

<sup>8</sup> W. Schneider, *Stilistische deutsche Grammatik*, Freiburg, 1959.

турой современного немецкого языка», посвящена рассмотрению ряда общих проблем эвфонии, стилистической характеристики интонации и выразительных возможностей метрики. Рассматривая звуковые стилистические средства, автор убедительно доказывает несостоятельность учения о «магии звуков», о звуковой символике, якобы априорно присущей некоторым звукам, но и не отрицает существования некоторых национально-традиционных закономерностей художественного использования звукоподражательных языковых явлений. Понятие эвфонии трактуется в книге слишком узко и распространяется лишь на отдельные звуки, потому что только так можно понять решительный протест автора против установления каких-либо эвфонических правил в немецком языке (стр. 329), в то время как все приводимые Э. Г. Ризель соображения относительно звуковой инструментовки, аллитерации, ассонанса определяют в конечном счете условия эвфонии в немецкой литературе.

Положительным моментом в концепции Э. Г. Ризель является требование о необходимости сочетать при анализе эвфоническую и семантическую стороны высказывания. Нельзя далее согласиться с тем, что автор рассматривает в рамках главы о звуковых выразительных средствах использование графики для передачи различных специфических явлений живой речи. Орфографические моменты, имеющие отношение только к речевой характеристике, следовало бы упомянуть именно в этой связи, другие же графические средства (например, многоточия или тире при передаче удивления, деление на слоги при помощи тире для передачи замедленного темпа и т. п.), поскольку они могут характеризовать не только речь персонажа, но и собственно-авторское повествование, надо было бы дать в следующей главе, посвященной стилистической характеристике интонации и ее компонентов (ритма, тембра, мелодии, тона и т. п.). Оставившись на вопросах интонации, Э. Г. Ризель — в связи с общей неразработанностью этих проблем — ограничивается лишь рассмотрением отдельных примеров и последовательно проводит выдвинутое ею принципы, которые сформулируем кратко так: 1) стилистический анализ интонации невозможен без предварительного анализа содержания; 2) все фонетические средства должны рассматриваться в связи с лексическими, фразеологическими и синтаксическими выразительными средствами языка.

Говоря о выразительных возможностях метрических форм в немецком стихосложении, Э. Г. Ризель также защищает примат содержания над формой и ритмом, не отрицая, правда, некоторых стилистических возможностей у отдельных ритмических типов. Все соображения, высказанные автором в этом разделе книги, представляют большой научный и практический интерес в связи с полной их неразработанностью всех перечисленных выше проблем. Положительным является и то, что Э. Г. Ризель отказалась от обычного

для пособий по стилистике изложения теории метрики и ограничилась лишь наблюдениями над стилистическими возможностями метрических форм.

Если первые три части книги представляли собой анализ отдельных стилистических моментов, то в четвертой — «Стилистические вопросы целого» — надо было ожидать определенного синтеза. К сожалению, автор рассматривает здесь лишь отдельные вопросы «большого контекста»: способы передачи речи персонажей, формы обращения и перифразы вежливости, речевой портрет и архитектурную функцию языково-стилистических средств. Некоторое недоумение вызывает отсутствие каких-либо указаний на роль «большого контекста», его стилистической характеристики, его видов. Между тем вопросы контекста успешно разрабатываются сейчас в отечественной и зарубежной литературе.

Отдельные замечания вызывают здесь также и некоторые положения автора. Так, о несобственно прямой речи утверждается, что одним из ее признаков является «вторжение в нее типичных элементов речи персонажей: лексических диалектизм, арготизмов, профессионализмов и т. п.», хотя именно этих элементов в несобственно прямой речи крайне мало. Далее, не указывается, что одним из формальных моментов, определяющих наличие несобственно прямой речи в тексте, являются своеобразные «вводы». Неудачны также примеры, иллюстрирующие использование несобственно прямой речи для передачи иронии и примеры на внутренний монолог, несправедливо обойденные вопросы диалога. Неоправданным, с нашей точки зрения, является также рассмотренное в связи с проблемами «большого контекста» вопроса о формах обращения в немецком языке. Этот сам по себе очень интересный фактический материал следовало бы осветить наряду с вопросами исторической стилизации (раздел об архаизмах), которые, к сожалению, выпали из поля зрения автора и при рассмотрении речевого портрета литературных персонажей. Наибольший интерес в этом разделе представляет глава об архитектурных функциях языково-стилистических средств в рамках «большого целого». Это мало исследованная область, поэтому все поднимаемые автором вопросы приобретают особую ценность и указывают путь дальнейшим исследованиям.

\*

Большое значение для изучения стилистической системы современного немецкого языка имеют соображения, высказанные автором в пятой части книги («Функциональные стили современного немецкого языка»), посвященной отдельным функциональным стилям. Весьма плодотворным оказывается выявление в этой связи различного рода лингвистических факторов, влияющих на характер основных стилевых черт, присущих отдельным функциональным стилям. Описание отдельных

стилей современного немецкого языка, естественно, не может быть исчерпывающим в рамках книги, охватывающей такой огромный круг проблем, тем более что в литературе полностью отсутствуют серьезные работы, посвященные отдельным стилям. Излишним представляется включение в этот раздел различного рода нормативных моментов, не представляющих существенного интереса для русского читателя.

Как явствует из изложенного, неразрешенность вопросов о месте стилистики в кругу других лингвистических дисциплин, об ее объеме, содержании и методах не могла не сказаться на труде Э. Г. Ризель. Недочетом надо признать и отсутствие в этой работе развернутой полемики с такими западногерманскими стилистами, как Г. Зейдлер, Ф. Мартини, В. Кайзер<sup>9</sup>, труды которых упоминаются в исследовании Э. Г. Ризель. Хотя критические замечания частного порядка в адрес немецких ученых рассеяны по всей книге, подробный критический разбор концеп-

ций буржуазных стилистов усилил бы ее полемическую заостренность.

В целом книга безусловно перерастает рамки учебника для высшей школы, каким она является по замыслу. Возникшая на базе «Очерков по немецкой стилистике», вызвавших живой отклик в филологической литературе СССР и зарубежных стран, «Стилистика немецкого языка» Э. Г. Ризель является единственным в Советском Союзе пособием по стилистике этого языка и отличается большим охватом материала, мастерством лингво-стилистика анализа и увлекательной манерой изложения. Книга может быть рекомендована всем, кого интересуют вопросы теории и стилистики современного немецкого языка, а в первую очередь преподавателям и студентам специальных вузов, а также учителям немецкого языка. Книга пользуется большим признанием за рубежом, в особенности в Германской Демократической Республике, где она является не только пособием в высшей школе, но и справочником для молодых писателей, редакторов, журналистов<sup>10</sup>.

М. Д. Городникова, Е. В. Розен

<sup>10</sup> См. «Sprachpflege», 6, Leipzig, 1960.

C. H. van Schooneveld. A semantic analysis of the Old Russian finite preterite system. — 's-Gravenhage, 1959. 171 стр. («Slavistic printings and reprintings». Leiden university, VII).

При всем обилии литературы, посвященной истории форм славянского (и, в частности, древнерусского) глагола, кардинальный вопрос о взаимоотношении видовых и временных категорий в историческом аспекте имеет противоположные решения. Главная причина разногласий состоит в сложности разграничения значений видового и временного планов.

О неослабевающем интересе к этим проблемам как у нас, так и за рубежом свидетельствуют недавние публикации книг И. К. Буниной о системе времен старославянского глагола<sup>1</sup> и К. Схонефельда «Семантический анализ системы личных прошедших времен древнерусского языка». Выдвинутые вопросы авторы решают на материале либо отдельного крупного памятника (И. К. Бунина), либо небольшой группы памятников (К. Схонефельд). Целесообразность подобного методического подхода не вызывает сомнений, поскольку он дает возможность более тщательно разобратся во всем многообразии значений глагольных форм и при этом последовательно представить при правильном подборе памятников системные отношения, свойственные категориям славянского глагола.

Книга К. Схонефельда состоит (помимо «Введения») из восьми глав, содержащих синхронное описание значений форм аориста, имперфекта, личных форм прошедшего времени глагола *быти*, перфекта,

плюсquamперфекта, а также сочетаний форм прошедшего времени глагола *быти* с причастиями активного и пассивного залогов. В конце этой работы приложены индекс цитированных примеров и именной указатель. В создании синхронных описаний подобного рода, вскрывающих общие и специфические черты славянских языков, автор видит необходимую предпосылку для проведения научного сравнения синхронных структур с целью выяснения законов образования грамматических корреляций, сложившихся в различных славянских языковых системах. Ввиду этого сравнение с соответствующими явлениями других славянских языков в данной книге сведено к минимуму (эпизодически привлекаются факты главным образом сербско-хорватского языка).

Для исследования К. Схонефельдом отобраны произведения повествовательного характера: Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку, Слово о полку Игореве, Житие св. Бориса и Глеба в сб. XII в. Московского Успенского собора, Жезение Даниила, русские земли игумена 1106—1108 гг. Подобный подбор памятников для синхронного описания внушает некоторые сомнения<sup>2</sup>. Автор сам подчер-

<sup>2</sup> На это уже обратил внимание Б. О. Унбегаун в своем отклике на кн. К. Схонефельда (RESL, XXXVII, 1—4, стр. 192). Он отметил, что Схонефельд, используя структуральный метод, обходит молчаливо стилистическое значение форм, возможность церковнославянского влияния, различие между архаическими и жи-

<sup>1</sup> И. К. Бунина, Система времен старославянского языка, М., 1959.

кивает необходимость разграничения при исследовании различных хронологических пластов языка. Между тем в своем синхронном анализе он рассматривает на одном уровне хронологически весьма неоднородные списки, в которых должны были найтись отражение различные состояния и типы языка.

Методологическую основу данного исследования составляет метод бинарной оппозиции Р. Якобсона<sup>3</sup>, определяющий понимание Схонефельдом характера грамматических корреляций, свойственных временам древнерусского языка, и положение Ф. де Соссюра, согласно которому всякий языковой знак, отличающийся своеобразием формы, обладает каким-то особым значением. В своей интерпретации значений временных форм, в частности аориста и имперфекта, К. Схонефельд исходит из положения Б. Гавранка<sup>4</sup> (поддерживаемого А. Досталом, Н. Трубецким, И. Буиной) о самостоятельности, независимости собственных значений категорий вида и времени. Правда, К. Схонефельд не выдвигает самостоятельных веских доводов в пользу такого понимания, как это делает в своей работе И. К. Бунина<sup>5</sup>. Не выделяя особого раздела, посвященного отношениям между временными и видовыми значениями, К. Схонефельд каждый случай отклонения форм аориста или имперфекта от обычно соотносимых с ними видовых основ объясняет необходимостью выразить в каждом таком конкретном случае внутреннюю характеристику самого процесса с точки зрения ограниченности его или неограниченности. Таким образом, К. Схонефельд отказывается от видо-временной интерпретации форм аориста и имперфекта, рассматривая их в чисто временном плане. В процессе анализа автор ставит своей целью выяснение общего основного грамматического значения временных форм и дифференциацию его от частных, контекстно обусловленных значений.

В своей характеристике форм аориста К. Схонефельд полемизирует с теми исследователями, которые считают основным специфическим значением этих форм выражение последовательности действий. Автор отмечает, что древнерусский аорист иногда может обозначать действие, ограниченное определенным интервалом во времени (ср. прикрепление действия к известному, ограниченному промежутку вре-

выми формами» и рассматривает, таким образом, язык древнерусской письменности как язык, лишенный традиции.

<sup>3</sup> R. Jakobson, Zur Struktur des russischen Verbums, «Charisteria Gvilelmo Mathesio», Praga, 1932; его же, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP, VI, 1936.

<sup>4</sup> В. Наврăнек, Aspect et temps du verbe en vieux slave, «Mélanges Bally», Genève, 1939.

<sup>5</sup> И. К. Бунина, указ. соч., стр. 7—14.

мени у Е. С. Истриной<sup>6</sup>). Однако сам аорист в этом отношении не отмечен. Лишь благоприятствующий контекст (наличие нескольких последовательных аористов, обозначающих следующие друг за другом действия) в сочетании с семантическим признаком совершенного вида создает условия для возникновения этого сопутствующего значения. Оно отсутствует при передаче аористом действий отдельных, не включенных в цепь последовательных событий.

Аорист от глагола несовершенного вида в общей цепи последовательных событий может выражать (подобно имперфекту) повторность действия (*сступашася трижды*), что также контекстно обусловлено. Автор подчеркивает, что аорист характеризует обозначаемое действие простейшим образом, поскольку говорящий, используя эту форму, не ставит целей ни уточненного подразделения периода времени, предшествующего моменту речи, ни установления определенной протяженности во времени обозначаемого действия, ни выражения связи с каким-то другим действием в прошлом.

Анализ форм имперфекта К. Схонефельд проводит в плане проверки выводов Б. Гавранка, который в качестве основного значения имперфекта выделяет признак сопровождения другого действия<sup>7</sup>. Критически оценивая уже неоднократно оспаривавшееся положение Гавранка, автор указывает, что отношения между процессами, обозначаемыми формой имперфекта и какой-то другой глагольной формой (обычно аористом), носят довольно свободный характер. Встречаются случаи выражения имперфектом не одновременного, а последовательного действия по отношению к действию, выражаемому аористом. Для ряда примеров вообще не приходится говорить о значении совпадения во времени, поскольку контекст не содержит другой глагольной формы, кроме имперфекта. Таким образом, синхронность, одновременность с другим действием рассматривается автором в качестве сопутствующего значения имперфекта, не характеризующего его исчерпывающе.

Не задерживаясь на вопросах характеристики в рассматриваемой книге различных типов контекстных значений этой формы (имперфект в описательной функции — стр. 45—47; передающий обобщенную ситуацию — стр. 47—50; передающий повторяющееся действие — стр. 51—55), остановимся подробнее на основных выводах. Общее значение имперфекта автор устанавливает противопоставлением его аористу: в то время как аорист передает какой-то процесс, результаты которого находят свое проявление непосредственно в последующей ситуации, имперфект передает существенный сам по себе процесс, по-

<sup>6</sup> Е. С. Истрина, Синтаксические явления Синодального списка I Новгородской летописи, Пг., 1923, стр. 105.

<sup>7</sup> В. Наврăнек, указ. соч., стр. 227.

следствия которого не выходят за пределы продолжительности самого данного процесса (стр. 58). Таким образом, по мнению автора, форма аориста обозначает действие, способное связываться с другими действиями последующей ситуации, т. е. актуальное, существенное не только само по себе, но и в плане соотносительности с моментами последующей ситуации. В противоположность этому за процессом, обозначаемым имперфектом, признается более частный, более узкий характер. В качестве упрека автору следует указать на тот факт, что исследуемый им материал недостаточно интерпретирован в плане предлагаемого определения. Внимание автора в процессе анализа этих форм сосредоточивается главным образом на характеристике контекстных типов значений.

В выявлении основной тенденции противопоставления аориста и имперфекта К. Схонефельд идет примерно в том же направлении, что и И. К. Бунина. Рассматривая (вслед за Н. С. Трубецким) имперфект в качестве относительного времени, она пишет: «... формами аориста обозначаются действия основные, главные с точки зрения повествователя, а формами относительных времен (в том числе и имперфекта. — Б. Г.) — действия второстепенные, дополнительные, подчиненные главным и как бы их комментирующие»<sup>8</sup>. Между прочим, и К. Схонефельд неоднократно упоминает попутно об аористе как обозначающем главное действие и имперфекте как обозначающем второстепенное действие. Однако для него этот момент не оказывается решающим. Причина такого расхождения кроется, в частности, в различии исходного методического принципа этих исследований. К. Схонефельд по установившейся традиции проводит наблюдения над значениями времен в рамках предложения, высказывания, эпизода. В связи с этим у него оказывается ряд примеров, которые, по его мнению, свидетельствуют о передаче формой имперфекта самостоятельного, независимого процесса (стр. 56—57). Между тем одно из основных методических положений И. К. Буниной состоит как раз в том, что для правильного понимания «иерархии действий», в том числе выражаемых формами аориста и имперфекта, необходимо расширить рамки контекста, выйти иногда даже за пределы данного эпизода<sup>9</sup>. Если исходить из подобных методических соображений, то и в примерах, особо выделяемых К. Схонефельдом, обнаруживается несомненная связь аористных форм с имперфектными, которые вводят цитирование в качестве обоснования, пояснения основных действий, что и подчеркивается нередко усилительной частицей *bo*.

На наш взгляд, точки зрения К. Схонефельда и И. К. Буниной поддаются в известной степени сближению, если то содержание противопоставления, которое по-

ложено Схонефельдом в основу его определения, рассматривать как действительное, но вторичное, производное от основного более широкого противопоставления — действий главного и второстепенного.

Большое удовлетворение вызывает включение в книгу особой главы, посвященной вопросу распределения между видовыми и временными категориями форм простых прошедших времен глагола *быти*<sup>10</sup>, за которыми признаются семантические признаки, свойственные вообще системе личных прошедших времен древнерусского языка. Возражая Е. С. Истриной, К. Схонефельд не склонен отождествлять по значению формы *бъше* (имперфект несовершенного вида) и *бѣ*. Против этого, по его мнению, свидетельствует различие синтаксического окружения этих форм, а также довольно редкие случаи их смешения в разных списках Повести временных лет. Форма *бѣ* вводит процесс (часто в качестве звена в цепи последовательных событий) более категорично по сравнению с *бъше*. Будучи употребляемой в сочетаниях типа: *и бѣ; бѣ бо; бъше... бѣ... бѣ...*, она вводит какой-то новый факт, тогда как *бъше* объединяет, связывает весь эпизод, имеет характер более описательный. Не свойственно форме *бѣ* и характерное для *бъше* (и вообще имперфекта) сопутствующее значение одновременности. В конечном счете форму *бѣ* автор склонен признать аористом несовершенного вида.

Наибольший интерес представляют соображения К. Схонефельда относительно значения и места в системе глагола формы *быхъ*. В интерпретации этой формы К. Схонефельд отчасти расходится с А. Досталом, допускающим для нее наличие двух лексических значений — «*fu*» («*был*») и «*factus sum*» («*стал*»)<sup>11</sup>. К. Схонефельд настаивает на возможности объяснения различия этих значений на грамматическом уровне. По мнению К. Схонефельда, глагол, в зависимости от его лексического значения, может выражать либо представление о действии, развертывающемся от одного состояния к другому (*идти*), либо представление об однородном, неизменяющемся состоянии (*стоять, быть*). При этом может подчеркиваться или момент развертывания, т. е. неоднородности, или момент однородности выражаемого данным глаголом представления. Так, глаголом совершенного вида *пройти* передается гораздо более однородное представление, чем глаголом *проходить*. Это обусловливается сложной комбинацией категориального значения глагола с его лексическим значением и значением совершенного вида, семантический признак которого стре-

<sup>10</sup> Эти вопросы рассматриваются также в статье К. Схонефельда «The aspect system of the Old Church Slavonic and Old Russian verbum finitum *byti*», «Word», VII, 2, 1951.

<sup>11</sup> A. Dostál, Studie o vidovém systému v staroslovenštině, Praha, 1954, стр. 149—150.

<sup>8</sup> И. К. Бунина, указ. соч., стр. 116.

<sup>9</sup> Там же, стр. 6.

мится подытожить развертывание данного процесса, а также текстуальным окружением и общей ситуацией высказывания. Подобным же образом и в глаголе *быти* наложение признака предельности на значение однородного состояния (в сочетании с указанными выше факторами) нарушает впечатление однородности от несовершенного вида глагола *быти*. При этом заметно выделяется представление о развитии действия. Это и определяет наш выбор в современном языке между эквивалентами «был» или «стал» для перевода древнерусского *бысть*.

Дополнительные факты, свидетельствующие в пользу понимания формы *бысть* как аориста совершенного вида, К. Схонефельд видит в некоторых типах ее функционирования:

1. Использование этой формы в сослагательном наклонении, где *быхъ* должно было выражать законченность действия как необходимое условие для возможной реализации другого действия.

2. Употребление этой формы в «пассивном аористе». При сопоставлении конструкций типа *побъженъ бысть* и *побъженъ бѣ*, где функции причастий аналогичны, сочетания с *бѣ*, в зависимости от контекста, лишь иногда обнаруживают представление о развитии. Между тем во всех встреченных подобных сочетаниях с *бысть* представление о развитии сохраняется: связка *бысть*, которая подытоживает, обрывает проявление качества, выражаемого причастием, выделяет не статичное качество, а динамичность, результативность. Являясь обычным аористом совершенного вида, выражающим динамический аспект события, *бысть* сообщает всему сочетанию значение аориста страдательного залога.

3. Образование производных приставочных глаголов от основы *бы-*. Поскольку в видовой корреляции форм *бѣ* — *бысть* префикса нет, производные приставочные глаголы (*сбыся*, *забыти*) для сохранения семантического единства этого противопоставления по виду образуются от основы аориста совершенного вида *бы-*, а не *бѣ*.

Общая картина видовых и временных коррелятивных отношений форм глагола *быти* представляется автору в следующем виде:

	Аорист	Имперфект	Наст. время
Несоверш. вид	<i>быхъ</i>	<i>бяхъ</i>	<i>есмь</i>
Соверш. вид	<i>быхъ</i>	<i>будяхъ</i>	<i>буду</i>

Перфект и плюсквамперфект в книге К. Схонефельда анализируются в качестве разновидностей перфекта, выделяющихся лишь на основании отличий в значениях форм вспомогательного глагола. Руководствуясь положением об общности основного значения грамматической формы для всех ее употреблений, К. Схонефельд полагает, что отношения между перфектом (с формой настоящего времени вспомогательного глагола) и плюсквамперфектами

(с формами аориста и имперфекта вспомогательного глагола) вследствие известного параллелизма в структуре этих времен должны быть подобными отношениям, существующим между обычными, простыми формами настоящего времени, аориста и имперфекта. Но поскольку сложным формам прошедшего времени свойствен дополнителный общий формальный признак — причастие на *-ль*, он и определяет специфику значений перфектных форм: будучи по своим качествам сходно с прилагательным, причастие на *-ль* как бы фактуализирует, объективизирует обозначаемый процесс. Перфект, в отличие от аориста, передает процесс принадлежащий объективному знанию. Он вычленяет обозначаемый процесс из ситуации повествования, подчеркивает разрыв во времени между обозначаемым процессом и моментом речи. Таким образом, возникает представление о контрастности двух ситуаций, между которыми нет промежуточных связывающих звеньев. На основе учета различных сторон в объективизации обозначаемого процесса по отношению к участникам высказывания К. Схонефельд и предлагает свою группировку типов использования перфекта (стр. 95—106).

Причину довольно частого употребления аориста в прямой речи, где бы можно было ожидать перфект, автор видит в том, что передача этих событий в объективном аспекте невозможна, поскольку по крайней мере часть событий существует только в представлении говорящего (ср. замечание Е. С. Истриной об использовании аориста в прямой речи в авторских замечаниях<sup>12</sup>).

В формах эллиптического перфекта (без вспомогательного глагола) К. Схонефельд усматривает дальнейшее ослабление связи обозначаемого действия с основной ситуацией высказывания (виду отсутствия вспомогательного глагола). Стремление автора искать особую, по сравнению с полным перфектом, семантическую мотивированность форм эллиптического перфекта представляется несколько искусственным. Более убедительным выглядит иное объяснение причины отсутствия вспомогательного глагола (обычно в перфекте для 3-го

лица), исходящее из условий выражения отношений действия к лицу<sup>13</sup>.

Формы плюсквамперфекта служат лишь материалом для проверки уже сделанных выводов, поскольку значения составляющих компонентов были выяснены автором

<sup>12</sup> Е. С. Истрина, указ. соч., стр. 118.

<sup>13</sup> См. П. С. Кузнецов, Очерки исторической морфологии русского языка, М., 1959, стр. 208—209

в предшествующих главах книги. Специфическим, с очень слабыми контекстными вариациями, признаком плюсквамперфекта, сообщающим этому сочетанию четкое значение, автор считает выражение двойного скачка в прошлое, дважды обозначенного предшествования: форма прошедшего времени личного глагола обозначает предшествование моменту речи; причастие, объективирующее процесс, передает идею предшествования по отношению к моменту, обозначенному формой вспомогательного глагола. Поскольку причастие в этой форме не имеет прямого отношения к моменту речи или ситуации, в которой находятся сами участники высказывания, плюсквамперфекту не свойственны те контекстные значения, которые типичны для полного перфекта.

К сожалению, К. Схонефельд не выразил своего мнения по поводу общего понимания времен перфектной группы: рассматривает ли он их в качестве аналитических форм, обладающих единым грамматическим значением, или в качестве словосочетаний свободного характера. В процессе анализа автор фактически исходит из признания семантической самостоятельности каждого из составляющих элементов. При этом, принимая аксиоматично для вспомогательного глагола аналогичность значениям форм простых прошедших времен глагола *быти*<sup>14</sup>, автор все внимание концентрирует на значении, вносимом причастием на -*ль* (вспомогательный глагол рассматривается лишь как средство увязывания объективной ситуации, передаваемой причастием, с основной ситуацией). Чисто аналитическое понимание этих форм в сравнительно поздний период их существования вряд ли может быть оправдано.

В книге К. Схонефельда недостаточно раскрыто понимание результативного характера перфектной формы, которое большинством исследователей рассматривается с теми или иными вариациями в качестве основного и исконного значения перфекта<sup>15</sup>. Для К. Схонефельда это всего лишь частное, контекстно обусловленное значение. Вызывает сомнения трактовка К. Схонефельдом форм времени в Поучении Владимира Мономаха, текст которого обнаруживает признаки позднейшего включе-

ния в состав Повести временных лет. Наличие в нем многочисленных (гораздо более частых, чем в остальных частях летописи) форм перфекта ряд ученых считает отражением процесса разложения старой временной системы<sup>16</sup>. К. Схонефельд, не упоминая подобного объяснения, усматривает причины специфического употребления форм времени лишь в жанровом и стилистическом своеобразии памятника. Исходя из этого и из понимания перфекта как формы, объективирующей процесс, К. Схонефельд предлагает по-своему интересное, но более субъективное объяснение причин употребления здесь форм перфекта, с одной стороны, и аориста и имперфекта, с другой; по его мнению, Владимир использует перфект, давая перечень своих подвигов, подчеркивая их количественный аспект и тем самым как бы вычленив их из контекста. Переходя же от перечисления к качественно-конкретной стороне событий, рассказчик обращается к формам аориста и имперфекта, так как цель его в этом случае — передать детали, которые могли быть неизвестны (стр. 105). Заключительные разделы книги К. Схонефельда представляют собой обзор сочетаний различных типов причастий со вспомогательным глаголом *быти*.

Вызывает некоторое удивление тот факт, что из русских работ по глаголу в книге в качестве своего рода эталона используются главным образом исследования 20-х годов — Е. С. Истриной и Е. Ф. Карского, выводы которых уже неоднократно уточнялись. Ссылки на новые русские труды носят довольно случайный характер.

В целом книга К. Схонефельда представляет безусловный интерес для исследователей истории русского языка как новая попытка поставить и разрешить крайне трудную задачу. Разнородность решения во многом общего круга вопросов, затронутых в этой книге и в исследованиях о временах старославянского языка И. К. Буниной, лишний раз свидетельствует, что проблемы истории славянского глагола еще ожидают своего разрешения, требуют анализа новых материалов. Обе работы убеждают, что при анализе необходимо исходить из внутрисистемных отношений древних славянских языков.

Г. И. Белозерцев

<sup>14</sup> На ряд случаев утраты обычного лексического и грамматического значения глагола *быти* в функции вспомогательного глагола в составе плюсквамперфекта в его поздний период указывал еще А. А. Потебня (см. «Из записок по русской грамматике», I—II, М., 1958, стр. 261).

<sup>15</sup> Из последних работ, рассматри-

вающих формы перфекта в этом плане, назовем книгу П. С. Кузнецова, считающего случаи утраты результативного значения в древнерусском перфекте явлением вторичным (указ. соч., стр. 202 и сл.).

<sup>16</sup> См. П. С. Кузнецов, указ. соч., стр. 205.

## НОВЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ ПО ОНОМАСТИКЕ

«Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1958 włą-znie». Opracował W. Taszycki przy współudziale M. Karasia i A. Turasiewiczza. — Kraków, 1960. 336 стр.

Под «ономастикой» в современной польской лингвистике понимается совокупность всех имен собственных или их изучение. Термином «этнонимика» В. Ташицкий в рецензируемой «Библиографии» не пользуется совсем, хотя у других польских авторов мы встречаем этот термин в форме «toponimia» или «toponomastyka». В краткой вступительной статье В. Ташицкий подчеркивает, что вышедшая «Библиография» включает почти исключительно работы польских ученых. Отклонением от этого правила явились некоторые труды ученых других стран, опубликованные в польских изданиях.

В «Библиографию» включены также работы польских ученых, опубликованные в изданиях других стран. Как исключение в «Библиографии» приведены наиболее важные статьи и заметки, изданные в польских газетах. (Ценность этих работ определяется тем, что они вошли в научный оборот и цитируются в ономастических исследованиях.) Труды, вошедшие в рецензируемую «Библиографию», выходят далеко за пределы исследования собственных имен Польши: здесь представлены исследования ономастики многих стран. Около половины всех работ имеют краткие аннотации. Внутри каждой рубрики каждого раздела материал дается в алфавитном порядке по фамилиям авторов.

«Библиография» снабжена четырьмя указателями: 1) предметным (который является указателем вопросов, освещенных в называемых работах), 2) указателем личных имен, 3) указателем географических названий (2-й и 3-й указатели включают лишь имена собственные, вошедшие в заглавия работ), 4) индексом авторов. Разнообразие и многочисленность трудов, включенных в этот библиографический свод, заставили составителей дать довольно дробную классификацию. Составителями выделены следующие разделы: 1) библиографии (сюда вошли в основном библиографические разделы по ономастике, помещенные в исторических, географических и других библиографиях); 2) общее (история ономастики, критические обзоры, вопросники, биографии и некрологи); 3) материалы; 4) исследования;

5) вопросы правильности (т. е. правильности употребления, написания, произношения и также вопросы изменений, искажений и вариантов); 6) рецензии на работы не польских ученых.

Наибольшими по объему и центральными для данного библиографического свода являются разделы третий («Материалы») и четвертый («Исследования»). В разделе «Материалы» имеются три рубрики: 1) личные имена, 2) географические названия, 3) смешанные материалы (издания, где одновременно имеются материалы по личным именам и по географическим названиям). Здесь собраны издания самого разнообразного характера. Мы находим здесь списки имен, прозвищ, фамилий, псевдонимов и криптонимов, списки земель по областям и по принадлежности старым владельцам, адресные книги, списки офицеров полка, списки погибших воинов, выписки личных имен и географических названий из исторических документов (актов, хроник), календари со списками личных имен, некоторые диалектологические и этнографические работы, в которых имеется материал по ономастике и т. п., а также различные словари и словники, в том числе и те словари, которые содержат и анализ имен. Хронологическими границами раздела «Материалы» являются 1136—1958 гг.

В разделе «Исследования» работы расклассифицированы по следующим рубрикам: 1) имена личные: а) имена, фамилии, прозвища, б) правовые термины и в) мифологические имена; 2) названия племен и стран; 3) названия географические: а) названия городов и местностей, б) названия гор, в) названия водоемов, г) названия улиц, площадей, садов, предместий и домов; 4) клички животных. Некоторые статьи и книги носят смешанный характер. Трудно назвать даже только основные виды работ, вошедших в этот раздел. Здесь собрано все — от газетных заметок до монографий. Раздел «Исследования» — наибольший по объему (из 3195 работ, помещенных в «Библиографии», 2 тыс. работ относятся к этому разделу). Он дает возможность судить о том, что сделано польскими учеными в области ономастики.

«Bibliographie onomastique de la Tchecoslovaquie par Václav Polák». — Louvain, [1960]. 118 стр. [«Onoma», VII (1956/57), 3 (International centre of onomastics)].

Под «ономастикой» составитель «Библиографии ономастики Чехословакии» понимает все работы, относящиеся к изучению имен собственных, подразделяя их на два основных раздела — «топонимику» и «антропонимику». Под термином «топонимика» разумеется совокупность географических названий и их изучение. Под термином «ан-

тропонимика» имеются в виду не только материалы и исследования, посвященные личным именам, но и те, которые рассматривают названия племен и народов, т. е. «этнонимика», а также работы, касающиеся кличек животных — «зоонимика».

Материалы и исследования, включен-

ные в данную «Библиографию», классифицируются таким образом:

I. Общес: а) библиографии; б) сборники материалов; в) обобщающие работы (сюда вошли в основном труды исторического плана, полностью или отчасти базирующиеся на ономастическом материале).

II. Топонимика: а) библиографии, сборники материалов, обобщающие работы; б) исследования топонимов у древних авторов; в) исследования топонимов в хрониках средних веков; г) названия дославянского и неславянского происхождения; д) названия славянского происхождения; е) названия населенных пунктов; ж) названия урочищ (здесь объединены работы о названиях лесов, полей, виноградников, некоторых улиц, мест в долинах рек и названия небольших речек); з) названия областей.

III. Антропонимика: а) названия народов и племен; б) личные имена: 1) библиографии, сборники материалов, обобщающие работы; 2) имена; 3) фамилии; 4) прозвища и псевдонимы; 5) клички животных.

IV. Вопросы грамматики и орфографии.

В справочнике имеется индекс авторов, работы которых вошли в «Библиографию». Всего приводятся указания на 1883 работы. Внутри каждой рубрики каждого раздела вначале даются работы без авторов, а затем весь материал приводится в алфавитном порядке по фамилиям авторов. Заглавия трудов на славянских языках даются также и во фран-

цузском переводе. Большая часть работ аннотирована; аннотации даны по-французски.

В «Библиографии», в основном, собраны материалы и исследования имен собственных, распространенных на территории Чехословакии, вне зависимости от того, где издана работа и автором какой страны она написана. Здесь имеются указания и на труды многих немецких авторов, а также отдельных французских и венгерских.

Библиография типа рецензируемой удобна для пользования. К сожалению, в краткой вступительной заметке В. Полак ничего не говорит о принципе подбора материала для составленной им библиографии, но оговаривает, что ее нельзя считать исчерпывающей, что в нее вошли только те важнейшие работы, которые оказались доступными для составителя. Это первый в Чехословакии опыт систематической библиографии трудов по ономастике. Специалисты смогут почерпнуть в «Библиографии» сведения о состоянии исследований по ономастике, о их методах, получат представление как о размахе ведущихся изысканий, так и о степени их продвинутости. Работы «фантастического» характера (особенно многочисленные в XIX в.), как правило, не включались в «Библиографию», а те из них, которые вошли, снабжены аннотациями; последние заставят читателя отнестись к этим работам с должной осторожностью.

*Н. В. Подольская*

## ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

## О «ВСТАВОЧНОМ» СЛОВООБРАЗОВАНИИ

В № 2 «Вопросов языкознания» за 1959 г. была помещена статья И. М. Бермана «О „вставочном“ типе словообразования». Во вступлении к статье автор пишет, что «вставочное словообразование, получившее в последние десятилетия значительное распространение в английском языке и особенно в его американском варианте, является сравнительно новым и еще мало изученным (подчеркнуто мной.— Е. Ч.) способом словообразования» (стр. 104). В подстрочном примечании на стр. 105 автор отмечает существование слов подобной структуры также в немецком, французском и русском языках. «При вставочном способе словообразования,— отмечает И. М. Берман,— исходные слова (например, *to gallop* „скакать галопом“ и *to triumph* „праздновать триумф“) как бы „вкладываются“ одно в другое..., а из их „осколков“ (*gal-+umph*) образуется новое слово-вставка...» (стр. 104).

Терминология, применяемая в статье для обозначения указанного типа слов, следующая: «вставки» (по-видимому, изобретение автора), *blends* «смеси» (Менкен и др.), *portmanteau-words* «слова-чемоданы» (Л. Керрол) и «контаминация» (Г. Пауль и др.). Последний термин автор определяет как «неупорядоченное объединение двух слов в одно (например, *chortle* от *chuckle* + *snort*)» (стр. 105). Самый процесс получения таких слов автор обозначает термином «телескопия».

Приведя много примеров указанных новообразований, главным образом из английского языка, и отметив, что «ни к одному из имеющихся в словообразовании структурных типов телескопические слова отнести нельзя» (стр. 105), автор пытается по-своему объяснить и даже систематизировать указанные случаи словообразования. Подводя итоги, автор пишет, что наблюдения показали следующее: «постоянное увеличение количества вставок при стабилизации осколочного элемента (*electron*, *positron*, *cyclotron* и т. д.) требует внимательного изучения этого нового процесса» (подчеркнуто мной.— Е. Ч.) (стр. 106).

Но, считая вставки сравнительно новым и мало изученным способом словообразования и выдвигая необходимость «внимательного изучения этого нового словообразовательного процесса», автор все же приходит к выводу, что «вставки... тяго-

теют к одному из установленных в словообразовании типов, проявляя тенденцию к полному переходу в какой-либо из них» (стр. 106). И дальше: «Близость вставок к сложным словам ясно обнаруживается на примере перехода первоначального осколка *-bus* (*omnibus*, *autobus*) в компонент сложных слов (*trolleybus*, *motorbus* и т. д.)» (стр. 107). В заключение автор пишет: «Проведенный анализ явно обнаруживает пограничный характер телескопии по отношению к другим способам образования слов, что снимает вопрос о целесообразности выделения ее в отдельный вид словообразования...» (стр. 107).

Не собираюсь вступать в какую-либо полемику по основным положениям автора, я исхожу из его последней мысли, что вопрос о выделении телескопии в отдельный вид словообразования снимается. В следующем изложении я просто собираюсь сообщить о тех данных, которые существуют в литературе по затронутой проблеме. Все эти новые слова, возникшие и возникающие по необходимости в процессе развития науки и техники, по своей структуре и способу образования связаны с глубочайшей древностью индоевропейских языков. Каким бы термином ни обозначался указанный вид слов, назовем ли мы их вставками, смесью, «словами-чемоданами», а самый процесс образования таких слов обозначим терминами «телескопия», «контаминация», — все они возникали и возникают согласно определенным языковым законам и имеют долгую традицию исследования, причем среди ученых, изучавших эту проблему, можно отметить имена ведущих советских и зарубежных лингвистов.

Автор упомянутой статьи совершенно правильно отмечает «близость вставок к сложным словам» (стр. 107). Но к каким, к какой их категории? Верно подмечен им и процесс суффиксации, идущий параллельно возникновению новых сложных слов из осколков старых. Этот процесс отмечается в сложных словах под влиянием ударения и звукового окружения (О. Есперсен, Г. Пауль, Э. Клейн, А. Мейе, Г. Суит). Иногда суффиксация вполне очевидна, как, например, в *postman* и других словах, сложенных с *-man*. Но часто процесс затемняется настолько, что первоначальный компонент, из которого получается суффикс, уже невозможно восстановить, по крайней

взгляд. Классическим примером таких слов в английском языке является *daisy* < др.-англ. *dæg*es + *ēage* «глаз дня».

Таким образом, мы подходим к проблеме так называемых скрытых композитов, а о них не только есть упоминания в грамматиках, но им посвящались специальные исследования. Обратимся теперь к литературе по скрытым композитам.

О. Ф. Эмерсон в своей «Истории английского языка» пишет: «...одним из определенных особых изменений в английском словарном составе, происходящих в процессе естественного развития всякого языка, является затемнение сложных слов или утрата значения отдельных их частей, возникающая от исчезновения ударения (скрытые композиты)»<sup>1</sup>. Примеры: *Good-bye* < *God be by ye*; *orchard* < др.-англ. *orcedard*, *ortgeard* < (*wyr*)*ort* «herb» + *geard* «garden»; *world* < *wer* «man» + *ealdu* «age» (см. О. Ф. Эмерсон, указ. соч., стр. 139).

«Архаическая по своему происхождению система словосложения получила новое осмысление и применение на новейшем этапе языкового развития...», — пишет В. М. Жирмунский<sup>2</sup>. Г. Пауль отмечает те же факты, трактовке которых он посвящает несколько глав своего капитального труда<sup>3</sup>. В гл. IV о словосложении (стр. 74—105) отмечается, что потребность для обозначения вновь возникающих понятий приводит к словотворчеству. Немалую роль здесь играет преднамеренность. В «словах-чемоданах» в соединении могут вступать два синонима или вообще каким-либо образом связанные формы выражения, даже антонимы. Примеры: *Erdtoffeln* < *Kartoffeln* + *Erdäpfel*; *Gemäldnis* < *Gemälde* + *Bildnis*, *gravis* < *gravis* + *levis*; *senexter* < *sinister* + *dexter* (см. Г. Пауль, указ. соч., стр. 160—162).

Г. Пауль отмечает, что не только отдельные элементы вступают в контаминацию, но и синтаксические объединения. Например: *Derselbe der...* + *dergleiche wie* > *dergleiche der...* (Г. Пауль, указ. соч., стр. 165—167). Явление эллипсиса тоже основано на смешении форм (стр. 173). В гл. XI упоминается о явлении народной этимологии в его отношении к образованию скрытых композитов. Изменения, свойственные народной этимологии, употребляются писателями-юмористами, тогда они преднамеренны. Но существует явление непреднамеренных изменений (стр. 218—220).

Работа Э. Клейна<sup>4</sup> вскрывает причины

появления скрытых композитов. Они сводятся к влиянию ударения и звукового окружения, которые вызывают редукцию или отпадение начальных и конечных частей компонентов у композитов и обуславливают изменения в характере звуков слов, сокращение слов, выпадение отдельных звуков, слияние компонентов в одно слово. Проводится классификация отдельных случаев в связи с влиянием ударения и звукового окружения. Работа вскрывает закономерности этих изменений, но Э. Клейн отмечает и случайные факторы их, как, например, влияние аналогии, народной этимологии и др.

К. Нироу в двух своих книгах указывает на существование в языке скрытых композитов и отмечает влияние народной этимологии на их образование<sup>5</sup>. О. Есперсен в «Новейшей английской грамматике...»<sup>6</sup> упоминает о существовании таких слов, как *gigmanity* (Карлайл) < *gig* + *humanity* (стр. 94). В главе о композитах он говорит о сокращениях слов (так называемых *stump-words*). Например: *permed* < *permanent* + *waved* (стр. 547). Ф. Вуд в своей книге «Очерк истории английского языка»<sup>7</sup> упоминает о «словах-чемоданах» и дает примеры их: *lunch* < *lump* + *hunch*; *tinner* < *tea* + *dinner*; *macon* < *mutton* + *bacon*. Г. Суит в «Краткой истории английской грамматики»<sup>8</sup> в главе о словосложении (стр. 208—214) отмечает, что уже в древнеанглийском наблюдалось явление затемнения компонентов сложных слов под влиянием ударения и переход их в суффиксы. Один из его примеров — суффикс *-lic*, который еще в древнеанглийском представлял затемненный второй элемент композитов с *-lic* «тело (*frēondlic*)» (стр. 209).

Г. А. Бергстрем посвятил свою диссертацию<sup>9</sup> специально изучению явления контаминации, поскольку она проявляется в образовании «слов-чемоданов» и даже целых выражений такого же характера. К диссертации приложен список литературы по разработанной автором проблеме. Главной причиной образования смешанных форм (*blendings*) автор считает аналогию и высказывает мысль, что контаминация возникает как проявление аналогии. Примеры: *beginement* < *beginning* + *commencement* (стр. 7); *mobus* < *motor* + *bus*; *chortle* < *chuckle* + *snort*; *preet* < *pretty* + *sweet* (стр. 27); *pubak* <

<sup>5</sup> K. r. Nuro, Grammaire historique de la langue française, Copenhagen, 1930; ег о же, Das Leben der Wörter, Leipzig, 1903.

<sup>6</sup> O. Jespersen, A modern English grammar on historical principles, Copenhagen, 1942, VI, стр. 94, 547.

<sup>7</sup> F. Wood, An outline history of the English language, 1941.

<sup>8</sup> H. Sweet, A short historical English grammar, Oxford, 1892, стр. 208—214.

<sup>9</sup> G. A. Bergström, On blending of synonymous or cognate expressions in English, Lund, 1906, стр. 5, 7, 27, 29, 39, 44—65, 69—72.

<sup>1</sup> O. F. Emerson, The history of English language, New York, 1922, стр. 138—139.

<sup>2</sup> В. М. Жирмунский, История немецкого языка, М., 1948, стр. 286.

<sup>3</sup> H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle, 1909, стр. 74—351 (гл. IV, VIII, XI и XIX).

<sup>4</sup> E. Klein, Die verdunkelten Wortzusammensetzungen im Neuenglischen, Königsberg, 1911, стр. 1—67.

*punsch + tobak* (швед.) (стр. 29). Контаминация распространяется и на область фразеологических единиц. Пример из разговорной речи: *It is ever so nice < It's very nice + as nice as anything ever was*. Автор дает множество тщательно подобранных примеров из разнообразных источников: из старых авторов эпохи Шекспира и более ранней, из современной автору периодической литературы (1905 г.), из словарей (стр. 44—65).

Особое внимание Г. А. Бергстрем уделяет Л. Керролу и дает много примеров контаминации из книги «Алиса в стране чудес», а также из другой книги Керрола «Через зеркало». Самый термин *port-manteau-words* «слова-чемоданы» принадлежит, как известно, этому писателю. В предисловии к книге «Через зеркало» Керрол пишет о таких словах: «Это — как чемодан: два значения пакуются в одно слово» (стр. 69). В упомянутой книге Л. Керрол выступает как сочинитель «слов-чемоданов». В книгу («Через зеркало») вставлена целая поэма под заглавием «*Jabberwocky*», состоящая сплошь из таких слов. При чтении сначала невозможно ничего понять, и только внимательный анализ помогает определить в составе слов их знаковые черты и значения. Например: *frabjous < frightful + rapturous*; *mimsy < misty + flimsy*; *galumph < gallop + in triumph*; *vorpel < voracious + appalling*; *sliethy < slim + lithy* (стр. 69 и 72). Всем известное и часто встречающееся в современной английской периодике слово *smog < smoke + fog* (очевидно, оно уже получило права гражданства в языке) упоминается Бергстромом (стр. 61) и было им заимствовано из «*Daily News*» (от 26 июля 1905 г.).

Диссертация К. Сундена<sup>10</sup> посвящена теме, близкой к предыдущей; ценно то, что автор прилагает длинный список литературы, на которой базируется. Он рассматривает понятие эллипсиса в приложении к фразеологическим единицам, а также и к отдельным словам. На стр. 63—64 упоминается о Л. Керроле и о «словах-чемоданах». Автор отмечает «контаминацию» в стиле Керрола, но считает, что «слова-чемоданы» возникают исклю-

чительно предумышленно, и этим они отличаются от образований по аналогии. На той же странице 64 упоминается о явлении гаплогогии, т. е. пропуска в середине слов одинаковых слогов; например: *pan-Anglosaxon > Panglosaxon*.

У всех вышеупомянутых зарубежных авторов говорится о влиянии народной этимологии и редупликации в области сложных слов, особенно в именах собственных. Народная этимология отмечается как один из факторов образования скрытых композитов. Вопросы народной этимологии разработаны детально в книге К. Андресена<sup>11</sup>.

Топонимика — это область, где уж никак нельзя заподозрить преднамеренности. Названия мест слагаются часто вскаки, в процессе исторического развития народов и их языка. В этих названиях большую роль играют скрытые композиты. Примеры народной этимологии в топонимике по Андресену: *Liebe Seele < Lipa Selo* (слав.) (стр. 119); *Klagenfurt < Claudii forum* (стр. 136); *Weisenau < vicus novus* (стр. 140); *Kammerschien < Campo ursino* (стр. 145).

Говоря о народной этимологии, невозможно не вспомнить Н. С. Лескова. Сколько у него этих «слов-чемоданов» самого неожиданного происхождения! На вопрос, откуда у него эти словечки, он ответил, что отчасти подслушал в живой речи, а отчасти сам выдумал. Слова эти разбросаны у него в тексте повсюду, но, кажется, больше всего их в следующих рассказах: «Левша», «Полунощники», «Запечатленный ангел» и «Леон, дворецкий сын». Привожу здесь несколько примеров «слов-чемоданов» из рассказа «Левша»: *пулякция* от *апоплексия + комплекция* с некоторым оттенком слова *пун*; *трететир* от *трететь + рететир*; *студинг* от *студень + пуддинг*; *публицейские* (ведомости) от *публиковать + полицейский*; *свистовой* от *свистать + вестовой*<sup>12</sup>.

Е. И. Чадаевская

<sup>11</sup> К. G. A n d r e s e n, Ueber deutsche Volksetymologie, Heilbronn, 1883, стр. 118, 119, 136, 140, 145.

<sup>12</sup> Н. С. Л е с к о в, Собр. соч., VII, М., 1956, стр. 26 и др.

<sup>10</sup> K. S u n d e n, Contribution to the study of elliptical words in modern English, Upsala, 1904, стр. 63—64, 68, 144.

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

21—23 февраля 1961 г. в Майкопе состоялась научная сессия Адыгейского научно-исследовательского ин-та, посвященная вопросам адыгейского языка, литературы и фольклора. В работе сессии наряду с литературоведами и фольклористами приняли участие языковеды Абхазии, Адыгеи, Грузии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесской АО, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии.

На пленарном заседании было заслушано несколько докладов. В своем докладе на тему «Иберийско-кавказские языки и научная актуальность их изучения» акад. АН ГрузССР А. С. Чикобава остановился на истории изучения иберийско-кавказских языков в нашей стране и за рубежом и отметил важность описательного и сравнительно-исторического анализа языков, входящих в данную языковую семью. Он указал на необходимость выпуска различных типов словарей и на важность изучения живых диалектов, являющихся основным источником для воссоздания истории младописьменных и бесписьменных языков. Доклад чл.-корр. АН ГрузССР К. В. Дзотатидзе «Об одном аффиксе абхазского языка», представлявший несомненный интерес для специалистов, был посвящен проницательно одному аффиксу в абхазском языке. Сообщение о проработке над сравнительным словарем абхазско-адыгейских языков, запланированной сектором кавказских языков Института языкознания АН СССР, сделал М. А. Кумахов. Доклад проф. Г. В. Рогова «О принципах построения научной грамматики адыгейского языка» носил характер отчета о его работе над научной грамматикой адыгейского языка, которую он составляет вместе с канд. филол. наук З. И. Керашевой. Г. В. Рогова подчеркнул, что в этой грамматике широко привлекаются данные диалектов, проливающие свет на историю младописьменного адыгейского языка.

В докладе З. И. Керашевой «Категория времени и наклоения в адыгейском языке», прочитанном на секции языка, рассматривался очень сложный раздел морфологии адыгейского языка — формы времени и наклоения, характеризующиеся разнообразием форм в этом языке. С докладами на секции языка выступили также зав. кафедрой адыгейского языка и литературы Адыгейского гос. пед. ин-та Б. Х. Дауров — «Выражение

сказуемого в адыгейском языке» и старейший адыгейский лингвист А. А. Хатанов — «Гласные звуки перед определенными надежными аффиксами в адыгейском языке». На секции же был заслушан доклад сотрудника Адыгейского научно-исследовательского ин-та К. А. Аутлева «Об инверсивных глаголах в адыгейском языке». К. А. Аутлев, исследовавший инверсивные глаголы адыгейского языка, выявил в нем целый ряд переходных глаголов, создающих синтаксическую (эргативную) конструкцию переходных глаголов.

Доклады, прочитанные на сессии, вызвали живой интерес не только среди специалистов, но и среди педагогов, писателей, поэтов, журналистов и учащейся молодежи, и это не случайно. За последние годы в Адыгее развернулась лингвистическая работа. Особо следует отметить успехи Адыгейского научно-исследовательского института в составлении словарей. Институт создал «Русско-адыгейский словарь» (под ред. Х. Д. Водождокова, М., 1960); накануне сессии вышел в свет первый в истории абхазско-адыгейской лексикографии «Толковый словарь адыгейского языка» (Майкоп, 1961 г.), составленный А. А. Хаташовым и З. И. Керашевой. В Адыгее ведется также большая работа по изучению диалектов и нормализации адыгейского литературного языка. Вопросы адыгейского литературного языка волнуют представителей широкой общественности. В решении этого вопроса от лингвистов ждут помощи преподаватели школы, работники печати, писатели, партийные и советские работники. Тем более досадны недостатки в проведенной сессии. Так, доклады были прочитаны, но они не обсуждались на сессии за недостатком времени, хотя в докладах затрагивались актуальные вопросы, по которым участники сессии могли бы высказать свои замечания и пожелания.

Из проведенной научной сессии полезно было бы сделать и некоторые организационные выводы. Многие вопросы, вынесенные на сессию, связаны с нерешенными проблемами целой группы (семьи) языков. Вопросы построения описательных и сравнительно-исторических грамматик, принципы выделения частей речи, определение места словообразования в кругу других лингвистических дисциплин, вопросы сложного предложения — все эти проблемы остаются нерешенными

в иберийско-кавказском языкознании. Для успешного решения этих проблем необходима четкая координация в деятельности всех кавказоведов. Поэтому предлагается более целесообразным плановое проведение совещаний и дискуссий по проблемным темам совместно с центральными языковедческими учреждениями (например, в Москве и Тбилиси). Первым шагом в этом направлении могла бы явиться реализация предложения акад. А. С. Чикобава о проведении в 1961 г. симпозиума по вопросам построения научной грамматики иберийско-кавказских языков. Это предложение получило одобрение и внесено в резолюцию данной сессии.

М. А. Кумахов (Москва)

С 13 по 17 марта 1961 г. в Свердловском государственном медицинском институте проходила очередная 24-я годовичная научная сессия, посвященная тридцатилетию со дня основания института. В работе секции иностранных языков наряду с работниками кафедры приняли участие преподаватели иностранных языков Уральского гос. университета и спецшколы № 13.

Было представлено 6 докладов. После вступительного слова зав. кафедрой П. П. Квасова с докладом на тему «Лексический состав медицинских периодических изданий на английском языке» выступила ст. препод. Е. В. Кулибина, которая, рассмотрев лексику зарубежных медицинских журналов за 1957—1960 гг., предложила свою классификацию терминов и научной фразологии. В сообщении препод. Л. Г. Маршиной «К вопросу о профессиональной лексике в немецком языке» особое внимание было уделено стилистическому анализу профессиональной лексики. П. П. Квасов в докладе «Некоторые словообразовательные модели лексических единиц в немецком языке» сообщил о серии неологизмов в современном немецком языке по материалам газетных статей об освоении Советским Союзом космоса и использовании атомной энергии в мирных целях. Автор продемонстрировал продуктивность ряда лексических единиц, возникших по словообразовательным моделям в современном немецком языке: *nuklear*, *Atomächtung*, *atomsicher*, *atomisieren*, *Raumschiff* и др. При этом было отмечено обогащение значения слова *Sonde* (латино-французское) в смысле «станция»: *Raumsonde*, *Venussonde*, *Mondsonde*, куда *Sonde* вошло компонентом. Таким образом, докладчик охарактеризовал два семантических «поля» вновь образованных лексических единиц. Содержанием остальных трех докладов (преподавателей — С. Д. Васильевой, Л. И. Рысевой и В. С. Харитоновой) послужили отдельные вопросы методики преподавания английского языка.

Г. В. Фаворин (Свердловск)

Президиум Академии наук СССР, Отделение литературы и языка и Отделение

исторических наук АН СССР организовали 14 марта 1961 г. в Москве в Доме ученых АН СССР торжественное заседание, посвященное чествованию академика Николая Ивановича Конорада в связи с 70-летием со дня рождения и 50-летием его научной и научно-педагогической деятельности. Председательствовавший на заседании член Президиума АН СССР, академик-секретарь Отделения литературы и языка, академик В. В. Виноградов, открыв собрание, в большом вступительном слове подробно охарактеризовал разностороннюю научно-исследовательскую работу юбиляра. Многогранная деятельность Н. И. Конорада, указал В. В. Виноградов, определяется тем, что он является специалистом востоковедом-филологом, объединяющим знания не только языков народов Востока, но и их литератур, искусства, культуры, истории. Широка научных интересов Н. И. Конорада повлекла за собой его многочисленные исследования в областях древней, средней и новой истории стран Дальнего Востока, истории литератур Китая и Японии, японского и китайского языков, японского искусства (особенно театрального), истории культур дальневосточных народов, их значения, места и связей с мировой, общечеловеческой культурой.

Из трудов Н. И. Конорада В. В. Виноградов прежде всего отметил: 1) описание грамматического строя японского языка, особенно фундаментальное исследование синтаксиса японского языка; 2) лексикографические работы (Н. И. Конорад является редактором большинства дифференцированных, вышедших у нас словарей японского языка); 3) работу о китайском языке, где автор убедительно оспаривает привычное понимание китайского языка как языка аморфного и моносиллабического; 4) исследование особенностей литературных языков Китая и Японии и связи их с народными разговорными языками; 5) по литературоведению: курс японской литературы с древнейших времен до современности, ряд работ по истории китайской литературы, в которых Н. И. Конорад выступает как филолог и историк и как историк философии; например «Проблемы реализма и литературы Востока», где история литературы Востока включается в общий мировой процесс литературного развития и раскрывается сущность реализма как явления всеобщей или мировой литературы, сформировавшегося в XIX в. Большой интерес в качестве образца сравнительно-исторического и сравнительно-типологического исследования представляет работа «К вопросу о литературных связях»; 6) исследование по истории японского театра; 7) исторические исследования, в которых Н. И. Конорад выступает как выдающийся историк, широко привлекающий источники и первоисточники, давая им тонкое критическое истолкование, например «Надельная система в Японии», «Лекции по древней истории Японии» и др.

Ценность работ Н. И. Конрада, сказал В. В. Виноградов, в его умении просто, изящно, художественно передавать и излагать научную мысль, свои выводы, обобщения. В заключение В. В. Виноградов с большой теплотой сказал и о личных качествах Н. И. Конрада, который своим неизменным тактом, обходительностью, отзывчивостью, всегдашней готовностью помочь списал к себе всеобщее уважение и искренние симпатии как в научных кругах, так и среди своих многочисленных учеников. Свое выступление В. В. Виноградов завершил прочтением адреса юбиляру от Президиума АН СССР, Отделения литературы и языка и Отделения исторических наук.

С докладом о научной деятельности акад. Н. И. Конрада выступил заместитель академика-секретаря Отделения исторических наук член-корр. АН СССР А. А. Губер. Отметив многообразие интересов ученого, его эрудицию, докладчик подчеркнул, что в исследованиях Н. И. Конрада широта в постановке проблем сочетается с глубоким анализом изучаемых явлений. Перед нами, сказал А. А. Губер, настоящий советский ученый, вся деятельность которого направлена на службу мира и прогресса. Далее докладчик говорил о большом интересе к работам Н. И. Конрада как у нас, так и за рубежом, особенно в прогрессивных кругах Японии.

На большой вклад Н. И. Конрада в развитие советской китаистики обратил внимание в своем выступлении руководитель китайского сектора Института народов Азии АН СССР проф. С. Л. Тихвинский. На заседании с теплыми приветствиями юбиляру выступили акад. М. П. Алексеев (Ин-т русской литературы), член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский (от журнала «Вопросы языкознания»), член-корр. АН СССР А. Н. Кононов (Ленинградское отделение Ин-та народов Азии), чл.-корр. АН СССР Б. А. Серебряников (Ин-т языкознания), доктор историч. наук М. Г. Левин (Ин-т этнографии), доктор искусствовед. наук И. Ф. Бэлла (Ин-т истории искусств), канд. филол. наук А. Е. Глускина (Отдел языков Японии ИНА), проф. Г. П. Сердюченко (Отдел языков Востока ИНА), канд. филол. наук А. А. Петросян (Ин-т мировой литературы), препод. МГУ канд. филол. наук К. А. Яма Ясу, выступившая на японском языке, и многие другие. От имени учеников Н. И. Конрада приветствовали проф. И. М. Ошанин и проф. А. А. Пашковский.

На заседании была оглашена часть многочисленных поздравительных телеграмм, поступивших на имя юбиляра: от президента АН СССР акад. А. Н. Несмеянова, от вице-президента АН СССР акад. А. В. Топчиева, от ректора МГУ акад. И. Г. Петровского, от Общества «СССР — Япония», заместителем президента которого является Н. И. Конрад. Были зачитаны приветствия от Го Мо-жо — президента Ака-

демии наук Китайской Народной Республики и ряд телеграмм от ученых-востоковедов других социалистических стран — Венгрии, Польши, Чехословакии. Юбиляра поздравляли ученые Японии: от имени Токийского гос. ун-та его ректор акад. Сэйдзи Кая, от имени Киотоского гос. ун-та проф. Кувабара, от имени Ин-та китаеведения (Токио) его директор Ёситаро Хирано. В ответном слове акад. Н. И. Конрад, тепло вспомнив тех, кому, как он сказал, обязан каждый ученый прежде всего, — своих учителей, товарищей по работе и учеников, — сердечно поблагодарил присутствующих за внимание и поздравления.

*Ф. Ф. Кузьмин и Г. В. Строкова (Москва)*

16 марта 1961 г. на заседании Ученого совета Института русского языка АН СССР состоялось обсуждение доклада доктора филол. наук Н. Ю. Шведовой «Основные тенденции развития категории безличных предложений в русском литературном языке XIX в.». В докладе были представлены результаты исследования, входящего в коллективный труд «Очерки по истории русского литературного языка XIX в.».

В начале своего сообщения Н. Ю. Шведова кратко остановилась на тех проблемах, которые являются общими для большинства разделов задуманного труда. Это — выделение специфических категорий русского литературного языка XIX в. как реальных объектов исторического исследования; исследование внутренних причин языковых изменений и выдвижение в связи с этим в качестве основного объекта исторического изучения функционально-смысловых соотношений групп или «пучков» категорий (в отличие от изолированного изучения судьбы отдельных категорий, характерного для таких дисциплин, как историческая лексикология и историческая грамматика); проблема изменения условий лексического наполнения синтаксической модели как проблема истории ее синтаксического функционирования; вопрос о прикреплённости тех или иных языковых процессов к стилям литературного языка, об изменениях в стилистических характеристиках языковых явлений; вопросы периодизации и хронологизации развития системы русского литературного языка в пределах XIX в.; вопрос о методе описания исторических процессов, происходивших в русском литературном языке в XIX в. Все эти проблемы, сказала Н. Ю. Шведова, нуждаются в широком обсуждении.

В основной части своего доклада Н. Ю. Шведова охарактеризовала те общие тенденции, которые были типичными для развития безличных предложений в русском литературном языке XIX в.

1. Из литературного употребления в XIX в. постепенно исчезают конструкции архаических типов, а также конструкции, непосредственно связанные с просторечием

или диалектной речью. К таким уходящим из языка типам безличных предложений относятся: наречные предложения со связкой *есть* (*человеку есть сродно лучшего желать*); причастные предложения, строившиеся с формами на *-емо*, *-имо* (*было доносимо, будет объявляемо*); причастные и наречные предложения с формой именительного-винительного субъекта состояния (или объекта действия) (*оной артикул внесено в журнал; предложено кондиции*) и др. Функции всех таких исчезающих предложений принимают на себя равнозначные построения, образованные по действовавшим в литературном языке живым моделям.

2. Употребление некоторых типов безличных предложений к концу века ограничивается более узким, чем прежде, кругом функций. Так, если предложения с конструктивно значимым *ни* при род. падеже (*ни звука*) в конце XVIII — первой половине XIX в. свободно употреблялись не только самостоятельно, но и в составе сложносочиненного и сложноподчиненного предложения, то во второй половине XIX в. употребление таких безличных предложений в составе сложного ограничивается, в основном, рамками бессоюзных соединений (например, *Пусть кружок: ни паруса, ни дыма на горизонте*).

3. В безличных предложениях, подвергающихся фразеологизации, те или иные их компоненты оказываются ограниченными словами одной категории, тогда как ранее таких категориальных ограничений не было или они были менее определенными (например, в предложении типа *хорошего ничего* первый, заменяемый компонент постепенно ограничился только формой прилагательного, тогда как в начале XIX в. здесь возможно было и существительное: *дела ничего*).

4. Взаимодействуя с двусоставными личными предложениями, некоторые типы безличных предложений в формах своего главного члена «подравниваются» под соответствующие формы сказуемого двусоставного предложения. Так, под влиянием распространения творительного предикативного получают широкую употребительность построения типа *казалось невероятным, чтобы...; осталось неизвестным, почему...* и т. п.

5. Безличные предложения, несущие в себе в той или иной форме указание на субъект действия или состояния, находились в регулярных функционально-смысловых соотношениях с личными предложениями. В течение XIX в. безличные предложения с определительно-субъективным значением последовательно уступают место личным предложениям, т. е. личные значения сосредоточиваются в личных конструкциях (ср., например: *требуется размышлений — требуются размышления; назначено быть спектаклю — назначен спектакль; от гофмаршала рекомендовано — гофмаршал рекомендовал*).

6. Одной из характерных тенденций развития категории безличных предложений в XIX в. была тенденция к концентрации

значений, ранее рассредоточенных в разных безличных конструкциях, в более узком круге конструкций либо в одной, сосредоточившей в себе все частные значения, выражаемые другими членами данного соотносительного ряда конструкций.

7. Интенсивно протекает процесс пополнения специальных средств формирования безличных предложений — в результате расширения круга собственно безличных глаголов (за счет утраты личных значений некоторыми глаголами, такими как *светать, вечереть, стемнеть, подымать, дозвять, пододать* и мн. др.), пополнения класса предикативных наречий на *-о*, соотносительных с прилагательными, употребления в предикативной функции все большего числа имен существительных, называющих внутренние состояния и ощущения или имеющих оценочное значение, а также пополнения системы предложно-именных соединений фразеологического характера (включающих инфинитив).

8. Происходит расширение семантических групп слов, способных наполнять ту или иную модель безличного предложения (ср., например: *в санях закричало, под жалом вздохнуло; разговором не виделось конца; ему радостно вздохнулось*).

9. Осуществляется унификация внутрикатегориальных расхождений и устранение колебаний категориальных значений и форм предикативно организующих слов. Так, в глагольных безличных предложениях устраняются дублетность и колебания в употреблении однородных разноаффиксальных глаголов (типа *пришло — пришлось, посчастливилось — посчастливилось* и др.).

10. Проявляется тенденция к большей определенности лексических ограничений в наполнении модели; в результате действия этой тенденции, в частности, предложения с причастными формами на *-о*, *-то*, имеющие неопределенно-субъектное значение, закрепляются в литературном языке как конструкции, в возможностях своего наполнения ограниченные небольшой группой глаголов с общим значением веления (*приказано, позволено, предоставлено, дано, назначено, положено, решено*, и др.).

11. В процессе более строгой нормализации литературного языка отдельные типы безличных предложений оказываются за пределами собственно литературной речи. Таковы, например, глагольные построения со *стало, станет* (*денег не станет и на год*), с *пришло* (*пришло плохо*), *пришелось, довелось*, еще в начале XIX в. стилистически нейтральные, а позднее сосредоточившиеся в сфере разговорной речи и непригодного повествования.

В состоявшихся затем прениях по докладу Н. Ю. Шведовой были высказаны соображения и замечания, касающиеся как общих проблем построения истории русского литературного языка XIX в., так и вопросов изучения процессов развития категории безличных предложений в языке XIX в. Член-корр. АН СССР В. И. Боровский выразил сомнение в право-

мерности изучения исторических процессов, происходивших в разных областях литературного языка на протяжении только одного столетия, поскольку, в частности, в русском литературном языке XIX в. лишь продолжались те процессы, начало кото-рых может относиться к очень ранним эпохам истории языка. На те трудности, которые возникают перед исследователями истории русского литературного языка XIX в., главным образом при изучении истории синтаксических явлений, обратил внимание в своем выступлении доктор филол. наук Н. С. Поспелов. Узкие хронологические рамки, которыми ограничено настоящее исследование, не позволяют, по мнению П. С. Поспелова, проследить историю тех соотношений, в которые вступали между собой отдельные синтаксические конструкции в процессе их развития (например, безличные и личные предложения типа *мне не хочется* — *я не хочу*). Нет возможности установить строгую хронологизацию тех или иных явлений. Целесообразнее было бы исследовать судьбу типов синтаксических конструкций, а не судьбу отдельных конструкций. Вряд ли возможно будет подчинить описание всего обследованного материала по истории литературного языка XIX в. одному принципу — принципу выделения основных тенденций в развитии лексики, морфологии, синтаксиса. Чрезвычайно сложным является вопрос о связи развития собственно синтаксических явлений с процессами, происходившими в лексике. На этом вопросе специально остановилась в своем выступлении ст. научн. сотр. П. С. Ильинская, отметившая, что синтаксическая по своему характеру работа Н. Ю. Шведовой неправомерно выходит за пределы собственно синтаксиса, поскольку в исследование истории синтаксических явлений оказались включенными те процессы, которые происходили в области отдельных слов как лексических категорий (так, отмеченное для безличных конструкций изменение типа *пришло* → *пришлось* имеет тот же характер, что и изменение — чисто лексическое — типа *лопать* → *лопаться*). О том, что грамматический материал в исследовании Н. Ю. Шведовой «растворился» в лексическом, сказал также ст. научн. сотр. В. Н. Сидоров. Кроме того, в обсуждаемой работе, по мнению В. Н. Сидорова, не разграничены должным образом явления морфологии и синтаксиса. Отмеченный в докладе факт постепенного ухода из языка безличных конструкций с главным членом, выраженным страдательными причастиями на *-емо*, *-имо*, связан с историей данной морфологической формы и не имеет прямого отношения к синтаксису. На неразграничение в докладе лексического и синтаксического аспекта исследования указала также доктор филол. наук Е. М. Галкина-Федорук.

С общей оценкой представленного на обсуждение Ученого совета исследования Н. Шведовой выступил акад.

В. В. Виноградов. В работе оказались объединенными, сказал В. В. Виноградов, пять разных подходов к изучению истории синтаксических явлений в русском литературном языке XIX в. С каждым из этих подходов связаны особые задачи исторического изучения литературного языка: 1) лексикологический подход. Изменения, происходившие в безличных конструкциях, связываются в исследовании Н. Ю. Шведовой с изменениями, происходившими в лексике литературного языка. Очевидно, что собственно лексические процессы не были ограничены только условиями синтаксического функционирования тех или иных слов, в частности, условиями функционирования их в составе безличных предложений. Но изменения в лексике влияли на формирование и распространение в языке отдельных типов безличных предложений; 2) семантический подход. Он не выделен в работе в качестве самостоятельной проблемы. Между тем одной из задач данного труда является изучение процессов расширения семантического объема категории безличности, процессов взаимодействия личных и безличных конструкций; 3) стилистический подход. Функционирование разных типов безличных конструкций в разных стилях речи необходимо рассматривать на более широком фоне формирования в XIX в. новой стилистической системы русского литературного языка; 4) морфологический подход. Применение этого аспекта исследования связано с задачей установления синонимических отношений форм, конструирующих синтаксические единицы языка; 5) структурно-синтаксический подход. Этот принцип применительно к истории синтаксических явлений требует комплексного анализа состава изучаемой конструкции, способов ее построения, способов выражения и распространения ее членов.

В своем заключительном слове П. Ю. Шведова сказала, что многие из критических замечаний, высказанных в адрес ее работы, связаны с теми общими трудностями, которые стоят перед авторами коллективного труда по истории русского литературного языка XIX в. Исключительно сложной, при отсутствии полных и научно обработанных материалов, является задача изучения истории собственно синтаксических явлений на протяжении одного столетия в период развития языка, непосредственно примыкающий к современному его состоянию. Что касается привлечения к историческому изучению синтаксиса материалов по истории лексических и морфологических явлений, то освобождение синтаксиса от лексики и морфологии в данном типе исследования привело бы к неправомерному отказу от изучения исторически изменявшихся условий словесного наполнения синтаксических моделей, изучения синтаксического функционирования морфологических категорий. В заключение Н. Ю. Шведова поблагодарила всех принявших участие в обсуждении ее доклада.

Е. А. Иванчикова (Москва)

23—24 марта 1961 г. состоялась научная сессия Отделения литературы и языка, Отделения исторических наук Академии наук СССР и Отделения общественных наук Академии наук УССР, посвященная 100-летию со дня смерти Т. Г. Шевченко. Среди имен великих и вечно живых сынов разных народов, чьи славные годовщины отмечает все человечество, сказал в своем вступительном слове открывший сессию акад. В. В. Виноградов, сияет чистое и многострадальное имя гениального поэта Украины. Это поэт глубоко народный, национальный, выразитель идеалов и чаяний народа, его порывов в светлое будущее. Т. Г. Шевченко — основоположник украинской литературы; в его словесно-художественном творчестве определились нормы и пути развития украинского национального литературного языка.

Литературная деятельность Т. Г. Шевченко, продолжал В. В. Виноградов, оказала определяющее и направляющее влияние не только на формирование, но и на последующее развитие украинской национальной литературы и украинского национального литературного языка. Творчество Шевченко тесно сблизило украинскую литературу с русской и вместе с тем содействовало включению национальной украинской литературы в круг мировых европейских литератур. Докладчик подчеркнул и то влияние, которое оказала на творчество Шевченко русская литература и прежде всего Пушкин и Гоголь. Уже «Кобзарь», отметил он, впитал в себя наряду с высокими образцами украинского народно-поэтического творчества традиции Пушкина, Гоголя и русской демократической литературы в целом. Говоря о Шевченко как о выдающемся оригинальном деятеле революционно-демократического движения, В. В. Виноградов указал, что его историческое место рядом с вождями русской революционной демократии Чернышевским и Добролюбовым.

Далее В. В. Виноградов говорил о задачах изучения творчества Шевченко. Отмечая большие успехи и достижения советского шевченковедения, он назвал и ряд проблем, связанных с изучением творческого пути Шевченко, его словесно-художественного поэтического мастерства, его идейно-литературного развития, содержания и своеобразия его общественно-политических и эстетических взглядов, проблем, которые ждут дальнейших исследований. Среди них вопрос о связях Шевченко с художественным и идейно-общественным развитием как украинского, так и русского народов; проблема развития стилей украинской народно-разговорной и литературно-художественной речи дошевченковской поры; стилистика и поэтика творчества Шевченко в разных его жанрах; борьба романтических и реалистических тенденций в украинской и русской литературах первой половины XIX в.; такие важные проблемы, как Шевченко и декабристы, влияние Белинского на Шевченко, Шевченко и революционные дви-

жения 40-х годов, взаимоотношения между Шевченко и разными течениями русского славянофильства, разнообразные формы и виды участия великого украинского революционера-поэта в современном ему общероссийском освободительном движении, в многочисленных полулегальных и нелегальных демократических кружках и организациях.

В заключение В. В. Виноградов сказал: Шевченко входит в историю мирового искусства, мировой культуры, в историю революционной борьбы народов мира за свою политическую свободу и независимость, за счастливую, мирную и социально-гармоническую жизнь не только как гениальный национальный поэт Украины, не только как замечательный русский поэт и художник, не только как величайший, наряду с Пушкиным и Мицкевичем, поэт славянства, но и как поэт-гуманист мирового значения. Его произведения, напечатанные и звучащие на разных языках мира, являются важным фактором культурно-эстетического, прогрессивного идейно-художественного и социального развития всех народов современного человечества.

С докладом «Т. Г. Шевченко — основоположник украинского литературного языка» выступил акад. И. К. Белодед. Первая половина XIX столетия в истории украинского литературного языка, сказал докладчик, явилась периодом его закрепления на основе живой разговорной речи украинского народа. В словесно-художественном творчестве И. П. Котляревского, П. Гулака-Артемовского, Г. Квитки-Основьяненко, несмотря на его некоторую, исторически обусловленную ограниченность в подборе и использовании средств общенационального языка, украинский литературный язык предстал как значительное общественное явление, как орудие выражения мыслей многомиллионного народа. Значение словесно-художественного творчества Шевченко состояло в том, указал И. К. Белодед, что оно завершило процесс формирования украинского литературного языка на народной, национальной основе и открыло новый исторический этап — этап его развития и совершенствования с использованием всех многогранных возможностей и воплощением их в практике общественной жизни.

Осуществленный Т. Г. Шевченко творческий синтез украинского литературного языка, синтез всех компонентов национального языка, которые еще не были объединены в языке украинской литературы дошевченковской поры, признание украинским народом языка Шевченко своим национальным достижением, возвышение его до уровня развитых литературных языков мира дают право считать Т. Г. Шевченко основоположником украинского литературного языка на широкой основе живой народной речи нового украинского языка. Т. Г. Шевченко шел к реалистически-эстетическому, научному осмыслению слова, борясь за глубокое изучение народного, языка и использование

всех жизнеспособных его элементов, выступал против примитивизма и искажений. К языку песен и дум как источнику словесно-художественного творчества Шевченко добавляет устную разговорную речь. Своим творческим гением он совместил и старую культурную традицию старокнижного церковнославянского языка, и новые качества в развитии языка в первой половине XIX в., гармонически соединив их.

Революционно-демократическое мировоззрение обусловило взгляд Т. Г. Шевченко на язык как на орудие политической борьбы. Природное народное просторечие, будничная и торжественная мудрость народного слова, афористичность, живая ритмо-мелодика языка, разнообразные интонации соединились в творчестве Шевченко с высоким искусством гения, высокой культурой слова, основанной на его мировоззренческих революционно-демократических принципах. Хотя у Шевченко нет на украинском языке произведений научного или публицистического жанра, именно он заложил основу для развития этих стилей разработкой политической, научной, публицистической лексики, фразеологии, стройных синтаксических конструкций выражения политической мысли. К числу компонентов украинского литературного языка, которые характеризуют его как развитый, богатый, имеющий средства для выражения сложных понятий социальной и научной мысли, понятий литературы и искусства, понятий, связанных с мировой историей, культурой, следует отнести категории научной, абстрактной и вообще культурной лексики и фразеологии, которые Шевченко ввел в литературный украинский язык. Он перед всем миром показал, что украинский язык — не какое-то «отмирающее наречие», не какое-то этнографически-бытовое явление, пригодное, по мнению националистов, лишь для домашнего обихода, а высококультурный и могучий национальный язык, стоящий в ряду языков других народов.

Творчество Т. Г. Шевченко, указал далее И. К. Белодед, является убедительным примером взаимосвязи и взаимодействия русского и украинского литературных языков. Глубокое знание русского языка помогло Шевченко в обогащении украинского литературного языка. С другой стороны, словесно-художественные средства произведений Шевченко, особенно язык и стиль его политической и интимной поэзии, были восприняты многими русскими поэтами и писателями. Т. Г. Шевченко, сказал в заключение И. К. Белодед, стал основоположником и творцом нового украинского литературного языка, как А. С. Пушкин был творцом русского литературного языка.

*В. В. и А. С.*

Руководитель группы ст. научн. сотр. Ю. С. Сорокин в докладе «О словаре русского языка XVIII в.» охарактеризовал состояние подготовительных работ к словарю (определение источников, накопление картотеки, подготовка инструкции). Ю. С. Сорокин остановился на основных вопросах, требующих своего разрешения для дальнейшей работы над словарем: 1) хронологические рамки словаря, 2) круг источников, 3) принципы выбора лексико-фразеологических материалов из этих источников.

Вопрос о хронологических рамках словаря представляет большие трудности, сказал докладчик, и потребует в дальнейшем своего уточнения. Предварительно для работы принят период с последних лет XVII в. (около 1696 г.) до первых лет XIX в. (до 1803 г.). Круг источников должен быть возможно более широким и разнообразным в жанрово-стилистическом отношении. Наряду с литературными памятниками в него должны включаться научная литература и документальные материалы самого разнообразного характера, а также переводная литература. Поскольку словарь XVIII в. является словарем историческим, он должен давать материал из разных периодов XVIII в., который позволял бы судить о развитии лексической системы. Необходимо вскрыть исторические перспективы семантических изменений слова на протяжении века и показать изменение границ употребительности слов и границ их семантико-стилистической сочетаемости. Характерные для XVIII в. индивидуальные образования слов и словесные эксперименты, не ставшие общепотребительными, должны быть максимально учтены, но, может быть, они не должны включаться в основной корпус словаря.

Акад. В. В. Виноградов указал, что составление словаря XVIII в. значительно выиграло бы, если бы та же группа сотрудников вела параллельно научно-исследовательскую работу по языку XVIII в. Далее он отметил, что при определении хронологических рамок словаря необходимо учитывать внутреннюю периодизацию развития языка в XVIII в. и значение границ, падающих на 30—40-е и 70—80-е годы. Верхняя граница словаря не может определяться первыми годами XIX в.: языковое развитие в первые два десятилетия XIX в. является очень сложным, и традиции XVIII в. в нем продолжались. Нужно также иметь в виду, что индивидуальные словообразования в XVIII в. были подчинены отдельным речевым жанрам, и их общепотребительность не надо переоценивать.

Член-корр. АН СССР С. Г. Бархударов высказал сомнение в целесообразности объединения в одном словаре всего периода с конца XVII в. до первой четверти XIX в. Такая работа едва ли осуществима к 1970 г. Может быть, целесообразнее было бы готовить три отдельных словаря по хронологическим границам, указанным в выступлении В. В. Ви-

20 апреля состоялось заседание Ученого совета Института русского языка АН СССР по вопросу о работе над словарем XVIII в.

ноградова, или же отразить петровскую эпоху в среднерусском словаре.

С наибольшей решительностью за исключение петровской эпохи из словаря XVIII в. выступил ст. научн. сотр. В. Н. Сидоров, приведший ряд аргументов в пользу того, что в середине 90-х годов XVII в. нельзя найти резкой грани, отделяющей лексику петровской эпохи от лексики 70—80-х годов. Кроме того, в петровскую эпоху еще нельзя говорить о русском литературном языке: тогда был письменный язык, а литературный язык формируется только начиная с Ломоносова. Это делает развитие лексики в доломоносовский период и после него качественно различным.

Точку зрения В. Н. Сидорова полностью поддержал ст. научн. сотр. Б. В. Горюниг, добавивший, что нельзя недооценивать и ту резкую грань в развитии лексики, которая падает на время между началом царствования Алексея Михайловича и его концом. В 90-х годах XVII в. такой резкой грани не было. Что касается верхней границы словаря, то ею следует считать 1812—1815 гг.

Доктор филол. наук Н. Ю. Шведова также считает, что верхняя граница словаря около 1803 г. может быть оправдана только по отношению к художественной литературе, но она совершенно недействительна по отношению к мемуарной и научной литературе и документальным материалам. Что касается нижней границы словаря, то недопустимо исключение из словаря первой трети XVIII в., как как поэзия Кантемира и лирика пе-

тровской эпохи не могут быть отнесены к XVII в. Как и В. Н. Сидоров, Н. Ю. Шведова также высказалась против слишком широкого включения в словарь научной терминологии.

Доктор филол. наук С. И. Котков выступил в защиту совпадения хронологических рамок словаря с рамками столетия, но высказал мнение, что наиболее актуальной задачей было бы составление словаря деловой письменности XVIII в., так как именно в ней зарождались те новые элементы, которые получили полное развитие в литературном языке XIX в.

В заключительном слове Ю. С. Сорокин остановился главным образом на вопросе о хронологических рамках словаря и решительно не согласился с предложениями об исключении из него петровской эпохи. Он указал, однако, что дальнейшее уточнение нижней границы необходимо, и поэтому группа в ближайшее время будет обсуждать специальный доклад по этому вопросу. Не согласился Ю. С. Сорокин и с предложениями об ограничении терминологического материала, указав, что из этого слоя лексики многие слова уже в конце XVIII в. перестали быть терминами и стали общеупотребительными, например *объем*, *окружность*, *растение*. Правильно высказанное акад. В. В. Виноградовым мнение, что индивидуальные образования не должны включаться в основной корпус словаря, а могут быть даны в приложении.

Н. Н. Уханова (Москва)

## НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ

В настоящее время мною подготавливаются следующие работы:

1. В томе «Язык», входящем в «Encyclopedie de la Pleiade» (издатель: N. R. F. Gallimard, Paris), будет опубликована моя статья «Турецкий язык» (объем около 16 стр.). В этой работе будет дано краткое структуральное описание современного турецкого языка; рукопись статьи должна быть передана издателю в июне 1961 г.

2. В течение нескольких лет я веду исследование древнетюркских надписей (в плане лингвистики и филологии), в которых существует еще много неясностей, несмотря на наличие большого числа блестящих работ в этой области; эти исследования будут продолжаться еще в течение длительного времени, прежде чем их можно будет опубликовать.

3. Подготавливаю работу на тему: «Измерение времени, исчисление и календари у древних и средневековых тюрков». Хотя этот труд касается в первую очередь хронологии и истории календарей, в нем будут содержаться лингвистические данные относительно выражения единиц измерения времени.

Кроме этих исследований, по контракту с ЮНЕСКО я перевожу, основываясь на советских изданиях, с азербайджанского на французский комедии Мирзы Фатали

Ахундова, а также с туркменского на французский — избранные стихотворения Махтумкули (эти переводы будут опубликованы в сериях, издаваемых ЮНЕСКО).

Л. Базен (Париж)  
Перевод с французского

Подготавливаю работу об ударении в русском литературном языке, преследуя при этом две цели. Во-первых, чисто научную: пытаюсь на основании исторического материала, собранного лично мною, а также другими учеными (Л. Васильев, Л. А. Булаховский, Хр. С. Станг и др.), восстановить древнейшее русское ударение, прежде чем сравнивать таковое с ударением сербскохорватским, болгарским и словенским и с чешской, словацкой и старопольской долготой. Главными трудностями являются при этом отсутствие старых акцентированных памятников и сильное влияние церковнославянского языка. Установить, что в древнерусских текстах действительно является древнерусским, а что — привнесенным извне церковнославянским ударением, весьма нелегко, но мне удалось найти некоторые критерии, позволяющие в большинстве случаев

точно определить это. Во-вторых: я пытаюсь построить свое исследование таким образом, чтобы им также могли пользоваться в качестве учебного пособия и справочника слависты-языковеды и даже просто учителя русского языка в нерусских школах. Пока речь идет об именах существительных, это — сравнительно легкая задача, но у имен прилагательных, у некоторых причастий и вообще в глагольной системе столько «исключений» и кажущихся «неправильностей», что дать наглядную картину системы современного русского ударения, даже ограничиваясь языком литературным, очень трудно; видимо, этим объясняется, что все иностранцы, изучающие русский язык, насколько мне известно, жалуется на отсутствие такого пособия. Надо сказать, что славянская акцентология представляет сейчас один из самых сложных разделов славистики вообще. Очень надеюсь, что мне удастся провести в этой области известное упрощение, которое пойдет на пользу не только науке, но и практике.

*В. Кипарский* (Берлин)

На протяжении многих лет мои научные интересы ограничиваются, в основном, двумя областями, а именно — синтаксисом и историей польского языка.

Теоретические основы описания современной синтаксической системы общенародного языка были разработаны мною в книге «Описательный синтаксис современного польского литературного языка» (1937 г.). Эти положения подверглись некоторому углублению в книге «Очерки по польскому синтаксису» (1953 и 1957 гг.), где отдельные мысли были уточнены и расширены, хотя и неполно. С исторической же точки зрения я рассмотрел польский синтаксис в соответствующем разделе «Исторической грамматики польского языка» (1955 г.).

Эти три общие работы создали в совокупности ту широкую базу, опираясь на которую я хотел бы дать новое и более полное изложение указанной проблематики. Такое изложение должно включать в себя: 1) развернутое и детальное, с учетом взглядов современных синтаксистов, освещение принципов описания и классификации элементов и отношений в синтаксической системе; 2) подробную характеристику (с точки зрения этих теоретических предпосылок) синтаксиса современного общепольского литературного языка на историческом фоне и описание тех синтаксических конструкций, которых нет в современном польском языке, но которые существовали в прошлом.

Задачи, сформулированные таким образом, требуют прежде всего богатого фактического материала. Большую помощь в этом сможет мне оказать постоянно растущая картотека материалов находящейся под моим руководством группы исторического синтаксиса сектора языкознания

Польской Академии наук в Кракове<sup>1</sup>.

Второй областью моей научной деятельности является история польского языка. Я начал работать над монографией по истории языка еще в 1940 году; в первоначальной редакции этот труд был закончен в 1948 году. Но время и научный опыт уточнили мои взгляды на данную проблематику, что потребовало пересмотра сделанного. Свою позицию в этом вопросе я высказал в 1955 г. в докладе «Основы и проблематика истории польского языка»<sup>2</sup>.

Историю языка я рассматривал там прежде всего как науку об элементах языковой материи, которые: а) существовали во времени и существуют по сей день (т. е. имеют в виду их регистрацию и описание); б) изменялись во времени и в конце концов приняли современный вид (т. е. имеют в виду представление процесса их исторического развития). Во-вторых, отмечал я, это наука о том, что происходило и что происходит в языке. Таким образом, это наука об историческом развитии, об исторических изменениях в функционировании языка как средства взаимопонимания и орудия мышления той этнической группы, что развилась позднее в польскую нацию. Эта наука опирается, в-третьих, по моему мнению, на указание причин или более общих закономерностей, которыми определяется развитие языковой материи и фактов ее функционирования и которые: а) частично находятся внутри языка, т. е. внутри грамматической системы и лексического состава, подчиненных нормам употребления, и б) частично содержатся во всей полноте жизни польского этнического коллектива.

Исходя из такого понимания задач историка языка и такой трактовки предмета его исследования, я хочу представить развитие польского языка в трех последовательных периодах: от древнейших времен до конца XV в., от начала XVI в. до 1760—1770 гг. и от последней трети XVIII в. до наших дней. Первая часть работы недавно опубликована<sup>3</sup>. В настоящее время я редактирую вторую часть и собираю материал для третьей. К сожалению, я не в состоянии ответить на вопрос о том, когда осуществятся эти два основных замысла моей научной деятельности, так уверенно и определенно, как мне самому

<sup>1</sup> Работу этой группы я описал в статьях: «Принципы и направления научной деятельности группы польского исторического синтаксиса» (см. «Zeszyty naukowe U. J. Filologia», 4, Kraków, 1958) и «Направление и результаты второго периода деятельности группы исторического синтаксиса сектора языкознания ПАН в Кракове» (см. «Sprawozdania z prac naukowych Wyzd. nauk społecznych PAN», II, 3—4, 1959).

<sup>2</sup> Z. K l e m e n s i e w i c z, Zagadnienia i założenia historii języka polskiego, «Pamiętnik literacki», XLVII, 3, 1956.

<sup>3</sup> Z. K l e m e n s i e w i c z, Historia języka polskiego, I — Doba staropolska, Warszawa, 1961.

бы хотелось. Удостоенный чести выполнять различные научно-организационные, преподавательские и общественные обязанности, я не могу уделять научным занятиям столько времени, сколько необходимо для быстрейшего их выполнения, не могу прилагать постоянного, ритмического усилия (а только такое усилие плодотворно!). Острые потребности текущего момента отодвигают эту работу на второй план, задерживают ее выполнение и отсрочивают ее желанное завершение. При более благоприятных условиях я сумел бы осуществить задуманное в течение пяти лет.

З. Клеменевич (Краков)  
Перевод с польского

В течение некоторого времени я изучал ряды служебных частиц (related particles) в древнекитайском языке, пытаюсь обнаружить, имеется ли корреляция между морфологией и грамматическими функциями. Я только что опубликовал первую часть статьи, озаглавленной «Этюды по древнекитайской грамматике» («Asia Major», VIII, 1, 1961, стр. 36—37), в которой стремлюсь показать, что различные формы указательного местоимения на \* $\hat{a}$  имеют определенные и дополняющие друг друга функции в языке Шидзин и Цзо-чжуань и что по своему происхождению они, возможно, являются резуль-

татом различной просодии предложения, которая обусловила различные формы слов. Во второй части этой статьи я намереваюсь обсудить то, что считаю параллельными случаями по отношению к другим местоимениям, отрицательным частицам и т. д.

Одновременно я занимаюсь исчерпывающе углубленным изучением транскрипций иностранных слов в китайском языке в период с 200 г. до н. э. по 200 г. н. э. Результаты этого исследования представляют интерес как с исторической, так и с лингвистической точки зрения. С одной стороны, мы сможем получить новое и, я надеюсь, более правильное представление о положении в Центральной Азии в рассматриваемый период. С другой стороны, такое исследование дает возможность подвергнуть внешней проверке (ранее применявшейся лишь частично) фонологическую систему древнекитайского языка, устанавливаемую на основе внутренней реконструкции в работах Карлгрена, Дун Дун-хэ и др. Опираясь на новые данные, полученные при изучении указанного материала, я надеюсь произвести более надежную (по сравнению с предыдущими опытами) реконструкцию произношения китайского языка в период Хань (а также, в меньшей степени, — в более ранние периоды).

Э. Дж. Пулблэнк (Кембридж,  
Великобритания)

### КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

С. И в а н ч е в. Контекстово обусловлена ингрессивна употреба на глаголите от невършен вид в чешкия език.— София, 1961. 152 стр. [Отд. отт.].

Н. С а м у э л и. Из наблюдений над лексико-фразеологическим составом языка публицистики В. В. Воровского.— Budapest, 1960. Стр. 331—345. [Отд. отт. из «Studia Slavica», VI].

Brno studies in English. III. Studies in the linguistic characterology of modern English.— Praha, 1961. Стр. 1—118.

Język polski. XL, 1960. 5. Стр. 322—392.

Sborník štúdií a prác vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Spoločenské vedy. Slovenský jazyk a literatúra. I. 1—4.— Bratislava, 1957. Стр. 1—185.

Studia et acta orientalia. II, 1959.— Bucarest, 1960. 320 стр.

Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig.— 10 (1961). 2. Стр. 171—349. [Als Manuskript gedruckt].

Zpravodaj. Místopisne komise ČSAV. I. Číslo 5. Prosinec 1960.— Praha. Стр. 341—399.

Zpravodaj. Místopisné komise ČSAV. II. Číslo 1. Únor 1961.— Praha. Стр. 1—340.

Ö. B e k k e. Tschermemissische Texte. III.— Budapest, 1961. 515 стр.

Z. H a m p e j s. Euclides da Cunha. [Отд. отт. из «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock». 10. 1961. (Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, 1)]. Стр. 150—156. [Als Manuskript gedruckt].

K. H ü c k e l. Rationelle Vermittlung der russischen Adverbialpartizipien. Ein Beitrag zur Erfüllung des Lehrplans für das Frach Russisch an der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule. [Отд. отт. из «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock». 10. 1961. (Sonderheft)]. Стр. 156—160. [Als Manuskript gedruckt].

U. K i r s t e n. Zur Frage der künstlerischen Methode Dostoevskijs in den 40-er Jahren («Arme Leute», «Der Doppelgänger»). [Отд. отт. из «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock». 10. 1961. (Sonderheft)]. Стр. 140—153.

O. M ü l l e r. Zu den Begriffen *Aspekt* und *Aktionsart* der slawischen Grammatik. [Отд. отт. из «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock». 10. 1961. (Sonderheft)]. Стр. 135—138. Als Manuskript gedruckt].

Th. A. S e b e o k. Style in language: [Published jointly by the Technology press of Massachusetts institute of technology and John Wiley and Sons, Inc., New York—London, 1960]. 470 стр.

W. T r e n s c h e l. Sprechkunde und Sprecherziehung. Über Entwicklung und Aufgaben der Sprechkunde und ihre Pflege in Rostock. [Отд. отт. из «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock». 10. 1961. (Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, 1)]. Стр. 138—148. [Als Manuskript gedruckt].

**Articles:** V. V. Vinogradov (Moscou). Le langage russe, son étude et problèmes du langage correcte; D. A. Olderogge (Léningrad). L'état actuel et problèmes pour l'étude des langues africaines; V. K. Z uravlev (Žitomir). Le développement du synharmonisme des groupes phonémiques en slave commun; **Discussions:** V. P isani (Milan). Sur les reflexes arméniens des explosives indo-européens; W. Ph. Lehmann (Austin, E. U. A.). Sur le système arménien des occlusives et sa relation au système proto-indo-européen; B. A. Serebrennikov (Moscou). Sur la classification des langues turques; I. A. Ossovecki (Moscou). La compilation des dictionnaires régionaux (quelques problèmes de la lexicographie dialectale); Sur l'atlas linguistique slave; **Matériaux et communications:** V. M. Illič-Svitič (Moscou). Une des sources de \*x initial en proto-slave (une correction à la loi de Siebs); L. L. Yofik (Léningrad). Sur es principes de la punctuation anglaise (en rapport avec le problème de la proposition composée); **Linguistique appliquée et mathématique:** E. V. Padučeva, A. L. Šumilina (Moscou). Une description des syntagmes russes (en rapport avec l'algorithme pour la traduction mécanique); **De l'histoire de la linguistique:** A. A. Leont'ev (Moscou). I. A. Baudouin de Courtenay et l'école linguistique de Petersbourg; **Critique et bibliographie;** **Lettres à la rédaction:** E. I. Čadaevskaja (Batumi). Sur la formaton des mots au moyen de «l'encadrement»; **Vie scientifique;** Plans de travail des savants.

CONTENTS

**Articles:** V. V. Vinogradov (Moscow). The Russian speech, its study and problems of correct speech; D. A. Olderogge (Leningrad). The present state and tasks for the study of African languages; V. K. Z uravlev (Žitomir). The development of group synharmonism in Proto-Slavonic; **Discussions:** V. P isani (Milan). On the Armenian reflexes of Indo-European explosives; W. Ph. Lehmann (Austin, U. S. A.). On the Armenian obstruent system and its relation to that of Proto-Indo-European; B. A. Serebrennikov (Moscow). On the classification of the Turk languages; I. A. Ossovecki (Moscow.) On the compilation of regional dictionaries (some problems of dialectal lexicography); On the Slavonic linguistic atlas; **Materials and notes:** V. M. Illič-Svitič (Moscow). One of the sources of initial \*x in Proto-Slavonic (a correction to Siebs law); L. L. Yofik (Leningrad). On the principals of English punctuation in connection with the problem of compound sentence; **Applied and mathematical linguistics:** E. V. Padučeva, A. L. Šumilina (Moscow). A description of syntagms in Russian (in connection with the algorithm for machine translation); **From the history of linguistics:** A. A. Leont'ev (Moscow). I. A. Baudouin de Courtenay and the Petersburg school of Russian linguistics; **Critics and bibliography;** **Letters to the editorial office:** E. I. Čadaevskaja (Batumi). On word-formation by blending; **Scientific life;** Working-plans of scientists.

Технический редактор Д. А. Фрейман-Крупенский

Т-08823	Подписано к печати 21. VII. 61	Тираж 5415 экз.	Зак. 1892
Формат бумаги 70×108 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	Печ. л. 13,62	Бум. л. 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	Уч.-изд. листов 16,2

## РЕДАКЦИЯ

*О. С. Алмазова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов* (главный редактор).  
*В. М. Жирмуцкий* (зам. главного редактора), *А. П. Ефимов,*  
*И. П. Конрад* (зам. главного редактора), *М. В. Панос, Г. Д. Санжеев,*  
*В. А. Серебренников, И. П. Толстой* (н. о. отв. секретаря редакции), *А. С. Чикобава*

Адрес редакции: Москва, К—31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

### *ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!*

Не забудьте подписаться на журнал «Вопросы языкознания» на 1962 год!

Наш журнал поступает в розничную продажу в крайне ограниченном количестве.

Подписка принимается с 1-го октября 1961 года во всех пунктах «Союзпечати», почтамтах и отделениях связи. При подписке следует ссылаться на каталог «Союзпечати», индекс 141.

Подписка принимается также отделениями и магазинами «Академкнига» и конторой «Академкнига». Адрес конторы: Москва, Центр, Б. Черкасский пер., 2/10. Подписная цена на год за 6 номеров 7 руб. 20 коп., на полгода — 3 руб. 60 коп.